Вестник
Московского
университета

Moscow
State University
Bulletin

Moscow State University Bulletin

JOURNAL

founded in November 1946
by Moscow University Press

Series 9

PHILOLOGY

NUMBER **ONE**

JANUARY – FEBRUARY

This journal is a publication prepared by
the Philological Faculty Editorial Board.
There are six issues a year

Moscow University Press

2015

Вестник Московского университета

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Основан в ноябре 1946 г.

Серия 9

ФИЛОЛОГИЯ

№ 1

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Выходит один раз в два месяца

Издательство Московского университета

2015

УЧРЕДИТЕЛИ:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
филологический факультет МГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.Л. РЕМНЁВА, докт. филол. наук, проф., зав. кафедрой русского языка, декан филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – **главный редактор**
О.А. СМИРНИЦКАЯ, докт. филол. наук, проф. кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – **зам. главного редактора по лингвистике**
Е.В. КЛОБУКОВ, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка – **отв. секретарь по лингвистике**
Н.А. СОЛОВЬЕВА, докт. филол. наук, проф. кафедры истории зарубежной литературы – **отв. секретарь по литературоведению**
Е.Г. ДОМОГАЦКАЯ, научный сотрудник лаборатории «Русская литература в современном мире», зам. декана филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по редакционно-издательской деятельности – **оргсекретарь**

Члены редколлегии:

Т.Д. Венедиктова, докт. филол. наук, проф. кафедры истории зарубежной литературы, зав. кафедрой теории словесности
М.В. Всеволодова, докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов
И.М. Кобозева, докт. филол. наук, проф. кафедры теоретической и прикладной лингвистики
Т.А. Комова, докт. филол. наук, проф. кафедры английского языкознания
С.И. Кормилов, докт. филол. наук, проф. кафедры истории русской литературы XX–XXI веков

Перевод на английский язык ***М.М. Филипповой***

Редактор ***И.В. Краснослободцева***

Корректор ***И.В. Луканина***

Технический редактор ***З.С. Кондрашова***

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации Российской Федерации. Свидетельство о регистрации № 1555 от 14 февраля 1991 г.

Адрес редакции: *125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5.* *Тел. 697-31-28.*

119992, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова,
филологический факультет

Подписано в печать 10.05.2015. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага офс. № 1.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 15,0.
Уч.-изд. л. 14,78. Тираж 555 экз. (1-й завод). Изд. № 10 070. Заказ № 0170-15.

Издательство Московского университета. 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5.

Типография МГУ.
119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 15.

Отпечатано: Публичное акционерное общество «Т8 Издательские Технологии».
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.

© Издательство Московского университета.
«Вестник Московского университета», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Хализев В.Е., *Холиков А.А.* Парадоксы и «плодотворные крайности» русского формализма (методология / мировоззрение). 7
Ивинский Д.П. Книги Пророков и русская литература. 1. Книга пророка Даниила: заметки к теме 34
Ремнёва М.Л., *Николенкова Н.В.* Двойственное число в церковнославянских текстах переходного жанрового характера (конец XVI – XVII век) 50
Панова Г.И. О стратификации выражения морфологических значений в структуре словоформ русского глагола 62
Уржа А.В. Функциональные спутники настоящего исторического в русских переводах нарративных текстов 76
Цисун Е. (КНР). Нумерические элементы в составе терминов в китайском языке в сопоставлении с русским 95

К 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака

Романова И.В. Устойчивые лексические комбинации в стихотворениях Б.Л. Пастернака о войне 106
Мальцева О.А. Религиозная символика в пейзажных стихотворениях цикла Б. Пастернака «Елене» 115
Руденко М.С. Антроподицея Бориса Пастернака (размышления над текстом «Доктора Живаго») 123

Памяти Валентина Александровича Недзвецкого

Кормилов С.И. Ушел большой человек 133
Из откликов на смерть В.А. Недзвецкого 140
Недзвецкий В.А. Н.И. Либан о русском классическом романе 150

Материалы и сообщения

Карцева З.И. Музыка в мотивной структуре прозы Э. Дворяновой 161
Манькова А.О. Ориентальное в программных манифестах русских символистов 170
Маглий А.Д. Жанровое своеобразие романа Е. Водолазкина «Лавр» 177
Гусева С.С. Обозначения лица в тексте как элементы единой номинативной парадигмы (на примере текстов А.П. Чехова) 187
Дурягин П.В. Реализация «сочетаний с непроизносимыми согласными» на стыках слов в современном русском литературном языке 197
Столярова В.В. Пространственные предлоги и наречия в русском языке: семантические различия 208

Критика и библиография

Усачева А.В. Марта Петреу. Ионеску в стране отцов. Бухарест, 2012 219

Научная жизнь

Чернец Л. В. и др. XI Поспеловские чтения «Герменевтика. Интерпретация. Текстология – в новом тысячелетии» 223
Ивинский Д.П. Конференция «История литературы в системе современных гуманитарных дисциплин» 233

Памяти…

Людмила Михайловна Баш (23.03.1946 – 15.11.2014) 238

CONTENTS

Articles

Khalizev V.E., *Kholikov A.A.* Paradoxes and "Fruitful Extremes" of the Russian Formalism (methodology / the worldview) 7
Ivinsky D.P. The Books of Prophets and Russian Literature. 1: The Book of Daniel: notes on the subject 34
Remnyova M.L., *Nikolenkova N.V.* The Dual Number in Church Slavonic Texts with Intermediate Genre Characteristics (late XVI–XVII century) 50
Panova G.I. On the Stratification of Expression of Morphological Meanings within the Russian Verb's System of Slovoforms 62
Urzha A.V. Functional 'Satellites' of Praesens Historicum in Russian Translated Narratives 76
Tsisun E. (PRC). Numerical Elements as Components of Terms in Chinese in Comparison with Russian 95

Towards B.L. Pasternak's 125th Anniversary

Romanova I.V. Stable Lexical Combinations in B.L. Pasternak's Poems about War 106
Mal'tseva O.A. Religious Symbolism in the Landscape Poems of B. Pasternak's Cycle 'To Elena' 115
Rudenko M.S. Boris Pasternak's Anthropodicea (reflections over the text of 'Doctor Zhivago') 123

In Memory of Valentin Alexandrovich Nedzvetsky

Kormilov S.I. A Great Man Has Passed Away 133
From Responses to V.A. Nedzvetsky's Demise 140
Nedzvetsky V.A. N.I. Liban about the Classical Russian Novel 150

Communications and Materials

Kartseva Z.I. Music in the Motivic Structure of E. Dvoryanova's Prose 161
Man'kova A.O. The Oriental in the Russian Symbolists' Programmes and Manifestos 170
Magliy A.D. Genre Specifics of E. Vodolazkin's Novel 'The Laurel' 177
Guseva S.S. Ways of Naming a Person in the Text as Elements of a Unified Nominative Paradigm (as exemplified by A.P. Chekhov's texts) 187
Duryagin P.V. Realization of 'Clusters with Unpronounced Consonants' in External Sandhi Positions in Contemporary Standard Literary Russian 197
Stolyarova V.V. Spatial Prepositions and Adverbs in Russian: Semantic Differences 208

Critique and Bibliography

Usachova A.V. Marta Petreu. Ionescu în țara tatălui. Bucureşti, 2012 219

Scholarly Life

Chernets L.V. et al. The XI Pospelov Readings "Hermeneutics. Interpretation. Textual Studies – in the New Millennium" 223
Ivinsky D.P. The Conference 'The History of Literature within the System of Contemporary Humanities' 233

In Memory of...

Ludmila Mikhailovna Bash 238

СТАТЬИ

В.Е. Хализев, А.А. Холиков

ПАРАДОКСЫ И «ПЛОДОТВОРНЫЕ КРАЙНОСТИ» РУССКОГО ФОРМАЛИЗМА (МЕТОДОЛОГИЯ / МИРОВОЗЗРЕНИЕ)

Авторы статьи сосредоточились на методологии русских формалистов в связи с их мировоззрением. Речь, в частности, идет о том, что в основе как теоретических построений, так и мировоззренческих установок представителей формальной школы заложена *парадоксальность* в широком смысле этого слова, т. е. внутреннее противоречие, которое, в свою очередь, не свидетельствует об их ошибочности, но указывает на ограниченность «инструментария», стимулирует к его усовершенствованию и более глубокому осмыслению основного объекта науки о литературе. В итоге рассуждений формализм встраивается в один ряд со звеньями русского утопизма начала XX в. (наряду с ницшеанством и марксизмом, космизмом и «новым религиозным сознанием»): это была *утопия преображения мира* на почве обогащения человеческого восприятия с помощью нового искусства (прежде всего – словесного) и новой науки о нем.

Ключевые слова: литературоведение, история литературоведения, русский формализм.

The authors have focused on the methodology of Russian formalists in connection with their worldview. It is said that at the heart of both theoretical constructs and philosophical systems of representatives of the formal school lies a paradox (in the broadest sense of the word). This means an internal contradiction that is not a sign of falsity, but that points to the limitations of methods of research. And this encourages a better understanding of the main subject of literary criticism. Formalism at the end of the article is presented as a link in the Russian utopianism of the early twentieth century (along with Nietzscheanism and Marxism, cosmism and “new religious consciousness”), as a utopian transformation of the world on the basis of the enrichment of human perception with the help of new (primarily verbal) art and new research about it.

Key words: literary criticism, history of literary criticism, Russian formalism.

Виктор Эрлих, автор серьезной и глубокой монографии о формализме, более двадцати лет назад заметил, что «ретроспективный взгляд на русскую формальную школу – большая и сложная тема»[1]. За прошедшие с тех пор годы она ничуть не уменьшилась и не упростилась, если учесть общее количество посвященных ей исследований.

[1] *Эрлих В.* Наследие ОПОЯЗа // Филологические науки. 1992. № 5 – 6. С. 3.

О формализме и формалистах столько всего написано, что трудно не повториться в стремлении сказать свое слово, особенно поднимая вопрос о смене репутаций этой научной школы. Вместе с тем очевидно, что его обсуждение нельзя считать закрытым.

Долгое время формалисты практически не имели поддержки вне своего узкого круга. В.Б. Шкловский небезосновательно говорил о том, что он и его единомышленники шли «сквозь свист и хохот»[2]. Оппонентами формализма были прежде всего марксисты. Л.Д. Троцкий охарактеризовал взгляды формалистов как «поповство»[3], считая, по-видимому, что все, находящееся за пределами ортодоксального марксизма, являет собой «церковное мракобесие». В.Ф. Переверзев писал, что метод формалистов «принципиально враждебен социологическому методу марксистов»[4]. В те годы даже без намерения автора это выглядело как призыв к гонениям и преследованиям. Но важно и другое. Весьма критически о формализме высказывались литераторы, далекие от марксизма. Имел место широкий «фронт критики», суровой и жесткой. Выступая в 1922 г. в Вольфиле, А. Белый говорил: «… отрезать прием от того, что его породило, грех против живой литературы»[5]. С.А. Аскольдов в статье 1925 г. утверждал, что «форма, лишенная содержания, превращается в маску, которая своим искусным строением обманывает»[6]. Незадолго до этого А.Г. Горнфельд, ученик А.А. Потебни, не без оснований осудил резкие, уничижительные выпады формалистов против старой науки: «После таких “заострений” нашим формалистам жаловаться на противников не приходится: на улице всегда побеждает тот, кто кричит громче»[7]. Пожалуй, самое весомое, аргументированное критическое слово о формализме до официальных гонений на него было сказано в книге П.Н. Медведева (М.М. Бахтина) «Формальный метод в литературоведении» (1928). В русском зарубежье того времени к формалистам тоже относились весьма скептически, чтобы не сказать сильнее.

---

[2] *Шкловский В.* Перечитывая свою старую книгу… // Вопросы литературы. 1983. № 11. С. 139.

[3] *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. М., 1923 (см. гл. V «Формальная школа поэзии и марксизм»).

[4] *Переверзев В.Ф.* «Социологический метод» формалистов // Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982. С. 369.

[5] Беседа о формальном методе. 10 декабря 1922 // Белоус В.Г. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924: В 2 кн. Кн. 1. М., 2005. С. 807.

[6] *Аскольдов С.* Форма и содержание в искусстве слова // Литературная мысль. Вып. 3. Л., 1925. С. 334.

[7] *Горнфельд А.* Формалисты и их противники // Литературные записки. 1922. № 3. С. 6.

Об этом, в частности, свидетельствуют статьи В.Ф. Ходасевича и Г.В. Адамовича[8].

В 1930-е годы (и далее до середины 1950-х) в СССР формализм был объявлен опасным врагом. В ход шли идеологические и политические ярлыки: буржуазность, позже – космополитизм. Появлялось много официозной «антиформалистской» литературы. Провозглашалось, что формалисты якобы нанесли непоправимый вред советской культуре. Конец формальной школы был предопределен, но участники ее продолжали работать. Они обратились к темам методологически нейтральным: к истории литературы академического типа (Б.М. Эйхенбаум), к писательству (Ю.Н. Тынянов), литературной критике и мемуарам (В.Б. Шкловский). Один из немногих, кто в те времена публично защищал формализм, не имея к нему отношения, – К.И. Чуковский. В 1936 г. он утверждал: «Мы все еще боимся говорить во весь голос о художественной форме литературных творений и пробавляемся одной “социологией”»[9]. В 1930–1950-е годы о форме говорилось обычно «под занавес» книг и больших статей. Слово это, как правило, не фигурировало, использовался преимущественно термин «мастерство». Принято было сначала рассуждать (весьма пространно) об идеях, общественных взглядах и социально-классовой позиции писателя, а затем (гораздо короче) о мастерстве. От этого стереотипа на протяжении 1960–1970-х годов наука постепенно удалялась. Односторонняя сосредоточенность на содержании была остроумно названа «содержанизмом»[10] как противоположная формализму крайность.

Большую роль в реабилитации формальной школы сыграли структуралисты. Значимым событием стал выход книги «Хрестоматия по теоретическому литературоведению, 1» под редакцией И. Чернова (Тарту, 1976), представлявшей собой умело сделанную подборку опорных формулировок Шкловского, Тынянова, Эйхенбаума и других ученых. Стоит также вспомнить публикации 1960–1970-х годов в «Трудах по знаковым системам» при Тартуском университете. В ту же пору были отдельно изданы работы формалистов: в 1969 – две книги Эйхенбаума («О поэзии» и «О прозе»), в 1977 – сборник статей Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино». И не только. Многое для возвращения в научный обиход наследия формалистов сделал

---

[8] *Ходасевич В.Ф.* О формализме и формалистах // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996; *Адамович Г.В.* <Виктор Шкловский> // Адамович Г.В. Литературные беседы: <В 2 кн.> Кн. 1. СПб., 1998.

[9] *Чуковский К.И.* Литература и школа // Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М., 2001. С. 403. Под общим заглавием автор объединил тексты двух выступлений 1936 г.

[10] См.: *Затонский Д.* Художественные ориентиры XX века. М., 1988. С. 63.

А.П. Чудаков. Еще один факт, свидетельствующий об упрочении наследия формалистов в сознании русских гуманитариев: с 1980-х годов стали регулярно устраиваться Тыняновские чтения в Резекне (Латвия), по результатам которых издаются сборники материалов этой конференции.

В перестроечное время дала о себе знать безудержная апология формализма, которая шла по нарастающей вплоть до конца XX в. Суждения лидеров формальной школы часто канонизировались, подавались как некие окончательные, абсолютные истины. В одной из сравнительно недавних статей говорилось, что до формализма в литературоведении будто бы существовало только «преднаучное» знание[11]. Но несколько лет спустя на страницах того же журнала высказывалась иная отмеченная критичностью точка зрения на формализм: воинствующая агрессивность была сознательной линией поведения формалистов, их платформа являлась идейной, а ранние декларации сходны с официальными лозунгами («прежде чем объединяться, необходимо размежеваться», «кто не с нами, тот против нас»)[12].

Ныне все чаще предпринимаются опыты беспристрастного обсуждения (pro et contra) формальной школы. Первые шаги в этом направлении были сделаны на страницах одного из «Тыняновских сборников», где ученым предлагалось ответить на вопрос об их отношении к формализму. Ответы давались очень разные: «самая влиятельная» школа (В. Шмид), «без русской формальной школы современное литературоведение представить просто невозможно» (Е.В. Душечкина), «все более явственно уходит в прошлое» (Б.М. Гаспаров), «реальное значение – сегодня достаточно скромное» (М.И. Шапир). Наследие формалистов, утверждал М.Б. Ямпольский, следует «подвергнуть “переписыванию”, критической “деконструкции”» – такова «одна из насущных задач современной филологии»[13]. Однако и более острые высказывания о формалистах весьма многочисленны до сих пор. У них, по словам С.Г. Бочарова, «поиск литературности в литературе вел к чему-то вроде ее стерилизации»[14]. С.И. Сухих назвал поэтику формальной школы «технологической». В ней поэт, по

---

[11] См.: *Дмитриев А.*, *Левченко Я.* Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 195–245.

[12] *Гиндин С.И.* Первый конфликт двух поколений основателей русского стиховедения // Новое литературное обозрение. 2007. № 86. С. 64–69.

[13] Анкета к 100-летию со дня рождения Ю.Н. Тынянова // Тыняновский сборник: Седьмые Тыняновские чтения. Рига; М., 1995 – 1996. С. 9 – 86.

[14] *Бочаров С.Г.* На чей глаз и кто в силах? // Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 627.

мнению ученого, предстает лишь «безличным исполнителем воли внутрилитературных законов»[15].

Наблюдаемая полярность в оценках формальной школы свидетельствует о желательности непредвзятого взвешивания (вне крайностей тотальной апологии или полного неприятия) всех pro et contra на основе привлечения как можно большего количества фактов. Не только научных текстов и критики, но и мемуаров, переписки, дневников. Наша цель – наметить пути решения этой непростой задачи[16].

I

На смену *методологическому плюрализму* дореволюционного академического литературоведения[17] пришел *редукционизм* формализма. В особенности – раннего. Формальная школа (и в этом ее огромная заслуга) решительно отказалась от подмены изучения самой литературы изучением «сопутствующих» ей явлений, но при этом содержание словесно-художественных произведений ею редуцировалось. Основным у ранних формалистов, по словам Эйхенбаума, «был лозунг раскрепощения поэтического слова от оков философских и религиозных тенденций»[18]. (И здесь, заметим, имело место своеобразное схождение с марксистским литературоведением.) Нечто в этом же роде сказывалось (хотя в значительно меньшей мере) и в структуралистских штудиях, где, как, например, у Цв. Тодорова, толкования смысла произведения выносились за рамки научного знания[19].

Однако формалисты отсекали не только содержание, смысл, но и сама форма литературного произведения редуцировалась ими до речевой ткани (поэтического языка) и композиции (конструкции приемов), что шло вразрез с многовековой традицией. Согласно предписаниям античной риторики, оратору необходимо было найти материал (образы, предметы), расположить его и воплотить в

---

[15] *Сухих С.И.* «Технологическая» поэтика формальной школы. Из лекций по истории русского литературоведения. Н. Новгород, 2001. С. 106.

[16] Уже после подготовки данной статьи к печати вышла основательная публикация С.И. Кормилова «Литературоведы как критики: методология формализма в работах Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова о текущей литературе» (см.: Методология и практика русского формализма: Бриковский сборник. Вып. II. М., 2014. С. 23–34). Ее ценность, как нам представляется, в том, что автор сосредоточился не на манифестарных (полемически заостренных) высказываниях лидеров формальной школы, а на их критических работах о текущей литературе. Выводы этого исследования – еще один шаг на пути достижения сформулированной нами цели.

[17] См.: *Хализев В.Е.*, *Холиков А.А.* Русское академическое литературоведение начала XX века и традиция Александра Веселовского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2013. № 5. С. 116–139.

[18] *Эйхенбаум Б.М.* Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 379.

[19] *Тодоров Цв.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 41.

словах. Inventio, dispositio, elocutio – эти три аспекта выделяемы и в литературно-художественных произведениях (вслед за В.М. Жирмунским, Д.С. Лихачевым): предметный слой (мир произведения), композиция и стилистика. Формалисты же потеснили (если не отвергли) значимость предметного слоя формы (он представлен только как материал и мотивировка), сосредоточившись на dispositio и elocutio.

Изучение *поэтического языка* формалистами началось еще до возникновения этой литературоведческой школы. В 1914 г. появилась брошюра Шкловского «Воскрешение слова». За ней последовал ряд его статей 1915–1916 гг., посвященных языку поэзии. Одна из них – «О поэзии и заумном языке» (1916). В ней Шкловский пишет о том, что поэзия – это прежде всего наслаждение ничего не значащим «заумным словом», «танец органов речи»; здесь важна «произносительная сторона», именно она является источником наслаждения, которое приносят стихи. Автор статьи присоединяется к словам польского поэта Ю. Словацкого: «Настанет время, когда поэтов в стихах будут интересовать только звуки»[20]. В другой статье того же периода («Предпосылки футуризма», 1915), полемической по отношению ко всему в литературе, что было до футуристов, Шкловский замечает: «…нам мало... изношенных, обглоданных слов». Далее следует хвала футуристической зауми, освобождающей поэтический язык от гнета смысла[21], что весьма характерно для раннего формализма. Здесь просматривается не только футуристический, но и ницшеанский генезис. В работе «Сумерки идолов…» (1888) читаем: «“Разум” в языке – о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику…»[22]

Выдвигая тезис об *остраняющем приеме* как единственно важном в словесном искусстве, формалисты выносили за рамки своей теоретической поэтики *материал*. В составе материала – и выражаемые автором мысли, и воссозданные предметы (плоды вымысла: герои, ход событий (фабула[23]), бытовая обстановка, картины природы и т. д.). «Мысль в литературном произведении, – полагал Шкловский, – или такой же материал, как произносительная и звуковая сторона морфемы, или же инородное тело»[24].

---

[20] *Шкловский В.* О поэзии и заумном языке // Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М., 1990. С. 58.

[21] *Шкловский В.* Предпосылки футуризма // Голос жизни. 1915. № 18. С. 8.

[22] *Ницше Ф.* Сумерки идолов, или Как философствуют молотом // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 571.

[23] О различии между понятиями «фабула» и «сюжет» у формалистов см.: *Томашевский Б.* Теория литературы. Поэтика. 4-е изд. М., 1928. С. 134–144.

[24] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. М., 1983. С. 62.

Поэтическое творчество понималось лидерами формальной школы в период ее становления как процесс обработки сырого материала, взятого из действительности, и его преодоление с помощью приемов. Произведение – это только форма, а форма – это совокупность приемов. Эйхенбаум, анализируя повесть Н.В. Гоголя «Шинель», утверждал, что в тексте произведения «мы (речь идет об ученых-литературоведах, а не любых читателях. – *В.Х.*, *А.Х.*) *не можем и не имеем никакого права* видеть… что-либо другое, кроме определенного художественного приема»[25]. Показательны слова Р.О. Якобсона: «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать “прием” своим единственным “героем”»[26].

Каковы же черты этого главного и «единственного героя»? Прежде всего прием связан с затрудненностью формы. Его назначение – увеличить длительность восприятия. У Шкловского фигурируют такие слова, как «замедление», «затруднение», «торможение», «задержание» процесса восприятия[27]. Важнейшее свойство приема – служить *остранению*. Сам Шкловский подчеркивал, что остранение происходит от прилагательного «странный» и его следует писать с двумя «н» – остра́ннение. Слово «остранение» с одним «н», шутил он, «как собака с отрезанным ухом, бегает по миру»[28].

Остранение – это видение предмета в каком-то необычном ракурсе. Благодаря ему искусство преодолевает автоматизированное, т. е. пассивно-механическое, отвлеченно-алгебраическое восприятие окружающих людей и предметов. Введенная Шкловским пара понятий (*автоматизация* и *остранение*) относится не только к сфере искусства, но и психологии восприятия. В привычной повседневности, считал Шкловский, мы *узнаем* предметы, но *не видим* их: «Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны»[29]. Это – из статьи «Искусство как прием» (1916–1917). А в работе 1923 г., гораздо менее известной, но, на наш взгляд, не менее значимой («Литература и кинематограф»), говорится о том, что людьми утрачено ощущение окружающей их реальности: «Мы живем в бедном и замкнутом мире. Мы не чувствуем мира, в котором живем… Так живущие у моря не слышат шум волн... Мир ушел из нашего видения, мы имеем только узнавание вещей»[30]. Позднее Шкловский суммирует: «Мир болен однообразием…»[31] Теория формалистов призвана излечить мир от

---

[25] *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. Л., 1969. С. 321.
[26] *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 275.
[27] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. С. 50–54.
[28] Там же. С. 73.
[29] Там же. С. 15.
[30] *Шкловский В.* Литература и кинематограф. Берлин, 1923. С. 11.
[31] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. С. 89.

него, «спасти человечество». Посредством остраняющих приемов людям должно было вернуться «ощущение жизни». Ради этого, считал Шкловский, и существует искусство. Чтобы выполнить свою высокую спасительную роль, ему не нужны никакие смыслы.

Очевидно, слова о том, что мир томится однообразием, – чрезмерное преувеличение. В истории искусства (и культуры в целом) полнота и яркость видения укоренены веками. Одно из опорных понятий эстетики Ренессанса – разнообразие (varientas). Некие «здесь и сейчас» в их богатстве и многообразии, безусловно, значимы в литературе XIX—XX вв.: для Гете и Пушкина, Толстого и Достоевского, Ахматовой и Пастернака, Пришвина и Платонова мир далеко не однообразен. Суждения Шкловского 1910–1920-х годов были вполне естественны и даже актуальны для своего времени. В начале прошлого столетия неоднократно высказывалась мысль о том, что современное искусство призвано *обогатить* восприятие человеком того, что его окружает. Примечательны в этой связи слова Б.Л. Пастернака из письма 1922 г. к Ю.И. Юркуну: «…я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны»[32]. Тогда же, в 1923 г., применительно к театральной эстетике С.М. Эйзенштейн ввел термин «аттракцион», предполагавший точно выверенное многостороннее воздействие на различные чувства зрителя: «…не “раскрытие замысла драматурга”, “правильное истолкование автора”, “верное отображение эпохи” и т. п., а только аттракционы и система их являются единственной основой действенности спектакля»[33]. Впоследствии эта идея режиссера была объявлена «порочной и формалистической».

Теория остранения, предложенная Шкловским (при всей ее оригинальности), предварялась хорошо известным в России философом А. Бергсоном, на которого, вероятнее всего, и опирался автор статьи «Искусство как прием». В 1911 г. (перевод на русский язык – 1913) Бергсон утверждал, что от философии нужно перейти к восприятию, «вернуться» к нему, «добиться его расширения и углубления»; назначение художников – «видеть самим и заставлять видеть других то, что естественным образом мы не замечаем»; у нас наличествует бледное и обесцвеченное видение вещей, «мы едва взглядываем на предмет; нам достаточно знать, к какой категории он принадлежит»[34].

---

[32] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 7. М., 2005. С. 384.

[33] *Эйзенштейн С.* Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 271.

[34] *Бергсон А.* Восприятие изменчивости. СПб., 1913. С. 9, 11, 15. *Бергсон А.* Воспоминание настоящего. СПб., 1913. О влиянии Бергсона на формалистов см.: *Левченко Я.* О некоторых философских референциях русского формализма // Русская теория: 1920–1930-е годы. М., 2004. С. 168–190.

Здесь бросается в глаза почти полное текстуальное совпадение с высказываниями Шкловского. Перед нами не просто «типологическое схождение». В еженедельнике «Запросы жизни» (1912. № 52), весьма авторитетном издании того времени, была опубликована рецензия Эйхенбаума на книгу Бергсона «Восприятие изменчивости». Шкловский не мог о ней не знать.

Однако это не повод отвергать момент новизны в работе «Искусство как прием». Во-первых, термин *остранение* придумал и ввел Шкловский, а во-вторых, он соотнес его в том числе с современным искусством, тогда как Бергсон говорил о том, что художнику всегда и везде свойственен новый взгляд на вещи. Оригинальной можно также назвать отнюдь не академическую, а агрессивно-наступательную, эпатирующую интонацию Шкловского в духе футуризма. Наконец, в теории формалистов речь шла о двух функциях остранения, которое не только приближает человека к окружающему, открывает ему глаза (это прослеживается в основном в ранних статьях), но и, напротив, помогает человеку увидеть мир чужим, если не враждебным, отдалить вещь от субъекта ее восприятия (позже этот тезис лег в основу теории «эпического театра» Бертольта Брехта). Так, в конце 1920-х годов Шкловский писал о Л.Н. Толстом: «…установка на недоверие к жизни и потребность ее пересказать, о с т р а н и т ь». Здесь – прием представлен как «примерка вещи на человеке», который не связан с ней. И еще: искусство Толстого основано «на недоверии к вещам»[35]. Вслед за Б. Брехтом остранение стало пониматься как отчуждение. Сходным образом рассуждает австрийский искусствовед А. Ханзен-Лёве: «Отчуждение через овеществление – один из главных мотивов прозы Шкловского…»[36] Однако ведущим у раннего Шкловского было все-таки радостное открытие вещи, ее живое видение.

Превознесение *конструктивных мотивов* – еще один пример методологической редукции формалистов, которые придавали значение не только отдельным приемам, но и их «сцеплениям», «строению» поэтического (и прозаического) произведения. В исследовании Шкловского «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1919) употребляются такие слова и словосочетания, как «ступенчатое построение», «комбинация мотивов», «задержание», «замедление», «торможение»[37]. То, что было сказано в этой работе, через несколько лет развил и углубил Тынянов в статьях «Литературный факт» (1924) и «О литературной эволюции» (1927): «…литература

[35] *Шкловский В.* Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., <1928>. С. 109, 119.

[36] *Ханзен-Леве Оге А.* Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001. С. 557.

[37] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. С. 35, 40, 54, 62.

есть речевая конструкция, ощущаемая именно как конструкция…»; в основе поэтического творчества лежит «конструктивный принцип» (в другой формулировке: составляющие произведение элементы «*соотнесены между собою* и находятся во взаимодействии»)[38]. Заметим, что значение слова *конструкция* близко к тому, что традиционно именуется композицией.

Итак, произведение в разумении формалистов – это конструкция приемов. Конструктивное начало было противопоставлено мотивировке (использованию материала для создания конструкции) как моменту внешнему, вторичному и не очень существенному для искусства. «…Формальный метод… не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы... Все: и судьба героев, и эпоха, в которой совершается действие, все – мотивировка форм»[39], – писал Шкловский. Подводя в 1926 г. итоги тому, что было сделано формальной школой, Эйхенбаум отметил, что «формалисты направили все свои усилия на то, чтобы показать значение именно конструктивных приемов, а все остальное отодвинуть в сторону»[40]. В этом же русле – блистательный, но не бесспорный анализ психологом Л.С. Выготским рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание»[41]. Здесь настойчиво выражена мысль о том, что все произошедшее с Олей Мещерской – лишь мотивировка композиции.

Односторонностью отмечена и *теория литературного процесса*, разрабатываемая формалистами. Тынянов, сделавший больше остальных в этом направлении, предлагал рассматривать литературную эволюцию имманентно, в контексте только литературных фактов. В XIX в. понимание литературного процесса (с акцентом на внутрилитературных «истоках» эволюции) выдвигал еще Т. Бенфей, создатель так называемой теории заимствований и основоположник сравнительного литературоведения. Однако наибольшей популярностью в доформалистической науке пользовались каузальные концепции движения литературы, акцентировавшие (порой чрезмерно) стимулы, идущие извне литературной жизни (такие, как эволюция социально-исторических условий или судьба писателя, претерпевшего в течение жизни ряд идейных и психологических изменений). В XX столетии подобные взгляды на искусство преобладали в марксистском литературоведении.

---

[38] *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 261, 272.

[39] *Шкловский В.Б.* Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 235.

[40] *Эйхенбаум Б.М.* Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. С. 391.

[41] См. одноименную главу в книге Л.С. Выготского «Психология искусства» (1965), куда вошли работы 1915–1922 гг.

* * *

Со временем некоторые крайности раннего формализма преодолевались или смягчались. Концепция поэтического языка Якобсона – шаг вперед в сравнении с апологией зауми у Шкловского. Свою теорию Якобсон разрабатывал на протяжении ряда десятилетий. Первая работа – «Новейшая русская поэзия» (написана в 1919 г., опубликована в 1921-м) посвящена В. Хлебникову. Ее автор, подобно Шкловскому, полагал, что в поэзии наиболее важно звучание речи («…поэзия есть оформление самоценного, “самовитого”, как говорит Хлебников, слова»[42]), но не ограничивался этим, а рассуждал также о тропах, синтаксисе, фразировке, отражении разговорной речи. Через десять лет якобсоновская концепция поэтического языка была более четко изложена в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929).

В известном труде Б.В. Томашевского «Теория литературы. Поэтика» (1925), в разделе, посвященном стилистике, концепция Якобсона была дополнена и подкорректирована: «Не следует думать, что “установка на выражение” происходит в ущерб мысли, что, следя за выражением, мы забываем о смысле»[43]. Здесь, как видно, наряду с выражением обретает права и выражаемое. Рассуждая о поэтическом языке, Томашевский рассматривает не самовитое слово, не выражение в чистом виде, а художественное высказывание, проявляет интерес к предметному миру произведения и его тематике.

Впоследствии Якобсон сам отказался от юношеских резкостей и жесткого противопоставления поэтического языка и языка общения. В статье «Лингвистика и поэтика» (1960)[44] он говорил уже не об отдельном поэтическом языке, а о поэтической функции речи, во многом опираясь на труд «Теория языка» (1934) К. Бюлера, который выделил три основные функции речевой деятельности: сообщение о предмете речи, выражение мысли и чувств говорящего (экспрессия) и апелляция (каждый речевой акт есть обращение к кому-то)[45]. К ним Якобсон добавил еще три функции: фактическую, метаязыковую и поэтическую[46]. Таким образом, формалистическая изоляция

---

[42] *Якобсон Р.* Работы по поэтике. С. 275.

[43] *Томашевский Б.* Теория литературы. Поэтика. 4-е изд. М., 1928. С. 9.

[44] См. также недавно опубликованные тексты лекций Якобсона середины 1930-х годов: *Якобсон Р.О.* Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011. В них, в частности, дана краткая характеристика первых трех этапов формалистских опытов: «Лозунгом первого этапа было исследование звуковых аспектов художественного произведения, второго – включение в поэтику проблем значения, третий этап соединил эти аспекты в неделимое целое» (с. 76).

[45] *Бюлер К.* Теория языка. М., 1993.

[46] *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–230.

поэтического языка от языка общения потеряла свою прежнюю актуальность.

Что же касается ранних работ Якобсона о поэтическом языке, то в них сказалось влияние другого европейца – крупного итальянского философа Б. Кроче, автора книги «Эстетика как наука выражения и как общая лингвистика» (1902, русский перевод – 1920). У Кроче тоже говорится о том, что «эстетический факт представляет собою… форму и только форму», однако, читаем далее, «отсюда совсем не следует, чтобы содержание было чем-то лишним», так как оно является «необходимым исходным пунктом для выразительного факта»[47]. Другими словами, Кроче, в отличие от русского формалиста, связывал выражение с впечатлением и познанием.

Завершая эту тему, следует подчеркнуть, что в 1920-е годы и позже поэтический язык как теоретическое понятие одновременно с Якобсоном изучали и другие филологи, которые были причастны к формализму и в то же время отступали от него. Это прежде всего Г.О. Винокур[48] и В.В. Виноградов[49].

Не менее важно отметить, что методологические крайности формалистов оказались по-своему плодотворными, о чем уже писал А.П. Чудаков. Их «блистательная однобокость» (словосочетание принадлежит В. Эрлиху), будучи проявлением редукционизма, сыграла в истории литературоведения положительную роль. Известно, что в составе науковедения слово «редукция» имеет двоякий смысл. Во-первых, это необходимая избирательность постижения реальности: любое исследование ограничено в своей тематике и в этом смысле редуцирует объект. Во-вторых (и именно об этом шла речь), редукционизм являет собой неполноту охвата научной дисциплиной ее объекта, игнорирование и/или принципиальное (методологически обоснованное) отсечение учеными определенных граней рассматриваемого предмета, т. е. сужение данной области знания[50]. Однако подобного рода редукции, как в случае с формализмом, не только обедняют, но и обогащают наши представления о постигаемой реальности.

---

[47] *Кроче Б.* Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. 1. М., 1920. С. 19. В этом же русле книга Р.Дж. Коллингвуда «Принципы искусства» (1938).

[48] См.: *Винокур Г.О.* Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.

[49] См.: *Виноградов В.В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980. Книга завершается объемистой, надежно оснащенной фактами, глубокой по мысли статьей А.П. Чудакова о теориях художественной речи в России первой трети XX в.

[50] См.: *Хализев В.Е.* О стратегиях анализа литературного произведения // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2007. Т. 66. № 6. С. 16–22.

К числу неоспоримых заслуг русской формальной школы следует в первую очередь отнести сосредоточенность на основном предмете литературоведения. К освоению художественных «единичностей» в их многоплановости и целостности наша наука подходила медленно и трудно. При всей масштабности его свершений академическое литературоведение XIX в. уделяло внимание не столько самому словесному искусству, сколько генезису литературного творчества. И лишь XX век поставил проблему *специфики* искусства слова в центр своего внимания, ознаменовался пристальным интересом ученых к словесно-художественной (текстовой) конкретике. Это был серьезнейший и позитивно значимый сдвиг в истории науки. Формалисты взбудоражили и стимулировали теоретическую мысль, приковали внимание ученых к тем сторонам художественного текста, которые раньше не очень обращали на себя внимание. Не будет преувеличением считать, что представители формальной школы, выдвигая собственную теорию литературной эволюции, предприняли опыт достраивания исторической поэтики А.Н. Веселовского. Но если Веселовский обращался к давним временам, когда литературный процесс протекал медленно и в нем доминировала мирная преемственность, то Тынянов и Шкловский строили концепции на основе современного материала и применительно к нему имели свои резоны.

II

В основе теоретических построений формалистов заложена *парадоксальность* в широком смысле этого слова, т. е. внутреннее противоречие, которое, в свою очередь, не свидетельствует об их ошибочности, но указывает на ограниченность «инструментария», стимулирует к его усовершенствованию и более глубокому осмыслению основного объекта науки о литературе. Рассмотрим конкретные примеры.

У раннего Якобсона в теории поэтического языка присутствуют две базовые формулы. Во-первых, он говорит, что «поэзия есть язык в его эстетической функции» и, во-вторых, поэзия – это «*высказывание с установкой на выражение*», которая, категорически заявляет ученый, – «единственный существенный для поэзии момент», а все остальное не важно: «Поэзия индифферентна в отношении к предмету высказывания…» К тому же, отмечает Якобсон, поэтический язык внеэмоционален: «Мир эмоций, душевных переживаний» – «это то складочное место, куда сваливается все, что не может быть оправдано, применено практически». Душа поэта, продолжает он, – «факт вторичный, привходящий, притянутый»[51]. Парадоксальность приведен-

[51] *Якобсон Р.* Работы по поэтике. С. 275.

ных суждений очевидна. Перед нами – выражение без выражаемого. Можно сказать иначе: в соответствии с этой концепцией, поэтический язык сам себя манифестирует, игнорируя все ему внеположное.

Перейдем к другому опорному для формализма понятию «конструкция». В само слово, значение которого включает такие компоненты, как «строение», «соединение», «связь», т. е. нечто упорядоченное, непротиворечивое и цельное, формалисты вкладывают едва ли не противоположный смысл. «Отдельные стороны литературной формы, – читаем у Шкловского, – скорее борются друг с другом, чем сожительствуют»[52]. «… Стих, – пишет Тынянов, – обнаружился как борьба факторов, а не как содружество их»[53]. В основе теоретической поэтики формалистов – представление не о единстве и целостности художественных произведений, а об их дисгармоничности, внутренней конфликтности, неслаженности, противоречивости. При этом произведение предстает как арена (или результат) борьбы приемов (элементов конструкции).

Подобная борьба разворачивается и в литературной эволюции, т. е. само слово «эволюция» тоже двусмысленно, ибо в действительности речь идет не о процессе постепенного и непрерывного изменения, а о цепочке резких, революционных сдвигов. Формалисты уверяли, что приемы и конструкции нуждаются в постоянном и радикальном обновлении, при котором прежние, устоявшиеся формы отвергаются во имя чего-то беспрецедентно нового. По словам Шкловского, «новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность»[54]. Об этом же настойчиво говорил Тынянов в середине 1920-х годов. Ученым был выдвинут принцип контраста между литературным прошлым и настоящим. Подчеркивая резкий динамизм и острую конфликтность развития литературы, он оперировал такими лексическими единицами, как *«борьба и смена»*: «*Не планомерная эволюция*, *а скачок*, *не развитие*, *а смещение*». По мысли Тынянова, со временем жанр *«из центра перемещается в периферию*, *а на его место из мелочей литературы*, *из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление»*[55].

Важным моментом теории литературного процесса был вопрос о том, каким стимулом руководствуется писатель, стремясь создать новые конструкции. Тынянов выдвигал на передний план устремлен-

---

[52] *Шкловский В.Б.* Андрей Белый // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). С. 212.

[53] *Тынянов Ю.Н.* Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 41.

[54] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. С. 32.

[55] *Тынянов Ю.Н.* Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 256–258.

ность к литературному успеху, отодвигая в сторону иные факторы (нравственные, гражданские, философские и т. п.): «Нет для поэзии истинной теории построения, как нет и ложной. Есть только исторически нужные и ненужные, годные и негодные, как в литературной борьбе нет виноватых, а есть побежденные»[56]. Забегая вперед, скажем, что на протяжении последних десятилетий идея литературной жизни как арены борьбы за успех была доведена до крайнего предела (ср. мнение М.Ю. Берга о том, что присвоение и перераспределение власти является важнейшим аспектом литературной жизни и поэтому литературоведам следует прежде всего изучать стратегии обретения успеха[57]). Субъективные стимулы творчества Пушкина самым решительным образом редуцированы на сугубо прагматический лад в книге А.И. Рейтблата «Как Пушкин вышел в гении…» (2001). Согласно авторской концепции, поэт «использовал разноплановые формы обретения известности и создания прочной литературной репутации»: в начале 1820-х годов Пушкин (впервые в России) опробовал модель обретения славы «за счет противостояния правительству» (южная ссылка тому очень помогла), а позже – с той же целью использовал «покровительство власти». И в результате всего этого к началу 1830-х годов смог стать «общепризнанным главой русской литературы»[58].

У критиков теории литературной эволюции формалистов имелись серьезные причины утверждать: «Строго говоря, процесс историко-литературного развития, как его понимают формалисты, нельзя назвать эволюцией или развитием, не создавая двусмыслицы». И далее: «…по формалистической концепции, между сменяющимися в истории литературы формами нет никакого отношения эволюционного характера, как бы широко мы ни понимали слова “эволюция” и “развитие”»[59]. Здесь нужна оговорка: литературная преемственность формалистами все-таки признавалась. Допускались черты сходства между «внуками» и «дедами», а не «родителями» и «детьми» (Тынянов), «племянниками» и «дядями» (Шкловский). Но слово «традиция» либо отсутствовало, либо употреблялось в негативном освещении. В 1919 г. Шкловский выражал радость, что революция принесла освобождение от «гнета традиции»[60]. Полемика со всем привычным

---

[56] *Тынянов Ю.Н.* Промежуток // Там же. С. 182.

[57] *Берг М.* Гамбургский счет // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 110–119.

[58] *Рейтблат А.И.* Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 64, 66, 69.

[59] См.: *Медведев П.Н.* Формальный метод в литературоведении. М., 2003. С. 172, 177.

[60] Цит. по: Беседа о формальном методе. *10 декабря 1922* // Белоус В.Г. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924: В 2 кн. Кн. 1. С. 802.

и устоявшимся понуждала ставить на авансцену литературной жизни пародию. Свидетельство тому – статьи Тынянова «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» (1921), «О пародии» (1929). Шкловский, в свою очередь, имея в виду Сервантеса и Рабле, говорил о том, что «самые великие романы – это пародия на романы»[61].

Напомним, что теория формалистов стимулировалась атмосферой эпохи. В «Охранной грамоте» Пастернака дана яркая характеристика того времени: все надо было «взять с бою». В мире литературы «группы разделялись на эпигонские и новаторские». Последние были движимы «воинственностью» и «выхолощенной ненавистью»[62]. Этот «околофутуристический» настрой дал о себе знать и в бытовом поведении некоторых лидеров формальной школы. Эпатаж, конфликтность и пристрастие к скандалам – характерная черта Шкловского. Приведем фрагмент из рассказа Д.С. Лихачева, который, впервые придя в университет, встретился со Шкловским в большом коридоре. Поздоровались, обменялись репликами: «Сколько вам лет?» – «Шестнадцать» – «Пора начинать хулиганить…»[63] В том же роде – мемуарные свидетельства одной из учениц формалистов. После того как на выступлении обэриутов А.И. Введенский выехал на эстраду, где оно шло, верхом на комоде, Шкловский сочувственно-небрежно произнес: «Эх вы, скандалить не умеете!» Или другой факт: в Государственном институте истории искусств обсуждались работы Г.А. Гуковского, одного из младоформалистов, «заседание было бурным, и Шкловский швырнул в Гуковского графин с водой»[64]. Естественно, что такое поведение вызывало самое разное к себе отношение. Один из корреспондентов С.Н. Дурылина, солидаризируясь с ним, в письме 1928 г. отозвался о Шкловском так: «Я его слышал лично, – это просто балагур-раешник. Цель его – оригинальничать и особенно хулить»[65].

Парадоксальность в трактовке смеха и комического (первостепенно важных понятий в составе формалистической теории) – отдельная и большая тема, которая нуждается в детальной проработке. Пока же, в рамках нашего разговора, ограничимся общими соображениями на этот счет, неизбежно схематичными.

В установке лидеров формальной школы на изучение художественного произведения фанатическая серьезность причудливо

---

[61] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. С. 86.

[62] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 3. М., 2004. С. 213.

[63] *Егоров Б.Ф.* Воспоминания. СПб., 2004. С. 467.

[64] *Хмельницкая Т.* Неопубликованная статья о В. Шкловском / Публ. А. Громова-Колли // Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 31.

[65] *Дурылин С.Н.* В своем углу. М., 2006. С. 708.

переплеталась с насмешливостью и беззаботностью. Так, Шкловский пишет, что художнику «нужно сохранять ироническое отношение к своему материалу, нужно не подпускать его к себе. Как в боксе и в фехтовании»[66]. И еще: «…в верованиях поэта много иронии, они игровые»[67]. Культивируемая формалистами легкая, артистичная, изящная, веселая ирония уверенного в себе и своих силах человека сочеталась с представлениями о разрушительности. Это своего рода императив, творческая (жизненная и научно-литературная) программа. В письме к Роману Якобсону Шкловский признается: «Я не торгую, я танцую наукой»[68]. А в другом послании Якобсону, к тому времени уже эмигрировавшему, пишет: «Без тебя в нашем зверинце (имеется в виду сообщество формалистов. – *В.Х.*, *А.Х.*) не хватает хорошего веселого зверя»[69]. В статье Эйхенбаума «5=100» (1922) читаем: «Нас язвительно называют “веселыми историками литературы”. Что ж? Это не так плохо. Быть “веселым” – это одно теперь уже большое достоинство. А весело работать – это просто заслуга. Мрачных работников у нас было довольно – не пора ли попробовать иначе?»[70] О том же неоднократно высказывался Тынянов: «... литературная культура весела и легка…»[71]; критике нужны «более веселые (и новые) жанры»[72]. И вновь вспоминается пристальное внимание формалистов к пародиям. Вместе с тем культ веселости был связан неразрывными узами с апологией авантюризма. По словам Тынянова в статье «Сокращение штатов» (1924), для романа нужен новый герой – веселый авантюрист: «История русского героя (имеется в виду литература XIX в. – *В.Х.*, *А.Х.*) печальна и достойна внимания Зощенки». И далее: «Мы совсем позабыли про старого веселого героя веселых авантюрных романов». В характерном для директив тоне говорится, что русский герой XIX в. «сокращается по штату», увольняется «за недостатком мест и непригодностью». На смену ему идет «веселый “мнимый” герой фабульных романов, надежный спутник, нетребовательный и сильный»[73]. Вероятно, подобный Остапу

---

[66] *Шкловский В.Б.* Андрей Белый // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 218.

[67] Там же. С. 234.

[68] *Шкловский В.Б.* Роману Якобсону, переводчику полпредства СССР в Чехословакии // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 311.

[69] *Шкловский В.Б.* Письмо к Роману Якобсону // Там же. С. 146.

[70] Цит. по: *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. С. 462.

[71] Там же.

[72] *Тынянов Ю.Н.* Журнал, критик, читатель и писатель // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 149.

[73] *Тынянов Ю.Н.* Сокращение штатов // Там же. С. 145–146.

Бендеру, герою Ильфа и Петрова, создававших свои произведения в ту эпоху? Шкловский, в свою очередь, также писал об «интересе к авантюрному роману»[74].

Налицо перекличка с «Веселой наукой» (1886) Ф. Ницше: «…всем нам потребно озорное, порхающее, танцующее, насмешливое, ребячливое и блаженное искусство, дабы не лишиться той *свободы над вещами*, которой требует от нас наш идеал». Едва ли не тождество с приведенной выше фразой Шкловского обнаруживается в следующих высказываниях Ницше: «…мы привыкли мыслить… танцуя…»; «ум философа» – «хороший танцор»[75]. Здесь же отметим предваряющее сходство формалистического смеха с постмодернистским, хотя тональность у них разная. У формалистов (как в значительной мере у Ницше) смех веселый, радостный, задорный. У постмодернистов – иной. Так, М. Фуко в книге 1966 г. утверждал, что желание «исходить из человека в своем поиске истины» есть «несуразная и нелепая» рефлексия, которой «можно противопоставить лишь философический смех, то есть, иначе говоря, безмолвный смех»[76]. Однако, несмотря на некоторые отличия, крен в сторону обезличия человека имел место во всех приведенных случаях.

Эмоция смеха воспринимается как «формальная» реакция на впечатления извне, не связанная с душевной жизнью, носит отчуждающий характер. Смех в концепции формалистов функционально редуцирован – это по преимуществу осмеяние, отвержение, ирония, а не «сообщительная веселость» (по П.А. Вяземскому). Вероятно, поэтому понятие «отчуждение», столь значимое для формализма, остается вне логической оппозиции (ср. *материал – прием*, *автоматизация – остранение*). В качестве лексической пары к нему напрашивается слово «причастность», ставящая смеху границы, но ее-то у формалистов нет.

«Ирония без берегов», как известно, может вести в тупик нигилизма, бесчеловечности, обезличенности, что болезненно ощущал тот же Ницше: «…привычка к иронии… портит характер, она придает ему постепенно черту злорадного превосходства… начинаешь походить

---

[74] *Шкловский В.Б.* О современной русской прозе // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 195. Особенно настойчиво о том же писал Лев Лунц из «Серапионовых братьев», наставником которых наряду с Е.И. Замятиным считался Шкловский. Подробнее о тяготении литературоведов в 1920-е годы к авантюрной веселости см.: *Хализев В.Е.* Жанровые предпочтения формалистов и М.М. Бахтина // Филологические науки. 2006. № 2. С. 3–12.

[75] *Ницше Ф.* Веселая наука (la gaya scienza) // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 581, 691, 707.

[76] *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 363.

на злую собаку, которая, кусаясь, к тому же научилась и смеяться»[77]. О негативном потенциале тотальной иронии писали А.А. Блок в статье «Ирония» (1908), характеризуя ее как болезнь, буйство, кощунство, результат опьянения, как симптом утраты человеческого в человеке; в 1918 г. – С.Н. Булгаков: «Что-ж! теперь выигрышное время для иронии и злорадства…»[78] Ирония, не знающая границ, и в последующие десятилетия нередко оборачивалась тотальным отрицанием человеческого в человеке. Осмеяние, лишенное веских идейно-нравственных оснований, легко вносит в отношения людей дестабилизацию и отчуждение, рознь и вражду; насмешливость перерождается в мелочную и недостойную издевку, глумление. По словам Б.Ф. Егорова, «переполненность культуры иронией означает… разрушение идеала и нормативности вообще, выдвижение релятивизма и цинизма как ведущих черт мировоззрения»[79].

Справедливости ради нужно добавить, что позитивной стороной формалистического смеха было освобождение литературы от пафоса учительства и наставничества. Иронический взгляд на мир при всей его односторонности способен раскрепощать читателя. Формалисты заговорили о великом без придыхания (их наследниками в этом отношении стали А.Д. Синявский, А.В. Белинков, Ю.А. Карабчиевский), да и «сообщительная веселость» была им самим хорошо знакома, хотя это был только узкий круг единомышленников. В.А. Каверин, близко знавший Тынянова, вспоминал: «…это был человек необыкновенного душевного веселья, которое сказывалось решительно во всем», «обладавший редким даром перевоплощения, смешивший друзей и сам смеявшийся до колик, до упаду». А вот что о нем же писал Чуковский: «Его ум, такой разнообразный и гибкий, мог каждую минуту взрываться целыми фейерверками экспромтов, эпиграмм, каламбуров, пародий…»[80] Здесь, безусловно, видится органика соответствия программы «веселого искусства» и личности Тынянова. Забавность Шкловского, по мнению Л.Я. Гинзбург, таила под собой «большую подлинную человечность»[81].

---

[77] *Ницше Ф.* Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 411.

[78] *Булгаков С.* На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990. С. 93.

[79] *Егоров Б.Ф.* Славянофильство, западничество и культурология // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 2000. С. 474.

[80] Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. М., 1966. С. 32–33, 112.

[81] *Гинзбург Л.Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 314, 405.

Наконец, еще один парадокс, который можно отметить, заключался в том, что формалисты, страстно утверждаясь, со временем подвергали себя суровой самокритике. Так, Шкловский жаловался своему другу на недостаточность знаний. Вот ответ Эйхенбаума (1957): «Не скорби насчет “образования” – ты нужен был истории таким, каков есть»[82]. А Томашевский свой доклад 1922 г. о формальной школе начал фразой: «Формальный метод умер»[83] – слова, сказанные в период ее расцвета. Впрочем, здесь мы видим не только парадокс, но и печальное пророчество.

III

Если методология формалистов изучена сравнительно неплохо, то работ об их мировоззрении написано мало[84]. Одна из первых – «К вопросу о формальном методе» (1923) В.М. Жирмунского. Ученый отмечал плодотворность и, одновременно, ограниченность, односторонность *формалистического мировоззрения*. Сегодня можно с высокой степенью определенности говорить о том, что в его основе, как и в методологии, лежал принцип парадокса.

Начать с того, что *монистической* теории сопутствовало *релятивистское* мировоззрение формалистов, которое стимулировалось не только работами Кроче и Бергсона, философией Ницше (из чего не следует, что все эти авторы сами были релятивистами), но и теорией относительности в ее односторонней интерпретации. «… Вряд ли в самой литературе есть нравственность», – отмечал Шкловский в 1923 г.[85], а позже (1928) писал Тынянову: «Нужно непременно разрушать свою жизнь. Иначе она склеротируется и мы захлебнемся в добродетели»[86]. Как видно, нравственное начало отброшено в сторону, равно как философия (о чем уже говорилось). Эту опорную для мировоззрения формалистов позицию естественно было бы назвать релятивизмом «без берегов», когда отвергаются представления о бытийных константах.

---

[82] *Кертис Дж.* Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 338.

[83] *Томашевский Б.В.* Формальный метод // Современная литература: Сб. статей. Л., 1925. С.144.

[84] См., в частности, серьезную, но не бесспорную в отдельных моментах монографию: *Левченко Я.С.* Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012.

[85] *Шкловский В.* Литература и кинематограф. С. 58.

[86] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 194. Очевидно, сформулированную Шкловским позицию можно расценивать как реакцию на советский дидактизм (ср. «Торжество добродетели» В.В. Набокова (1930)).

Первым поборником такого миропонимания (нефилософской философии) выступил Якобсон в статье «Футуризм» (1919): «… изгнание абсолюта – главный пафос нового времени, злоба текущего дня». И еще: «…принцип относительности и футуристский “долой” рушат огороды старой культуры»[87]. Якобсон приводит несколько цитат из работ физиков, которые истолковывали открытия Эйнштейна в релятивистском духе. Однако заметим, что крупные философы начала XX в. не видели достаточных оснований для подобного рода интерпретаций. Об этом говорили и Бергсон (родство с его идеями особенно ощущал молодой Эйхенбаум), и С.А. Аскольдов, по словам которого «глубочайшим заблуждением» является мнение, «что революция в физике есть революция и в философии»[88].

Вслед за Якобсоном предельно резкие суждения о «незначимости» мировоззрения для поэтического творчества высказывал Шкловский в книге «О теории прозы» (1928): «Философское мировоззрение у писателя – это его рабочая гипотеза. Говоря точнее, бытием литературной формы определяется сознание писателя». И далее: «Мировоззрение поэта ... является материалом для построения стихов»[89]. О том, как низко ценился материал, по сравнению с приемами, речь уже шла. Релятивизм Шкловского переходил в литературно-идеологическое приспособленчество (хотя не исключено, что причиной мог быть элементарный страх) в 1930–1940-е годы: «Его мышление как бы распадалось на две несоединимые (у него) сферы – одну “формальную”, другую – нет»[90]. И эта раздвоенность, по словам А.П. Чудакова, стала привычкой. Компромиссы в целях самосохранения могли заходить достаточно далеко: в 1944 г. Шкловский отрекся от Зощенко, а в 1958-м присоединился к травле Пастернака.

Парадоксальностью была отмечена и общественная позиция лидеров формальной школы. С одной стороны, она проявлялась в безусловном приятии революции и большевистской политики. «Мы (ОПОЯЗ) не трусы... Мы любим ветер революции»[91], – декларировал Шкловский. После смерти В.И. Ленина имела место безмерная апология его языка. В специальном номере журнала «ЛЕФ» за 1924 г.

---

[87] *Якобсон Р.* Работы по поэтике. С. 415.

[88] *Аскольдов С.А.* Время и его преодоление // Мысль. 1922. № 3. С. 83.

[89] *Шкловский В.Б.* Андрей Белый // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 213, 234.

[90] *Чудаков А.* Виктор Шкловский; два первых десятилетия // Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992. С. 212.

[91] *Шкловский В.Б.* Я пишу о том, что бытие определяет сознание… // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 310.

читаем, что Ленин поднял на «новый этап» революционный стиль (Тынянов)[92], который примыкает к толстовскому (Шкловский)[93], а отношение вождя к слову отличает «редкая для политического деятеля осторожность и чуткость» (Эйхенбаум)[94]. В то же время формалисты ратовали за независимость искусства от идеологии и политики. В начале 1920-х годов Шкловский писал: «Искусство не там, где идеология, а там, где мастерство...»[95] И далее: «Какое мне дело до идеологии?»[96] По мысли Шкловского, любой человек как-то включен в сферу общественно-политической жизни, но художнику слова и тому, кто пишет о литературе, не стоит выражать собственное отношение к современности, ведь искусство автономно. Этому же времени принадлежит и другое высказывание, вызвавшее крайне негативные отклики и упрек в аполитичности позднее, в эпоху разгрома формализма: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города»[97].

Мироотношение лидеров формальной школы – это своеобразный сплав эстетизма («искусствоцентризма») с революционным радикализмом. Революционность мыслилась и переживалась Якобсоном, Шкловским, Эйхенбаумом не как прямая причастность политической борьбе, а как бескомпромиссное отвержение укорененных в стране литературно-художественных, общекультурных традиций. К примеру, Шкловский пишет о том, что «почтить память можно не только каждением “благовонной травы”, но веселым делом разрушения»[98]. Показательно также письмо Эйхенбаума 1921 г., адресованное Жирмунскому: «…ты не пережил никакого перелома... здесь-то мы с тобой и разошлись... И вот это-то твое сопротивление, это желание сохранить свое прошлое, свою самостоятельность пугает меня в тебе и вызывает иногда раздражение... пугает, что в тебе мало фанатизма»[99]. Приведем еще одно высказывание Эйхенбаума из статьи «Теория

---

[92] *Тынянов Ю.* Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 110.

[93] *Шкловский В.* Ленин, как деканонизатор // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 55.

[94] *Эйхенбаум Б.* Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ. 1924. № 1. С. 62.

[95] *Шкловский В.Б.* Письмо о России и в Россию // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). С. 150.

[96] *Шкловский В.Б.* Три года (из книги «Сентиментальное путешествие») // Там же. С. 180.

[97] *Шкловский В.Б.* «Улля, улля», марсиане!» // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 79. Заявленная позиция также разделялась группами «Серапионовы братья» и «Перевал».

[98] *Шкловский В.* «Евгений Онегин» (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. С. 220.

[99] Переписка Б.М. Эйхенбаума и В.М. Жирмунского / Публ. Н.А. Жирмунской и О.Б. Эйхенбаум // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 314.

“формального метода”» (1926): «История требовала от нас настоящего революционного пафоса – категорических тезисов, беспощадной иронии, дерзкого отказа от каких бы то ни было соглашательств» (заметим, что «соглашательство» – типичное выражение из речи Ленина, который называл соглашателями меньшевиков). И далее: «…пафос нашей историко-литературной работы должен был быть пафосом разрушения и отрицания, каким был и первоначальный пафос наших теоретических выступлений»[100].

Неотвратимо встает вопрос: во имя чего отвергалось все устойчивое, стабильное, традиционное? Отвечая на него, не обойтись без понятия *утопия*. Наряду с ницшеанством и марксизмом, космизмом и «новым религиозным сознанием» формализм – одно из звеньев русского утопизма начала XX в. Формалисты ставили перед собой масштабную задачу: на основе новой науки о литературе *преобразить* искусство и психологию восприятия людьми окружающего. Шкловский был убежден в том, что участвует в создании современной эпохи. Имели место групповое самовозвышение («…я не гений. Юрий тоже не гений… Если ты тоже не гений, то все благополучно… А гении мы сообща»[101]), а в конечном счете – разочарования и печали. Не только из-за гонений, но по причинам внутренним.

В конце 1920-х годов и позже Шкловский высказывал мучительное недовольство собой. Эйхенбауму писал о себе в третьем лице так: «…обострил себя и ококетил… В своем некультурном хозяйстве он не обрабатывал, а царапал землю. Пора осесть на пашню… Пора начать третью жизнь, жизнь немца…»[102] Вероятно, имелось в виду привычное представление о немецком педантизме, обстоятельности, а в данном контексте – высоком академизме.

Внешне более или менее благополучная жизнь Эйхенбаума (репрессиям он не подвергался, хотя после увольнения в 1949 г. из ЛГУ и ИРЛИ был готов к аресту) проходила в атмосфере душевной подавленности. В дневнике начала 1950-х встречается запись: «Иногда с трудом держу себя в руках; подите вы все к чертям – и оставьте меня в покое»[103]. Вот и другие слова того же времени: «Писать “терминами”

---

[100] *Эйхенбаум Б.М.* Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. С. 379, 403.

[101] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 189.

[102] Цит. по: *Хмельницкая Т.* Неопубликованная статья о В. Шкловском / Публ. А. Громова-Колли // Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 32.

[103] Цит. по: *Чудакова М.*, *Тоддес Е.* Наследие и путь Б. Эйхенбаума // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. С. 30.

(имеется в виду официозная лексика марксистского литературоведения. – *В.Х.*, *А.Х.*) не могу, а языка теперь нет»[104].

Тынянов все чаще жаловался на подавленное настроение. Так, в 1929 г. он признавался: «Боюсь думать о скуке, которая растет, подрастает и в будущем году уже будет совсем старая»[105]. В письме Эйхенбаума к Шкловскому встречаем сходную характеристику: «Юра замкнулся, окружен книгами, живет воображением, гордостью и иронией»[106]. По-видимому, Кюхельбекер и в особенности Грибоедов как герои тыняновских романов «Кюхля» (1925) и «Смерть Вазир-Мухтара» (1928) с присущим им настроением безысходности в какой-то мере автопсихологичны.

И, быть может, самое печальное – сетования на отсутствие последователей. Шкловский в 1957 г. писал: «Не увижу жатвы. Нет учеников»[107]. Эйхенбаум в дневнике (1952) замечал о молодых литературоведах: «Страшные расхождения поколений: совсем не понимаем друг друга»[108]. Тынянов о своих младших современниках высказывался в том же ключе: «Это поколение худосочное, мы оказались плохим питательным материалом, а они плохими едоками»[109]. Здесь уместно процитировать откровенную запись одной из его учениц, Л.Я. Гинзбург: «Тынянов явил собой удивительный образец какой-то мелкой гениальности. Его назовешь (слегка поперхнувшись) – гениальным ученым, но большим ученым его не назовешь никак»[110]. Встречаются высказывания и покруче, но приводить их не хочется.

Такова судьба лидеров русского формализма. «Мы… крепко спаяны историей…»[111] – писал Эйхенбаум Шкловскому. Но, несмотря на тесные связи внутри группировки, каждый из друзей осознавал свое трагическое одиночество. «Мир не переделан нами»[112] – вот слова Шкловского, весомые не как символ жизненного заблуждения и поражения формалистов, а как несовпадения грандиозности той задачи, которую они перед собой ставили, и того нового мира, в котором они стали жить. Это была *утопия преображения мира* на почве обогаще-

---

[104] Там же. С. 29.

[105] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 200.

[106] Там же. С. 201.

[107] Там же. С. 214.

[108] Цит. по: *Чудакова М.*, *Тоддес Е.* Наследие и путь Б. Эйхенбаума // Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. С. 30.

[109] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 199–200.

[110] *Гинзбург Л.Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 385.

[111] Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 188.

[112] Там же. С. 211.

ния человеческого восприятия с помощью нового искусства (прежде всего – словесного) и новой науки о нем.

Список литературы

Адамович Г.В. Литературные беседы: <В 2 кн.> Кн. 1. СПб., 1998.

Анкета к 100-летию со дня рождения Ю.Н. Тынянова // Тыняновский сборник: Седьмые Тыняновские чтения. Рига; М., 1995 – 1996.

Аскольдов С.А. Время и его преодоление // Мысль. 1922. № 3.

Аскольдов С. Форма и содержание в искусстве слова // Литературная мысль. Вып. 3. Л., 1925.

Белоус В.Г. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919 – 1924: В 2 кн. М., 2005.

Берг М. Гамбургский счет // Новое литературное обозрение. 1997. № 25.

Бергсон А. Восприятие изменчивости. СПб., 1913.

Бергсон А. Воспоминание настоящего. СПб., 1913.

Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007.

Булгаков С. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.

Бюлер К. Теория языка. М., 1993.

Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.

Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.

Гиндин С.И. Первый конфликт двух поколений основателей русского стиховедения // Новое литературное обозрение. 2007. № 86.

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.

Горнфельд А. Формалисты и их противники // Литературные записки. 1922. № 3.

Дмитриев А., *Левченко Я.* Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. 2001. № 50.

Дурылин С.Н. В своем углу. М., 2006.

Егоров Б.Ф. Воспоминания. СПб., 2004.

Егоров Б.Ф. Славянофильство, западничество и культурология // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 2000.

Затонский Д. Художественные ориентиры XX века. М., 1988.

Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Вступ. заметка, публ. и коммент. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12.

Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004.

Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. 1. М., 1920.

Левченко Я.С. Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012.

Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. М., 2003.

Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1996.

Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 3. М., 2004.

Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 7. М., 2005.
Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982.
Переписка Б.М. Эйхенбаума и В.М. Жирмунского / Публ. Н.А. Жирмунской и О.Б. Эйхенбаум // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988.
Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001.
Русская теория: 1920–1930-е годы. М., 2004.
Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
Сухих С.И. «Технологическая» поэтика формальной школы. Из лекций по истории русского литературоведения. Н. Новгород, 2001.
Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. 4-е изд. М., 1928.
Томашевский Б.В. Формальный метод // Современная литература: Сб. статей. Л., 1925.
Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1923.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965.
Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ. 1924. № 1.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
Хализев В.Е. Жанровые предпочтения формалистов и М.М. Бахтина // Филологические науки. 2006. № 2.
Хализев В.Е. О стратегиях анализа литературного произведения // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2007. Т. 66. № 6.
Хализев В.Е., *Холиков А.А.* Русское академическое литературоведение начала XX века и традиция Александра Веселовского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2013. № 5.
Ханзен-Леве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001.
Хмельницкая Т. Неопубликованная статья о В. Шкловском / Публ. А. Громова-Колли // Вопросы литературы. 2005. № 5.
Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996.
Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992.
Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. Т. 2. М., 2001.
Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М., 1990.
Шкловский В. «Евгений Онегин» (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923.
Шкловский В. Ленин, как деканонизатор // ЛЕФ. 1924. № 1.
Шкловский В. Литература и кинематограф. Берлин, 1923.
Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., <1928>.
Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983.
Шкловский В. Перечитывая свою старую книгу… // Вопросы литературы. 1983. № 11.
Шкловский В. Предпосылки футуризма // Голос жизни. 1915. № 18.
Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. М., 1990.
Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. М., 1964.

Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. М., 1987.
Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969.
Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ. 1924. № 1.
Эрлих В. Наследие ОПОЯЗа // Филологические науки. 1992. № 5–6.
Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. М., 1966.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011.

Сведения об авторах: *Хализев Валентин Евгеньевич*, докт. филол. наук, профессор кафедры теории литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: mkhalizeva@yandex.ru; *Холиков Алексей Александрович*, докт. филол. наук, старший преподаватель кафедры теории литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: alexey_kholikov@mail.ru

Д.П. Ивинский

КНИГИ ПРОРОКОВ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 1. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА: ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ[1]

В статье обсуждаются различные аспекты восприятия Дан. русскими литераторами XVIII–XIX вв., преимущественно в связи с исторической и мистической темами.

Ключевые слова: история литературы, Державин, Жуковский, Пушкин, Тютчев, романтизм.

The article discusses some aspects of the perception of Daniel by various XVIII–XIX century Russian writers, mainly in connection with historical and mystical themes.

Key words: history of literature, Derzhavin, Zhukovsky, Pushkin, Tyutchev, Romanticism.

Державин: Дан. и Откр.

Поэзия периода наполеоновских войн, пробуждавшая патриотизм и, вместе с тем, религиозное чувство, была центральным явлением русского предромантизма.

Особое место в ряду поэтов, ее создававших, принадлежит Державину с его «Гимном лиро-эпическим на прогнание французов из отечества»: именно это произведение, наряду с некоторыми другими державинскими текстами, оказало решающее влияние на формирование топики русской антинаполеоновской лирики.

Напомним тот фрагмент «Гимна», который прямо отсылает к Дан.: «Но ужас дух еще объял! // Царь Сирии, властитель мира, // Явя в себе торжеств кумира, // Безумным вдруг животным стал![2] // И на

[1] В данной работе мы ограничиваемся краткими замечаниями об отдельных текстах, связанных с тематикой Дан., не пытаясь рассматривать ее влияние на русскую литературу в полном объеме. Некоторые материалы, вошедшие в статью, комментировались мною в докладе «Из комментария к стихотворениям В.Г. Рубана: «Надписи к камню-Грому» и Дан. 5» (Четвертые Аверинцевские чтения, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014) и в курсе лекций «История русской литературы XVIII в.», читающегося на филологическом факультете Московского университета с 2007 г.

[2] У Пророка Даниила, гл.<ава> 4, ст.<их> 10 сказано о Навуходоносоре: *траву яко вол ядяше.* (Примечание Г.Р. Державина.)

стене пред всех очами // Писала длань[3] огня чертами, // Что скоро власть Царя пройдет, // Который правды не блюдет. // Всевышний управляет Царствы, // Дает[4] – отъемлет за коварствы. // Не видим ли и в наши дни // Мы сих чудес в Наполеоне? // На зыблемом восседши троне, // Не возлюбил он тишины; // Но злобу злобами умножа, // Спокойны Царствы востревожа, // Во храмы запустенье внес, // Святых не пощадил телес[5], // Пол нежный, посрамленный // Заставил втайне лить шок слезный // И Бог сорвал с него Свой лучь; // Тогда средь бурных, мрачных туч // Неистовой своей гордыни, // И домы благостыни // Смердя своими надписьми[6], // А Олтари коньми[7] // Он поругал. – Тут все в нем чувства закричали, // Огнями надписи вспылали, // Исслали храмы стон, – // И обезумел он. – Сим предузнав свое он горе, // Что Царство пройдет его вскоре; // Не мог уже в Москве своих снесть зол, // Решился убежать, – зажог, – ушол, – // Вторым став Навходоносором, // Кровавы угли вкруг бросая взором, // Лил пену с челюстей как вепрь, // И рынулся в мрак дебрь» [Державин, 1813: 9–10]. Разумеется, это весьма вольная обработка первоисточника: пишет «огня чертами» таинственная «длань», но пишет и тиран, «присваивая» матери «богоугодные заведения», и его «надписи» тоже оказываются огненными («вспылали»), причем именно этот огонь окончательно убеждает его в близости неизбежного крушения его «царства».

На этом Державин не остановился: мотивы Дан. он связал с отсылками к Откр.; так, цитатой из Откр. было уподобление Наполеона огромному зверю, выходящему из бездны, змею и дракону, на что указывает сам Державин [Державин, 1813: 1 вт. паг.]. Оно было замечено современниками, которые могли и не связывать Откр. с Дан., но могли и подразумевать эту связь, не эксплицируя ее; ср. напр., у П.И. Голенищева-Кутузова: «Я вижу страшного дракона, / Парящего в огнистой мгле; / На нем железная корона, / Смерть, ужас носит на челе» [Собрание, 1814: 1, 29]; ср. еще: «Услыша хитрый вождь несметных гальских сил, // Что ропот в воинстве насилием вселил, //

---

[3] У Даниила же гл.<ава> 5, ст.<их> 5 при пиршестве Валтасара: *В той час изыдоша персты руки человечи и писаху.* (Примечание Г.Р. Державина.)

[4] Там же гл.<ава> 4, ст.<их> 22: *Владеет Вышний царством человеческим, и ему же восхощет, даст е.* (Примечание Г.Р. Державина.)

[5] См. *Северной почты* № 94, статью из Москвы о неистовстве французов. (Примечание Г.Р. Державина.)

[6] Слух носился, что Наполеон в Москве своими надписями богоугодные заведения присвоил своей матери. (Примечание Г.Р. Державина.)

[7] Смотри *Северной почты* № 78, статью из Твери. (Примечание Г.Р. Державина.)

Встревожен, раздражен, в ланитах изменился, // Потом – как хитрый змий пред воинством извился // И жало испустил…» [Глебов, 1813: 6][8]. Державин возвращается к нему в оде к Александру I: «Ужасны силы Он истнил; // И пламям жрущего дракона // Низверг с похищенного трона, // Царей и Царствы свободил» [Державин, 1814: 3]. И здесь же вновь возникает тема «князя бездны» в связи с темой падения Вавилона, столь важной для ветхозаветных пророческих книг: «Париж! – сын истый Вавилона, // <…> // В котором Корс, пришлец надменной // Мечтав ось обращать вселенной, // Россию ни во что вменял: // Как ураган – вздымал волн холмы; // Как Люцифер – метал в твердь громы; // Но Александр предстал – он пал» [Державин, 1814: 6][9].

---

[8] Именно Откр., а не Дан. выходит на первый план в сознании литераторов эпохи, естественным образом ассоциировавших с апокалипсисом крушение собственного отечества, которого удалось избежать почти чудом; ср. еще (количество примеров легко можно было бы умножить): «Кутузов! – Галлов сокрушитель! // Се Царства русского спаситель! // А тот, как яростный дракон, // Его стрелами изъязвленный, // Его громами пораженный, // Кто мчится там? – Наполеон» [Лобанов, 1813: 9]. Ср. ту же тему в басенном жанре: «Змия коварная, презлая, //Пошла войной на целый свет; // Шипит, свивается, ползет, // И все, что встретит, уязвляя, // Кричит: “иль все ко мне, иль всех я истреблю! // Кто может противстать моей могущей силе?” // <…> // Услышав грозный глас, вселенна задрожала: // Иные прячутся от змеиного жала, // Иные в службу к ней решаются итти» [Койленский, 1813: 1]. Редкий вариант: Наполеон уподобляется не дракону или змею, а крокодилу, извергающему из пасти своей драконов, змей и прочих чудовищных тварей и стремящемуся поразить Льва (Александра), см.: «Всемирный бунт Льва пробудил. // Мир зыблется – валятся горы, // Сомкнуло солнце светлы взоры; – // На сушу выполз Крокодил. – // Ползет – и изрыгает зевом // Драконов, Гидр, Скорпий и Змей; // В изгибах, в челюсти, по чревом // Вмещает ад и тьмы смертей. – // Куда взор обратит, взгляд кинет, – // Мертвеет, вянет все и гибнет, – // Бежат все звери от него, – // На все яд разливает с жала, – // Земна громада задрожала; // Он в бедры Льва стремит его» [Синельников, 1813: 7]. Впрочем, этот Крокодил в схватке ведет себя как змей или даже превращается в него, свиваясь в клубок: «Но Крокодил в пылу сугубом, // Свился в кольцо – катится клубом, // Мнит сердца Львина досягнуть» [Синельников, 1813: 8]. Об образе Наполеона в русской поэзии 1812–1814 гг. см.: [Михайлова, 1999; Амбарцумов, 2008; Ивинский, 2012; Ивинский 2013].

[9] Тема змия / дракона, столь энергично заявленная Державиным в 1813 и 1814 гг., восходит к его же стихам 1807 г., оказавшимся пророческими, где рассказывается о спасении Андромеды: «На скачущи во круг седыя, шумны волны, // Змиями молнии летя из мрачных туч // Жгут воздух пламенем горюч, // И рдяным заревом понт черный обагряют; // За громом громы ударяют, // Отсвечивая в тьме бездонну ада дверь, // Из коей дивий вол, иль преисподней зверь // Стальночешуйчатый, крылатый, // Серпокогтистый, дву-рогатый, // С наполненным зубов, ножей разверзтым ртом // Стоящим на хребте щетинным тростником, // С горящими, как угль, кровавыми глазами» [Державин, 1807: 2]. Далее, повинуясь Зевесу, является Персей, начинается бой, зверь предчувствует гибель и прибегает к хитрости: «Уж чувствует дракон, что сил его превыше // Небесна воя мочь: // Он становится будто тише // И удаляется коварно прочь. // Но кольцами склубясь, вдруг с яростию злою // О бездны опершись изгибистым хвостом, // До звезд восстав, как дуб ветвистою

Два колосса: прекрасный и ужасный

Ориентированная на Дан. 2: 31–44 тема колосса, внушающего ужас и отвращение, в русской литературе XVIII – первой половины XIX вв. ассоциируется с врагами России, сокрушаемыми Богом, самодержцами, воинством. При этом постепенно формировалась своеобразная модель национальной истории, увиденной в ее кризисных эпизодах, и в рамках этой модели русский предромантизм и романтизм принципиально не отделяют себя от классицизма, который гибельному и разрушаемому колоссу, символизирующему различные антирусские силы, противопоставлял «северный колосс», сопоставимый с Родосским и превосходящий его[10], несокрушимый и прекрасный, утверждающий мир, благополучие, могущество и величие русского имперского проекта, имеющего всемирно-историческое значение, и Дан. таким образом включается в число значимых подтекстов русской имперской поэзии.

Смутное время: колосс близок к гибели, но одолевает врагов: «Чуть внятно, будто ветерком // Извет “Димитрий жив!” промчался; // Все ближе, все сильнее гром, // И вдруг удар, звеня, раздался – // И рухнул Годунова дом. // Колосс полночный зашатался, // Скатился с головы шелом // И с прахом в первый раз смешался. // Но долго ль, онемев, стоял, // И долго ль им враги играли, // Как челном своенравный вал, // Доспехи по частям срывали? // Очнувшись, грозно он вскричал – // Враги его затрепетали» [Бутырский, 1837: 20].

Взятие Казани войсками Иоанна IV: «Что была Россия до преславной победы над казанцами? Она была слаба, <…> устрашаема вероломством татар <…>. Что она после того, как Царь Иван Васильевич разрушил Казань, растоптал прелесть Магомета и светом Евангелия просветил Казанское царство? Несокрушимый, неприступный, величественный колосс, коего нозе железны, грудь адамантова, сердце злато, руце медяны, глава слоновой кости, венчанная приснозеленеющими лаврами и оливами – колосс, коего тяжестию подавляются все

главою, // Он сердце раздробить рогатым адским лбом // У Витязя мечтает, // Бросается, – и вспять от молний упадает // Священного меча, // Чуть движа по земле свой труп в крови влача» [Державин, 1807: 3]. Далее разъясняется смысл аллегории: Андромеда – Европа, Персей – русские войска, только что одержавшие победу при Прейсиш-Эйлау, Зевес – Александр, клубящийся крылатый зверь – Наполеон.

[10] Ср. пользовавшуюся широкой известностью в конце XVIII – первой половине XIX в. надпись В.Г. Рубана (1770): «Колосс Родосский, свой смири прегордый вид, // И, Нильских здания высоких пирамид, // Престаньте более считаться чудесами: // Вы смертных бренными соделаны руками. // Нерукотворная здесь росская гора, // Вняв гласу Божию из уст Екатерины, // Прешла во град Петров, чрез Невские пучины // И пала под стопы Великого Петра» [Рубан, 1770].

древние и новые враги его. *И возвесели Иакова в делех своих и даже до века память его во благословение*» [Слово, 1833: 18–19][11].

Деятельность Петра I как создателя новой России, напр.: «Колосс, внезапно возникший на Севере, обратил на себя все внимание европейской политики, после кончины Петра Великого, и все сильные государства старались привлечь Россию к своим видам и пользам. <…> Имя России произносимо было с уважением <…>. Желание Петра Великого исполнилось: Россия <…> была европейскою державою» [Булгарин, 1843: 8]; «возвратится <…> подобающая честь <..> нашей древней истории, коею пренебрегает легкомысленное и опрометчивое невежество, не видя ее близорукими своими глазами из за Петра Первого, полагая, <…> что первое государство мира, в пол-экватора и четверть меридиана, решающее судьбы Европы и всего мира, родилось в одночасье, что Петр Великий действовал случайно, что колосс может держаться на песке или воздухе, что сумма может быть без слагаемых» [Погодин, 1872: 195]; «*Поляки просмотрели*, как у них под боком, на востоке, явился колосс, созданный гением Петра, <…> что колосс этот вдвинулся в Европу и не нуждается ни в чем польском <…>» [Де-Пуле, 1871: 214]; ср. еще интерпретацию деяний Петра как сознательного самопожертвования: «Где ж нам почтить тебя достойней, муж великий, // Как не на месте том, где царство обновлял // <…> // Где все препятствия: мятеж, измену, клики // невежества – ты так бесстрашно попирал; // Где столько раз себя на жертву ты принес // За благо родины. божественный колосс» [Завалишин, 1866: 12].

Русско-турецкие войны времен Екатерины II: «О кровь Славян! – Сын предков славных! // Несокрушаемый колосс! // Кому в величестве нет равных, // Возросший на полсвете Росс! // <…> // Зрю вкруг тебя лавровый лес; // Кавказ и Тавр ты преклоняешь, // Вселенной на среду ступаешь // И досязаешь до небес» [Державин: 1, 354]; ср.: «Не только благо нашего отечества, но и благо целого мира утверждено победами Екатерины. Давно ли еще знамя лжепророка грозило стенам венским! Новый Магомет II мог быть новым истребителем государств европейских <…> Теперь варвары уже не опасны для Европы; теперь слабый Паша Виддина презирает могущество Порты!.... И сия безопасность есть дело Великой Екатерины, которая потрясла и отчасти разрушила сей колосс ужасный» [Карамзин: 8, 47–48]; о Екатерине

[11] Ср.: «Воинство, Петром учрежденное, а Екатериною правимое, прослыло непобедимым. Все страхи, которые бы могли смертнаго поколебать, суть для него только большое к мужеству поощрение. Каждое его движение делает новое торжество. Россиянин уже обык не оставлять своих следов, разве с славою; и путь, где проходит, замечает трофеями, ибо руки его яко железны, мышцы медяны, грудь адамантова, а душа геройская» [Платон: 2, 278].

и прославлении ее исторической миссии: «Я зрю Твой памятник в потомках, // Огромен, как другой колосс: // Пред ним благоговеет Росс, // Вселенна жертвы возжигает» [Колотов: 6, 303].

1812 год, когда Россия оказалась на грани исторического небытия: «“Колосс полночный пал!” весть скорбная летит; // Европа в ужасе дрожит // И стерту выю протягает; // “Погибло все!” гласит – // “Москва пылает”… // Спокойтесь, робкие! – еще Кутузов жив! // не верьте, слух тот лжив, // Что все пред галлом погибает, // И северный не пал колосс; // Он только уязвлен глубоко» [Иванов, 1824: 54]. Ср.: «О смертный вид! – Градов Царица // Пылает древняя столица! // Пылает Севера Колосс! // <…> // Рыдай, рыдай, унылый Росс!» [Лобанов, 1813: 6]. Но разрушается именно колосс Наполеона: «Стократно в битвах одоленный, // Иссохших лавров обнаженный, // Ознаменованный стыдом, // Тиран перун угасший мещет – // И се последний грянул гром, // И новый Вавилон трепещет; // Колосс-Наполеон падет // К ногам царей: свободен свет» [Карамзин, 1814: 214]; ср.: «Не от силы и страха оружия, но от силы добродетелей и кротости Александра пал и сокрушился колосс, слиянный из змей, отравивших сердца лютостию и преступлениями. Пал колосс во ад, душущий пламенем, обтекаемый рекою из слез раскаяния <…> Рай низшел в сердце Александра» [Страхов, 1814: 63]; «Кто низлагал царей и троны? // Кто словом царства создавал? // <…> // Кто мнил весь свет соединить? // И быть царем одной державы? // Но кто колосс сей разразил? // <…> // Тебе хвала, могучий Росс! // Хвала тебе, Благословенный! // Ты сокрушил земной колосс, Дотоль никем не сокрушенный» [Гордеев, 1840: 28]; ср. еще: «невидимая рука влекла уже Наполеона от ошибок к ошибкам. Еще год с небольшим, и падение колосса, потрясшего целую Европу, изумит вселенную» [Зотов, 1841: 2, 92][12]. Русскому императору рукоплещет вселенная и воздвигает ему новый колосс, желая его прославить: «Я слышу сей Европы глас: “На высоте бы гор Алпийских, // Превыше пирамид Мемфийских // Я Твой поставила колосс”» [Городчанинов, 1814]. Но и сам Александр I может отождествляться с Россией и именоваться колоссом: «Орел полнощный! возносися, // Ликуй, победоносный Росс! // Отцем твоим – Царем гордися // Светящий миру он колосс» [Капнист, 1814: 185]; ср.: «Сей колосс России, возникший единственно для благотворения, кротости и мира; сей колосс, коего величественную главу украшали мирт и лавры; колосс победоносный, подавивший пятою

[12] Здесь вновь уместно напомнить о Державине, т.к. именно он в уже цитировавшемся произведении 1807 г. решительно заявил тему торжества северного колосса, внушающего ужас «галлам» и иным народам «языкам»: «Знайте, языки, страшна колосса: // С нам Бог, с нами, – чтите все Росса!» [Державин, 1807: 4].

Своею для спасения людей *властолюбивую гидру*; колосс сей *пал* от рокового мановения всесокрушающего времени! *Он пал* – тлетворный хлад могилы Его угасил жар к благодеяниям рода человеческого: но род человеческий навсегда сохранит память Его благодеяний! *Он пал и мертв*, бренные останки Его мы лобызали с благоговением: но сладостные воспоминания незабвенных Его деяний навсегда пребудут бессмертными в сердцах истинных Россиян и многих других народов!» [Данилевский, 1829: 1, VII–VIII][13]. Колоссом оказывался и петербургский памятник Александру I: «Певец, опершись о гранит, // Смотрел я с чувством вдохновенья // На твой величественный вид // Колосс – вселенной удивленье» [Грен, 1836: 1].

1848 год, с такой определенностью напомнивший о могуществе европейской революции: «Не тревожься, великан! // Мирно стой, утес наш твердой, // Отшибая грудью гордой // Вкруг ревущий океан! // <…> // На тебя их буря злится; // На тебя их вой и рев; // Повалить тебя грозится // Обезумевший их гнев. // Но с главы твоей подзвездной // Твой *орел*, пространства князь, // Над бунтующей смеясь // У твоей подошвы бездной, // <…> // Наблюдает равнодушно, // Как раздор кипит в волнах. // Ты же, бездны господин, // Мощный первенец творенья, // Стой среди всевозмущенья // Недоступен, тих, один» [Жуковский: 235]. Ср. у Тютчева, который был единомышленником Жуковского в вопросе об отношении к революции, но вступил с ним в поэтическое соревнование: «И бунтует и клокочет, // Хлещет, свищет и ревет – // И до звезд допрянуть хочет, // До незыблемых высот... // <…> /// Волн неистовых прибоем // Беспрерывно вал морской // С ревом, свистом, визгом, воем // Бьет в утес береговой – // Но спокойный и надменный, // Дурью волн не обуян, // Неподвижный, неизменный, // Мирозданью современный, // Ты стоишь, наш великан! /// <…> // Стой же ты, утес могучий! // <…> Под гигантскою пятою // Вновь уляжется волна...» ([Тютчев: 1, 197–198]; параллелизм этих стихотворений неоднократно отмечался, см., напр.: [Тютчев, 1965: 1, 378–379], комментарий К.В. Пигарева; ср.: [Жуковский: 734–735], комментарий Ф.З. Кануновой). И Жуковский, и, тем более, Тютчев, придававший особое значение Дан., воспринимавшейся им в историософском контексте, сознательно ориентировались на Дан., 2, 34–44 ассоциируя Россию с последним царством, возникшем из

[13] Так подводились итоги царствования Александра; в начале его прозвучало напутствие Карамзина, в оде «На торжественное коронование Его Императорского Величества Александра I, самодержца Всероссийского» (1801): «Россия, Царств земных венец, // (Колосс почтенный, величавый) // Да будет под Твоим жезлом // Добра и счастия венцом» [Карамзин: 1, 272].

камня, наполнившего все землю (Дан.: 2, 35), которое будет стоять вечно (Дан.: 2, 44); ср. в оде «Русская география»: «От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, // От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... // Вот царство Русское... и не прейдет вовек, // Как то провидел Дух, и Даниил предрек…» [Тютчев: 1, 200]; ср. еще: [Тютчев: 3, 195, 452–455] (комментарий Б.Н. Тарасова). При этом Тютчев считал, что это вечное царство должно быть православным; об этом, в частности, свидетельствует стихотворение «Над русской Вильной стародавной…», в котором тема спасительного возрождения православных виленских храмов осмысляется с помощью цитаты из Дан., 9, 27: «Минули веки искушенья, // Забыты страшные дела – // И даже мерзость запустенья // Здесь райским крином расцвела» [Тютчев: 2, 218]; о смысле стихотворения, его пушкинском подтексте и о его связи с пушкинской историософией см. [Ивинский, 1997].

Вся история России[14] – борьба за жизнь и величие, обретение несокрушимого могущества: «Были страшные годины для этого древа, когда <…> налетел на него ураган татарских набегов… Казалось, он смял его, вырвал с корнем, уничтожил – и что же? <…> древо укрепилось, расцвело и принесло плоды, дало: Москву, Дмитрия Донского <…>. казалось, смяла его буря Литвы и Польши, а оно расцвело, принесло плод и дало: Гермогена, Минина, Скопина-Шуйского, и показало силу души русского народа. Что сломит его, когда все усилий половины Европы, все искусство великого гения <Наполеона> сломить этот колосс остались ничтожными и вызвали новые силы и средства жизни» [Пассек: 2, 162][15].

Тем большее значение приобретали попытки отождествить Россию с ужасным колоссом «на глиняных ногах» («un *colosse aux pieds* d'argile»), сокрушаемом в Дан. Первый опыт такого рода, как считается, был предпринят Дидро (см. об этом, напр.: [Ашукин, 1955: 272]),

[14] В более общей историософской перспективе осмыслялась история Европы, в которой решающее значение придавалось борьбе христианства с «колоссом» язычества; так, например, именно в этой смысловой перспективе И.И. Козлов в стихотворении «Разорение Рима и распространение христианства» осмысляет падение Рима: «Дошли; рассыпались удары, // Клубится дым, горят пожары, // Стон тяжкий битвы заглушал, // И Рим, колосс державный пал; // Порочный пал он <…>» [Козлов, 1828: 9].

[15] Отдельного рассмотрения требуют бытовые контексты мотива «колосса», не всегда вполне тривиальные и иногда непосредственно связанные с культурой острословия, ср., напр.: «Получено известие о падении при дворе одного министра. "Я этого ждал," сказал князь Александр Васильевич, и, взяв перо, написал следующее: "Фортуна воздвигает колосс, подножие которого из глины. Она отвела ему у себя уголок только для постоя, а не в вечное потомственное владение. Я знал, что своенравная сия хозяйка сперва его приголубит, а после прогонит. Беда без Фортуны, но горе без таланта!"» [Анекдоты князя Италийского, 1827: 70] и мн. др.

самая известная полемика с ними принадлежит Пушкину, который в 1831 г. в оде «Бородинская годовщина» так обращался к депутатам французского парламента, требовавшим от своего правительства вмешаться в русско-польскую войну: «Но вы, мутители палат, // Легкоязычные витии, // Вы, черни бедственный набат, // Клеветники, враги России! // Что взяли вы?.. Еще ли Росс // *Больной*, *измученный колосс*? // Еще ли Северная Слава // Пустая притча, лживый сон?» [Пушкин, 1831: 11]. Как известно, в том же издании была напечатана другая ода, «Клеветникам России», в которой Пушкин напоминал о давней ненависти Запада к России и о ее причинах, среди которых главной оказывалась победа над Наполеоном: «И ненавидите вы нас… // За что ж? ответствуйте: за то ли, // Что на развалинах пылающей Москвы, // Мы не признали наглой воли // Того, пред кем дрожали вы? // За то ль, что в бездну повалили // Мы тяготеющий над Царствами кумир, // И нашей кровью искупили // Европы вольность, честь и Мир?» [Пушкин, 1831: 6]. Так Пушкин как бы переадресовывал обвинение, противопоставляя европейскому уподоблению России колоссу, обреченному на гибель и уже разрушающемуся, традиционное для русской поэзии отождествление Наполеона с чудовищным идолом, восторжествовавшим над Европой.

Из позднейших полемик выделяется образ колосса, как бы шагающего по Европе: «Французы, <…> думая, что русский колосс ничем так не занят, как мыслью поставить одну свою пяту в сердце западной Европы, – раздавив мимоходом Польшу, а другую на Босфор, толковали долго о необходимости спасти свободу в Европе от гнета этого колосса <…>. Потерпев поражение от немцев, <…> французы <…> заговаривают о необходимости войти в союз с “русскими видами”: “что ж делать, – говорят они, – скрепя сердце, надо пожертвовать не только Турцию, но и Польшу”», ведь «русскому колоссу в самом деле нечего делать, кроме как давить поляков и забирать Босфор» [Драгоманов, 1873: 263]. Иначе расставлял акценты М.Н. Катков, связывавший страх Европы перед Россией с равнодушием к ней: «Еще недавно Европа с недоверием и страхом оглядывалась на северный колосс; еще недавно опасалась она его военного деспотизма. Теперь эти опасения приутихли, Россия перестала быть пугалом; но <…> никто <…> особенно не стал бы скорбеть от невзгод, которые приключились бы ей <…>. Никто со стороны не задает себе серьезного вопроса: эта сила, так тяжко и так медленно слагавшаяся в северо-восточных пустынях Европы, – истинная ли это сила, или метеор, возникший случайно, призрак, который должен исчезнуть?» [Катков, 1863: 476].

Пир Валтасара и русский романтизм: аспекты интерпретации[16]

Самый простой способ уяснить значение любой культурной и / или религиозной темы – соотнести ее с опытом собственной жизни. Ограничимся одним примером. Стихотворение А.И. Полежаева «Валтасар: Подражание V главе Пророка Даниила» (1828), в значительной мере ориентированное на «Видение Валтасара» Байрона (= «Vision of Belshazzar», 1815) и не без оснований считающееся иногда вольным переводом стихотворения английского поэта (показательно, что при первом издании заглавие пьесы было несколько иным: «Видение Валтасара: Подражание Байрону» [Полежаев, 1829: 175]), обычно воспринимается как памятник русской тираноборческой поэзии, в котором скрытая антинаполеоновская тема, отсутствующая у Байрона, сочетается с не слишком внятными непосвященным, но более актуальными для автора автобиографическими контекстами, побуждавшими поэта мечтать о скорейшем прекращении царствования Николая I. Основная идея стихотворения – неотвратимость боже-

---

[16] В эпоху романтизма пророческие книги приобрели особое значение в литературной культуре: они вошли в нее как значимый подтекст, поддерживающий профетическую тему и, одновременно, создающий основу для темы становления личности в сложно организованном пространстве мистических интуиций и прозрений. При этом явственно обозначились две разнонаправленные тенденции, тесно связанные друг с другом, а вместе с тем и противоречащие и даже враждебные друг другу. Первая: содержание пророческих книг напоминало о религиозных константах европейской культуры, сохраняло их как источник поэтического вдохновения, в ряде случаев открыто усиливало их звучание и, тем самым обеспечивало смысловое взаимодействие литературы и религии. Вторая: оно растворялось в *иных* литературных ситуациях и сюжетах, не имевших прямого отношения к смыслам священных книг, но *игравших* с ними, и эта игра могла быть как совершенно сознательной, так и неосознанной.

Дан. в культурном сознании эпохи романтизма, вообще говоря, разделила участь других пророческих книг, она не отделялась от них, тем более не противопоставлялась им как имеющая особое значение в том или ином литературном или религиозном, отношении. Как и все прочие пророческие книги, она воспринималась как непосредственно, так и через посредство более или менее специфических текстов, которые, видимо, целесообразно разделить на две группы. Первая – это литературные тексты, в которых отразились различные мотивы Дан., например, стихотворения Байрона или Гейне. Вторая – памятники позднегностической традиции в ее тамплиерской, розенкрейцерской, мартинистской интерпретациях, сходных в базовых принципах построения картины мира, но различающихся в деталях, иногда существенных, понятных, частично уловимых, или непостигаемых и незамечаемых непосвященными. Беме, Сведенборг, Неизвестный Философ, Фенелон, Эккартсгаузен или Юнг-Штиллинг, как известно, уделявший особое внимание именно Дан., при этом оказывались своего рода предшественниками и прообразами романтических поэтов, апеллировавших к ним прямо или косвенно – или же ограничивавшихся прямым цитированием пророческих книг или их ортодоксальных толкований. Ниже речь идет об отдельных текстах первой группы, связанных с тематикой Дан.; ее влияние на литературу русского романтизма в полном объеме мы здесь не рассматриваем.

ственного приговора и его мгновенное исполнение: «*Мани*, *Факел*, *Фарес*. // Вот слова на стене: // Волю Бога небес // Возвещают оне. // *Мани*, значит: Монарх, // Кончил царствовать ты! // Град у Персов в руках – // Смысл середней черты; // *Фарес*, – третье – гласит: // Ныне будешь убит! // Рек – исчез….. Изумлен, // Царь не верит мечте; // Но чертог окружен // И… он мертв на щите» [Полежаев, 1832: 42].

Но опыт жизни поэта может быть связан не только / не столько с внешним, но и с внутренним, духовным, мистическим опытом, и этому опыту может приписываться, хотя бы условно, в пределе его осмысления, определенное социальное значение, ср., напр. советы Н.В. Гоголя Н.М. Языкову: «Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, увидишь яснее дня, в чем оно преступило перед Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд Божий, что встрепенется настоящее. <…> Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанныя на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас, еще прежде, нежели могло проникнуть самый их смысл» [Гоголь, 1847: 116].

Третий аспект темы связан с индивидуальным переживанием движения времени, в котором бесследно растворяются люди, времена, нравы, сами воспоминания о них становятся неразличимы, напр.: «Какая надпись с именами / Здесь на березе расплылась / И непонятными строками / Хранится временем для нас? / Какой неведомой рукою / Была насечена она? / И не укор ли, что корою / Она досель сохранена? <…> /// И кто избрал древа в скрижали, // Чтоб тайны им свои вверять: – // Слова ль отрады, иль печали, – // Теперь нельзя уж различать! // И вижу я в чертах заветных // Одне бессвязыя черты: /// Не так ли и в словах приветных // И жизни нет без теплоты? // Иль, может быть, сильней удара // Их тайный смысл кого сразил: // И как средь пира Валтасара – // *Мани*, *фекел*, *фарес* – гласил?» [Благово, 1858: 90].

Четвертый уровень осмысления Дан., 5 не политико-автобиографический, не мистический и не сентиментальный, а национально-исторический. Когда К.С. Аксаков, один из главных идеологов славянофильства, распространил свое стихотворение «Петру» (1845, впервые: [Хомяков, 1861], под заглавием «Петр Великий»), в котором первому русскому императору ставилось в вину жестокость и презрение национальной традиции и утверждалась надежда на неминуемую гибель Петербурга[17], ему отвечал М.А. Дмитриев, отнюдь не склон-

[17] «Великий гений! муж кровавый! // Вдали, на рубеже родном, // Стоишь ты в блеске страшной славы // С окровавленным топором. // С великой мыслью просвещения // В своей отчизне ты возник, // И страшные подъял мученья, // И казни

ный к чрезмерному упрощению петровской темы русской истории, но вполне сходившийся с Хомяковым в оценках возможностей созданной Петром системы государственного управления. В стихотворении «Ответ Аксакову на стихотворение “Петр Великий”» (1845) Дмитриев спорит с резкими оценками, данными Хомяковым Петру, обходит стороной поставленный Хомяковым вопрос о судьбе Петербурга[18] и соглашается с Хомяковым во всем том, что касается петербургской послепетровской государственности, противопоставляя основателя империи его преемникам: «Священной памяти Владыки // Да не касается укор! // С своей отчизны снял Великий // Застоя вечного позор. // <…> // Ее он жизни не давил: // <…> // Пусть, ненавидя зло былое, // Себе избрал он путь иной, // Но, отвергая отжилое, // Стране своей он был родной. // Но в разрушеньи созидая, // Он вел нас к благу одному. // <…>И завещал он, умирая, // Свой подвиг дому своему. // Его ль вина, что завещанье // Не в силу мудрого сынам //

страшные воздвиг. // <…> // Но, в час невзгоды удаляся,// Скрыв право вечное свое, // Народа дух живет, таяся, // Храня родное бытие. // И ждет он рокового часа; // И вожделенный час придет, // И снова звук родного гласа // Народа волны соберет; // <…> /// Могучий муж! Желал ты блага, // Ты мысль великую питал, // В тебе и сила, и отвага, // И дух высокий обитал; // Но, истребляя зло в отчизне, // Ты всю отчизну оскорбил; // Гоня пороки русской жизни, // Ты жизнь безжалостно давил. // <…> // Вся Русь, вся жизнь се доселе // Тобою презрена была, // И на твоем великом деле // Печать проклятия легла. // Откинул ты Москву жестоко // И, от народа ты вдали, // Построил город одинокой – // Вы вместе жить уж не могли! // Ты граду дал свое названье, // Лишь о тебе гласит оно, // И – добровольное сознанье – // На чуждом языке дано. // Настало время зла и горя, // <…> // Твой град, пирующий у моря, // Стал Руси тяжкою бедой. // Он соки жизни истощает; // <…> // И духом движется чужим. // Грех Руси дал тебе победу, // И Русь ты смял. Но не всегда // По твоему ей влечься следу, // Путем блестящего стыда. // Так, будет время! – Русь воспрянет, // Рассеет долголетний сон // <…> // Гнездо и памятник насилья – // Твой град рассыплется во прах! // Восстанет снова после боя // Опять оправданный народ // С освобожденною Москвою – // И жизнь свободный примет ход: // Всё отпадет, что было лживо, // Любовь все узы сокрушит, // Отчизна зацветет счастливо – // И твой народ тебя простит» [Хомяков, 1881].

[18] Отметим здесь, что не только Хомяков и славянофилы желали разрушения Петербурга; так, например, в этом с ним сходился Тютчев: «Дни настают борьбы и торжества, // Достигнет Русь завещанных границ, // И будет старая Москва // *Новейшею* из трех ее столиц» [Тютчев: 2, 63]. Как видим, в царстве, столицами которого должны стать Константинополь, Киев и *новейшая* Москва, Петербургу места нет. Напомним в этой связи и о вполне симптоматическом (хотя и не вполне надежном) свидетельстве об одной из первоначальных редакций кульминационного эпизода «Медного Всадника»: «Из сочинений Пушкина <..> неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим “Капитанская дочка” и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед Медным Всадником. Монолог этот, содержащий около тридцати стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма может быть потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации» [Вяземский, 1880: 71–72].

<…> // Что, своротя с дороги правой // И отрекаясь от добра, // Они прикрылися лукаво // Великим именем Петра. // И стал им чужд народ им данный, // Они ему закрыли слух, // Ни русский в них, ни чужестранный, // Ни новый, ни старинный дух. // О нет! упадшая глубоко, // Родная наша сторона // Дух раболепного Востока // Безмолвно зреть осуждена. // Но пусть дней наших Валтасары // Кончают грешный пир, пока // Слова, исполненные кары, // Напишет грозная рука» [Аксаков, 1861].

Пятый уровень – цивилизационный. А.Н. Майков, поэт, теснейшим образом связанный с русским и европейским романтизмом, обращается к Дан., 5, вступая в соревнование с предшественниками, но при этом сочетает вполне добросовестное подражание ветхозаветному источнику с его отчетливой актуализацией в смысловом пространстве вопроса о будущем России и всей современной цивилизации. Сначала сюжет развивается в совершенно предсказуемом ключе: «Поборов оцепененье, // Вопрошает царь волхвов, // Но волхвов бессильно рвенье, // Не дается им значенье // На стене горящих слов. /// Вопрошает Даниила,— // И вещает Даниил: // «В боге – крепость царств и сила; // Длань его тебе вручила // Власть, и им ты силен был; // Над царями воцарился, // Страх и трепет был земли,— // Но собою ты надмился, // Сам себе ты поклонился, // И твой час пришел. Внемли: // Эти вещие три слова...». В этот момент происходит резкий смысловой сдвиг, и переложение приобретает вид нового пророческого текста, опирающего на старый, но отражающего актуальные историософские переживания: «Нет, о Муза, нет! постой! // Что ты снова их и снова // Так жестоко, так сурово // Выдвигаешь предо мной! /// Что твердишь: «О горе! горе! // В суете погрязший век! // Без руля, на бурном море, // Сам с собою в вечном споре, // Чем гордишься, человек? // В буйстве мнящий быти богом, // Сам же сын его чудес – // Иль не зришь, в киченьи многом, // Над своим уж ты порогом // Слов: мани – факел – фарес!..» [Майков, 1913: 1, 552–553]. Майков понимает обреченность этой *своей* цивилизации, так явно изменившей своему предназначению, но примириться с этим пониманием ему невероятно трудно, и, он вновь, может быть, с тайной надеждой напоминает о пророчестве Даниила.

Список литературы

Амбарцумов И.В. Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публицистике и общественном сознании первой трети XIX века: Магистерская диссертация. СПб., 2008. URL: http://www.museum.ru/1812/library/ Ambartsumov/index.html.

Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты: Образные выражения. М., 1955.
<Благово Д.Д.> Сельский сад: Воспоминание отживших сел // Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина: Издание петербургских книгопродавцев на пользу семейства А.Ф. Смирдина и на сооружение ему памятника. Т. 1. СПб., 1858. С. 84–90.
Булгарин Ф.В. Суворов. Ч. 1. СПб., 1843.
Бутырский Н.И. И моя доля: В сонетах: В двух частях. СПб., 1837.
Вяземский П.П. Александр Сергеевич Пушкин: 1826–1837: По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. СПб., 1880.
Глебов Д.П. Сражение при Бородине: Эпическая песнь. М., 1813.
Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1847.
Гордеев Н.Н. Гробница Наполеона // Маяк. 1840. Ч. 4. С. 27–28.
Городчанинов Г.Н. Ода на всерадостнейший день рождения Его Императорского Величества Александра Первого // Труды казанского общества любителей российской словесности. 1815 <эта дата указана на титульном листе издания; в действительности: 1817>. Кн. 1. С. 104–107.
Грен А.Е. Чувства юноши при виде памятника Императору Александру Благословенному // Мое новоселье: Альманах на 1836 год, изданный В. Крыловским. СПб., 1836. С. 1–2
Данилевский Н.В. Дух Венценосных Супругов, в Бозе Почивающих: Императора Александра I и Императрицы Елисаветы. Ч. 1–2. М., 1829.
Де-Пуле М.Ф. Станислав-Август Понятовский в Гродне и Литва в 1794–1797 годах. 2-е изд. СПб., 1871.
Державин Г.Р. Соч.: В 9 т. СПб., 1864–1883.
Державин Г.Р. Персей и Андромеда: Кантата: На победу французов Русскими. СПб., 1807.
Державин Г.Р. Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества 1812 года: Во славу всемогущего Бога, Великого Государя, верного народа, мудрого вождя и храброго воинства российского. СПб., 1813.
Державин Г.Р. Ода на сретение Победителя, Свободителя и Примиритнля Европы, Великого и Свыше Благословенного Императора Отца отечества Александра I. СПб., 1814.
Дмитриев М.А. Ответ Аксакову на стихотворение «Петр Великий» // Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861. С. 239–239.
Драгоманов М.П. Литературное движение в Галиции // Вестник Европы. 1873. Кн. 9. С. 240-268.
Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. М., 1999.
Завалишин И.И. Эпопея тысячелетия: Паломничество: 862–1862. М., 1866.
Зотов Р.М. Двадцатипятилетие Европы в царствование Александра I. 2-е изд., испр. Ч. 1–2. СПб., 1841.
Иванов Ф.Ф. Соч. и переводы. Ч. 1. М., 1824.
Ивинский Д.П. Об одной скрытой цитате у Тютчева (Из комментария к стихотворению «Над русской Вильной стародавной») // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 267–270.

Ивинский Д.П. Пушкин и 1812 год: лицейские стихотворения // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2012. Т. 71. № 6. С. 26–41.
Ивинский Д.П. Дракон иль демон змеевидный. К наполеоновской теме в русской литературе 1812–1814 гг. // Бестиарий и стихии. М., 2013. С. 20–26.
Капнист В.В. Ода на всерадостное известие о покорении Парижа // Вестник Европы. 1814. Ч. 13. № 16. С. 183–185.
Карамзин Н.М. Соч.: В 8 т. Т. 1–8. М., 1803–1804.
Карамзин Н.М. Освобождение Европы и слава Александра I // Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Ч. 2. М., 1814. С. 206–220.
Катков М.Н. Польский вопрос // Русский вестник. 1863. № 1. С. 471–488.
Козлов И.И. Стихотворения. СПб., 1828.
Койленский И.С. Притча: Змия и Муравьи. СПб., 1813.
Колотов П.С. Деяния Екатерины II, Императрицы и Самодержицы Всероссийския. Ч. 1–6. СПб., 1811.
Лобанов М.Е. Ода российскому воинству 1813 года января 1 дня. СПб., 1813.
Майков А.Н. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 1–4. СПб., 1913.
Михайлова Н.И. «Витийства грозный дар…»: А.С. Пушкин и русская ораторская культура его времени. М., 1999.
Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком. Кн. 1–5. М., 1838–1842.
Поучительные слова, <…> Высокопреосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Коломенским <…> проповеданные. Т. 1–20. М., 1779–1807.
Погодин М.П. Петр Великий // В память Пета Великого: 1672–1872: Сборник литературных произведений, относящихся к Петру Первому, изданный по поводу двухсотлетнего юбилея рождения царя – преобразователя / Сост. Н. Тихомиров. СПб., 1872. С. 186–196.
Полежаев А.И. Видение Валтазара: (Подражание Байрону) // Московский Телеграф. 1829. № 2. С. 175–176.
Полежаев А.И. Стихотворения. М., 1832.
Рубан В.Г. Надписи к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра Великого. СПб., 1770.
Синельников Ф.М. Раздраженный Лев или всепревозмогающая Россия. СПб., 1813.
Страхов Н.И. Александр I: Спаситель Отечества и Европы // Вестник Европы. 1814. Ч. 14. № 20. С. 60–64.
На взятие Варшавы: Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. СПб., 1831.
Слово на день взятия Казани Царем Иоанном Васильевичем Грозным и на освящение храма, сооруженного в Памятнике над могилою православных воинов, за веру и отечество при взятии Казани живот свой положивших, говоренное Казанского Успенского Зилантова монастыря настоятелем архиепископом Гавриилом 1832 года октября 2 дня. Казань, 1833.
Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Ч. 1–2. М., 1814.
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1–6. М., 2002–2004.

Тютчев Ф.И. Лирика: [Т.] 1–2. М., 1965. («Литературные памятники».)
Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827.
Хомяков А.С. Петр Великий // Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861. С. 234–237.
Хомяков А.С. Петру // Русь. 1881. 3 янв. С. 19.

Сведения об авторе: *Ивинский Дмитрий Павлович*, докт. филол. наук, профессор кафедры истории русской литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: dmitrij_ivinskij@mail.ru

М.Л. Ремнёва, Н.В. Николенкова

ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ ПЕРЕХОДНОГО ЖАНРОВОГО ХАРАКТЕРА (конец XVI – XVII век)

В статье рассмотрена одна из морфологических черт позднего церковнославянского языка, а именно изменение в употреблении в текстах форм двойственного числа разных частей речи. Анализируя характер употребления указанных форм в реальных текстах, авторы дают ответ на вопрос, в какой степени книжники следовали нормам церковнославянского языка, в том числе кодифицированным первыми грамматическими сочинениями.

Ключевые слова: агиографические тексты, норма, двойственное число, поздний церковнославянский язык.

The paper treats one of the morphological characteristics of late Church Slavonic, namely the change in the use of dual number forms of different parts of speech in the texts. Analyzing the ways the forms under consideration are used in real texts the authors answer the following question: to what extent did the book-compilers obey the norms of the Church Slavonic language including those which had been codified in the first grammatical writings.

Key words: agiographic texts, norm, dual number, late Church Slavonic.

Конец XVI – XVII в. – это время, когда происходят изменения в функционировании церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке (например, юридическая литература) [Виноградов, 1978: 110–115]. Церковнославянский язык кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности, о сознании необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева, 2000].

Тот же период в истории книжности – это время трансформации канонических жанров, например агиографического: возникают повести-биографии, тяготеющие композиционно и стилистически к традиционному житийному жанру, грамматическая норма которого

носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории книжно-литературной письменности, однако приобретающих в связи с определенной модификацией жанра новые характеристики. В научной литературе они определяются, скорее, как *повести*, так как их содержание не в полной мере соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи.

Именно так определяется обычно Житие Петра и Февронии Муромских [Дмитриева, 1979; Творогов, 2005: 44]. Три редакции этой Повести неодинаковы по своему характеру. Первая (далее – ПИФ$_1$), приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в Успенский список Четьих Миней [Дмитриева, 1979: 117–118; 1988: 221]. Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ$_2$ читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. Муромская редакция (ПИФ$_м$) является практически заново написанным произведением.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской (Ульянии Осорьиной) – повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании Лазаревской – ЖИЛ [Творогов, 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова, 1993: 432].

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне Морозовой (далее как о житии боярыни Морозовой – ЖБМ) не столько агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин, 1998: 83].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина» (далее – ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига, 1928; Енин, 1998].

Можно говорить о трансформации стандартного церковнославянского жанра в новых условиях – необходимости сочетать тради-

ционные жанровые элементы и новую форму рассказа, связанного с реальными актуальными событиями.

Принципиально новым явлением для письменности конца XVI–XVII в. стало появление переводов научных сочинений. Значительную их часть составляют переводы космографий, которые вначале переводятся на русский язык, в них встречаются полонизмы и южнорусизмы [Соболевский, 1903: 52–78]. Космографии не встраиваются в систему жанров церковнославянской письменности, остаются до середины XVII в. на периферии системы. Однако с 50-х годов XVII в. ситуация начинает меняться. Если в 1637 г. Атлас Меркатора переводили в Посольском приказе Иван Дорн и Богдан Лыков [Глускина, 1954], то в конце 50-х годов латинский текст Атласа Блау отдан для перевода в круг книжников Епифания Славинецкого [Николенкова, 2013]. Результатом изменения круга переводчиков становится изменение языка: перевод Атласа Блау выполняется на «ученый», по словам А.И. Соболевского, церковнославянский язык. Однако первые исследователи Атласа не смогли охарактеризовать принадлежность языка перевода к определенному типу нормы – строгому или сниженному.

Таким образом, наш материал представляет собой две противоположные тенденции в книжно-письменном языке XVII в.: один жанр отражает стремление к разрыву с церковнославянской стихией, постепенно отказывается от маркированных элементов строгой нормы (так из ряда перечисленных выше житий-повестей постепенно исчезает оборот дательный самостоятельный [Ремнева, 2003: 222–225]) и становится в ряд текстов сниженной церковнославянской нормы; другой жанр, напротив, обнаруживает тенденцию к стремительному вхождению в систему церковнославянских текстов, принимая в себя ряд маркированных книжных черт (к примеру, независимо от оригинального текста используется сложная система претеритов [Николенкова, 2013]).

Выбор церковнославянских морфологических средств в середине XVII в. может быть обусловлен или традицией предшествующего этапа развития письменности, или кодифицированными в изданных грамматиках церковнославянского языка (Л. Зизания и М. Смотрицкого в изданиях 1619 и 1648 гг.) парадигмами. Одним из маркированных признаков ориентации на книжную норму в области морфологии будет отношение к употреблению форм двойственного числа [Ремнева, 2003].

Необходимость употребления форм двойственного числа зафиксирована в грамматических описаниях. Во-первых, в парадигмах имен и глаголов обязательной частью являются формы двойственного

числа. Во-вторых, указывается необходимость следить за согласованием имен и глаголов: **Имена двойственного числа гл҃ѡмъ в родѣ имъ и лици согласнѡ сочинѧютсѧ, ꙗко, чл҃ка два внидоста во ст҃илище помолитисѧ; роуцѣ твоѣ сотвористѣ мѧ и создастѣ мѧ; Два имена соузомъ сопрѧженнаѧ, двойственнагѡ числа глаголѡмъ в родѣ и лици согласоующа имъ сочинѧютсѧ, ꙗкѡ Лука и Клеопа бесѣдоваста к себѣ; Марѳа и Марїѧ сестрѣ бысть Лазарю** [Кузьминова 2007: 339–340]. Если имена существительные в двойственном числе сочетаются с существительными во множественном числе или/и в единственном числе, то глагол ставится в форме множественного числа: **Оуже ми гортань, роуцѣ, нозѣ, ѧзыкъ оувѧнꙋша** [там же]. Если в сочетании двух существительных, соединенных союзом «и», одно мужского (среднего) рода, а другое женского, то глагол ставится в форме мужского (среднего) рода: **Отець мои и мати моѧ ѡстависта мѧ; ср҇це моє и плоть моѧ во҇радовастасѧ** [там же: 341]. Можно сказать, что в грамматике Смотрицкого хотя и нарушена старая парадигма двойственного числа, известная нам по памятникам старославянского и церковнославянского языков, однако вместо старой парадигмы создана новая, которая последовательно реализуется в пространстве грамматики.

Формы двойственного числа в исследуемых памятниках интересуют нас в качестве признака книжной нормы, в которой авторы видят средство «перевода» текста в высокий стиль. Анализируя памятники конца XVI–XVII вв., мы оказываемся перед необходимостью ответить на ряд вопросов: подчинялось ли использование форм двойственного числа в этот период правилам, действовавшим в XI–XV вв., или оказались сформированными новые правила; насколько способ использования форм двойственного числа современниками М. Смотрицкого соответствовал правилам его грамматики; какими были правила использования форм двойственного числа в памятниках, написанных в соответствии с строгой книжно-славянской нормой и в соответствии с нормой сниженной.

Агиографические тексты – повести конца XVI–XVII в. – по характеру употребления форм двойственного числа можно разделить на две группы. В первой окажутся ПИФ$_1$ и ПИФ$_2$, которые считаются наиболее соответствующими канонам агиографического жанра, формы двойственного числа *употребляются.* В форме двойственного числа в соответствии с нормой в этих редакциях Повести о Петре и Февронии используются существительные, чья семантика представляет совокупность двух лиц, например: **но молим вы, пре-**

облаженная супруга, да помолитася о насъ, творящихъ вѣрою память вашу (2, 263). В ПИФ постоянно говорится о двух лицах, поэтому, когда рассказывается о святых, ясно, что речь идет о двух святых, о двух телах, однако в тексте (в так называемом свободном употреблении) все слова, используемые для называния святых, стоят во множественном числе: **сами же во едино время облегшися в мнишеския ризы** (2, 261); **не смѣаху прикоснутися светым телесем ихъ** (2, 262); **повѣсть отъ жития святыхъ новыхъ чюдотворецъ муромскихъ** (1, 209).

Личные местоимения могут употребляться в форме двойственного числа (в целом восстанавливается такая парадигма: И.-В. **вы**; Р.-М.: **ваю**; Д.-Т.: **вама**), однако преобладают во всех падежах формы множественного числа: **но молим вы, о преоблаженная супруга, да помолитася о нас** (1, 223); **и по смерти исцѣление къ вам приходящим невидимо подаете** (2, 263); **людие же неразумнии якоже в животѣ о нихъ мятущеся паки преложиша я в особныя гробы** (2, 261); **хотя вы на земли хвалити хотяхъ вама ради вашего самодержьства по преставлении вашем венца** (1, 223); **рабы есмы ваю** (2, 261).

Сопоставление ПИФ$_1$ и ПИФ$_2$ обнаруживает полное совпадение приемов использования двойственного числа.

1. Использование глагольных форм единственного / множественного числа при именах существительных, обозначающих парные предметы / части тела: **се бо есть храму очи, се бо есть дому уши** (1, 214; 2, 255).

2. Использование глагольных форм множественного числа при сочетании двух существительных, соединенных союзом «и»: **Петръ и Павелъ и отъ того дни начаша искати подобна времени како купно погубити змия** (2, 253); **отецъ же и мати поидоша на погребение мертъваго да тамо надъ нимъ плачуть** (2, 255); **яко отецъ мои и братъ древоделцы суть, въ лѣсе бо медъ от древия вземлютъ** (1, 214).

Однако наряду с последовательным использованием глаголов в форме множественного числа при существительных, соединенных союзом **и**, появляются иные решения вопроса автором (редактором) в аналогичном же контексте: **блаженный же князь Петръ и блаженная княгиня Феврония возвратиста** (двойств. ч.) **ся в градъ свои славяще** (мн. ч.) **бога и бѣху** (мн. ч.) **державствующе во градѣ томъ ходяще** (мн. ч.) **во милостыняхъ ко всем людемъ, сущимъ подъ областию ихъ** (мн. ч.), **ако чадолюбивии** (мн. ч.) **отецъ и мати бѣста** (двойств. ч.) **во своему граду истинная пастыря** (двойств. ч.),

а не яко наимника (мн. ч.) (2, 261). При анализе последнего примера можно предположить, что в случае, если глагольная форма стоит в непосредственной постпозитивной близости с сочетанием двух имен существительных, соединенных союзом «**и**», она ставится в форме двойственного числа, в анафорическом же употреблении личная форма глагола стоит в форме множественного числа. Однако правилом наше предположение быть не может, в рассматриваемом случае формы множественного и двойственного числа выступают как вариативные.

3. Использование глагольных форм при именах существительных, обозначающих парность живых существ/предметов, свидетельствует о возможности появления двойственного числа при преобладании множественного: **святии сами повелеша** (2, 262); **радуйтася, преподобная и преблаженная, яко и по смерти исцѣление съ вѣрою къ вамъ приходящимъ невидимо подаете** (1, 222); **о преоблаженная супруга, да помолитеся о насъ творящихъ память вашу, да и помянете же и меня** (1, 223).

4. При анафорическом употреблении глагольных форм в контекстах двойственности в ПИФ$_1$ и ПИФ$_2$ мы находим явное преобладание форм множественного числа, хотя в ряде случаев имеет место весьма причудливое смешение форм множественного и двойственного числа, а также употребление двойственного числа вместо множественного: **егда же они** (отец и мать) **преставятся и надъ ними такожде учнуть плакати** (2, 255); **сотвориша** (Петр и Феврония) **бракъ честенъ** (2, 258); **да помянете** (Петр и Феврония) **и мене прегрешнаго** (2, 262); **придоста же въ отчину свою и живяста во всякомъ благочестии, ничтоже отъ божиихъ заповѣдей оставляюще** (1, 217); **ныне же раби ваю есмы и хощемъ да молимъ да не оставита нас** (1, 220); и др.

5. Употребление согласованных определений в ПИФ$_1$ и ПИФ$_2$ также дает картину нелогичного смешения форм единственного, двойственного и множественного числа при обозначении двух лиц: **аки чадолюбивии отецъ и мати бѣста бо своему граду истинная пастыря а не яко наимника** (2, 261); **житие и жизнь святаго князя Петра и святыя княгиня Февронии муромскихъ чудотворцев** (2, 250**)**; **почерпи с сию страну судна з другую страну судна** (2, 260); **своима руками шияше воздух** (1, 221); **и помоливъся предаста святая своя душа в руцѣ божии** (1, 221).

Совершенно иную картину дает Муромская редакция Повести о Петре и Февронии. В ПИФ$_м$ материал свидетельствует о том, что два существительных, соединенных союзом «**и**», требуют глагола в

форме множественного числа: **а отецъ мой и мати поидоша взаемъ плакати** (307); **а отец мои и мати умрутъ и по нихъ будутъ плакати** (307) и др.

Следует отметить, что в ПИФ$_м$ число сочетаний двух имен существительных, соединенных союзом «**и**», вообще невелико, оно заменяется конструкцией с предлогом «**с**», и, таким образом, в значительном числе случаев снимается ситуация, предопределяющая использование форм двойственного числа: **иде кнѧзь съ нею честно во градъ** (310); **и потомъ князь начаше княжевати с супругою своею** (313). Это значит, что в Муромской редакции возможность использования форм двойственного числа текстологически сокращена на одну позицию. В анафорическом употреблении глаголы стоят только во множественном числе.

При сочетании с числительным **дъва** в ПИФ$_м$ остальные грамматические формы имеют множественное число: **И потомъ приидоша некии два юноши в черномъ одѣянии и принесоша съ собою гробъ пречюденъ и великъ зѣло. И положиша въ немъ телеса святыхъ. И покрыша покровом тѣмъ** (316).

Таким образом, использование форм двойственного числа является несомненным признаком книжно-славянской письменности, однако норма их употребления в реальной практике является сочетанием в аналогичных ситуациях форм то множественного, то двойственного числа, причем следует отметить возможность употребления двойственного числа вместо множественного, что приоткрывает нам представление книжников о двойственном числе как о стилистически маркированной форме множественного числа (ср.: **да глаголита к Февронии и яка же речетъ да слышимъ,** 2, 259; **восхотеста людие положити,** 2, 262; **людие вложиста и обретоста,** 2, 262) и свидетельствует о том, что для авторов это вариантные формы с единой семантикой «неединичности».

При анализе памятников, написанных в XVII в., когда уже создаются грамматические сочинения, которые узаконивают использование форм двойственного числа как обязательный признак описываемого их авторами варианта церковнославянского языка, мы видим ту же непоследовательность в употреблении. Анализ материала, представленного, к примеру, в ПМШ, показывает, что нормативным для этого текста является употребление множественного числа в контекстах двойственного: при «оба»: **ныне обое слышатъ** (347); при числительном «двенадцать»: **та же приде нѣмецькии воевода Яковъ Пунусовъ со двенатцетьми своими воеводы** (345); при подлежащем, выраженном двумя существительными, соединен-

ными союзом **и**: **и те же княгини, мати его и жена, пришедше же въ домъ свои и падше на столъ свои ниць, плакахуся горьцѣ стонуще и слезами своими столъ уливая** (349); при анафорическом употреблении: **вамъ** (двум княгиням) **отъ многаго плача и туги великия во иступление ума не быти** (349).

В ЖБМ в использовании форм двойственного числа мы сталкиваемся с уже известной нам непоследовательностью. Норма употребления имен существительных, называющих парные части тела, допускает как правильное образование форм, так и использование форм множественного числа: **отъ руку моею** (390); **любызающи руцѣ ея; великий палец с двѣмя малыма** (393); **возложиша имъ жѣлеза на нозѣ** (395); **покрыша двѣ телесѣ** (398); **прѣд очима нашима** (401). С другой стороны, существительные, обозначающие парные части тела, могут стоять во множественном числе: **ноги мои зело прискорбны** (391); **руки назадъ завязали** (397); **руками водя по одеждах** (401).

Употребление с числительным **два (двѣ), оба (обѣ)** также может соответствовать старой норме: **приимъ ю за обѣ руцѣ** (399); **и по двою днию** (394); **и взыде третия ко двѣма ликовати** (402). Однако в основном при сохранении парадигмы числительного два с возможными вариантными окончаниями (И.-В. **два, двѣ**; Р.-М. **двою, дву (обою)**; Д.-Т. **двѣма**) оно сочетается с именами существительными во множественном числе: **более обою сестръ** (Р. п. мн. ч.) (397); **глаголаше двѣма мученицамъ** (Д. п. мн. ч.) (398), – или с существительными в форме Р. п. ед. ч.: **биена бысть въ двѣ перемены** (398); **два головы стрелецкие** (398). Есть ошибки в образовании формы (автор путает падежи): **повелѣ дати.. дву** (вместо В. п.) **отъ рабынь ея** (394); **обою брату** (вместо В. п.) **Феодора и Алексия в заточение отосла** (396).

Глагол при сочетании двух существительных, соединенных союзом «**и**», может стоять в форме как двойственного, так и множественного числа, однако последнее преобладает: **есть ли у тебе отецъ и мать въ живыхъ или приставиша ся а аще убо живы помолимся о нихъ и о тебѣ; аще же умроша, помянемъ ихъ** (401); (Феодора и Мария)… **терпѣста**… (401); **дядя ее со дщерию своею яко возлюбленнии Никону и его новопредания сосуди начинах у Никона и предания его блажити** (389).

В анафорическом употреблении в контекстах двойственного числа употребляется множественное число, и это одинаково верно для всех частей речи в различных синтаксических функциях: **она же имъ** (архимандриту Иакиму и ключарю Петру)… **супротивляше ся и**

обличивъ ихъ посрами (388); **и егда совершиша седмъ поклоновъ, едина ѹ единои благославишася** (392) и др.

В ЖИЛ мы находим глагольные формы при именах существительных, обозначающих парные части тела: **уста ея движастася** (384); при подлежащем, выраженном сочетанием существительных, соединенных союзом «**и**»: **аще бо свекру и свекрови ея въ животѣ сущим, иже видевше ю разумну и повелѣста еи все домовное строение правити** (381); **и живяста** (Иустин и Иулиания) **во всякомъ благоверии и чистотѣ и имяста сыны и дщери** (381); **свекру и свекрови ея въ глубоцѣи старости во иноцѣхъ ѹмершимъ она же ихъ погребе** (383). И здесь очевидно сочетание правильного и неправильного при преобладании форм множественного числа.

Материал житий XVII в. показывает возможность сосуществования форм двойственного и множественного числа в контекстах двойственности. Таким образом, для агиографической (высокой биографической) литературы, созданной в XVII в., характерно *использование* форм двойственного числа, которые употребляются в контекстах двойственности наряду с формами множественного числа с преобладанием последних. Это дублетные формы, где двойственное число – системно необязательный, но используемый признак *книжности* текста, его стилистической маркированности.

Потенциальная возможность отражения в исследуемых текстах норм, введенных грамматиками церковнославянского языка, нами не выявлена, следовательно, перед нами продолжение книжно-письменной традиции предшествующего времени.

Гипотетически можно предположить, что иной жанр рассматриваемых нами текстов – научные сочинения, начало формирования языка которых и вовлечения в сферу церковнославянского дискурса совпадает со временем издания грамматик в Юго-Западной и Московской Руси, – будет в большей степени ориентирован на эти сочинения. Однако анализ показывает, что переводчики не стремятся следовать этим установкам.

В космографиях как наиболее динамично развивающемся научном жанре в XVII в. гораздо меньше контекстов, где может быть реализована грамматическая форма двойственного числа. Фактически это три контекста: при числительном «**дъва/ѣ**», при обозначении парных предметов/лиц и в контекстах, где речь идет о действии, относящемся к двум предметам/лицам. Но и в этих контекстах в первую очередь не зафиксирована ни одна глагольная форма, ни одно местоимение, прилагательное или причастие в форме двойственного числа; последовательно выбирается форма множественного числа: **Пѡли**

суть Зениѳъ и Надиръ (3об); **Амстердам и Лондінъ будутъ под Климатомъ ѕ мъ** (6); **близшіѧ Асіи части имутъ Руссинъ и Тартаринъ** (22) и подобные. Таким образом, можно сразу же сказать, что кодифицированные грамматикой Смотрицкого правила использования двойственного числа не соблюдены [Кузьминова, 2007: 280].

Определенную, но крайне непоследовательную ориентацию на употребление форм двойственного числа дают существительные, но только при употреблении с числительным «**дъва/ѣ**», реже «**оба/ѣ**»: **два тропіка, два клима, двѣ тмѣ (миль), двѣ странѣ, двома местома, обоима концема** и подобные сочетания, причем для существительных мужского рода мы можем предположить и форму двойственного, и форму родительного падежа единственного числа, которые также зафиксированы в тексте: **двѣ части.** Вполне возможно также употребление при названных лексемах форм множественного числа: **два крузи, оба поли (мира), два храми.**

Есть и еще одна тенденция, отражающая индивидуальную особенность переводчика, – конструирование собственных гиперкорректных форм, по-видимому, характеризующих *знание* книжника о маркировании ситуаций использования контекста двойственности, но неуверенность в правильном создании таких форм. К примеру, переводя с латинского языка книжник создает лексему «**поль**» в значении «полюс». Данная лексема (следуя нашим сегодняшним научным знаниям) должна иметь наряду с единственным только форму двойственного числа. Однако переводчики (для этого фрагмента текста мы предполагаем совместную работу всего круга переводчиков – Славинецкого, Сатановского и др.) создали форму, грамматически соответствующую множественному числу – «**поли**». В единственном контексте с числительным «**дъва**» создается искусственная форма – **два поліовы** (4). Другим примером будет контекст с использованием двух существительных, соединенных союзом «**и**»: **Америку же днесь ѡсвѣщаютъ градове Меѯікъ и Кускъ** (21). В контекстах однозначной множественности использована только форма «**гради**», форма «**градове**» может быть признана специальным показателем двойственности. Данная форма отмечена в черновике текста, т. е. ее употребил переводчик – Епифаний Славинецкий. Писец белового экземпляра заменил «**о**» на «**ѡ**», орфографически переведя ее в разряд форм множественного числа.

Таким образом, мы приходим к выводу, что автор перевода научного сочинения не следует тем нормам церковнославянского языка, которые кодифицированы в грамматике Смотрицкого. Ориентацией

для него будут известные тексты предшествующих эпох, но и их норму он нарушает. Церковнославянский язык научных сочинений XVII в. необходимо характеризовать как язык *сниженной* нормы, а использование грамматически правильных форм двойственного числа отнести к периферии нормы для XVII в.

Мы рассмотрели тексты, принадлежащие к церковнославянским жанрам, соотнести которые можно лишь в одном времени существования церковнославянского языка как книжно-литературного языка Московской Руси, – периоду позднего церковнославянского языка XVII в. Трансформация жанров, бывших в течение многих веков центром строгой церковнославянской нормы, и появление моделей новых для церковнославянского языка привели, по-видимому, к большему распространению сниженного типа нормы. Можно предполагать, что, несмотря на кодификацию форм двойственного числа в парадигмах всех частей речи, в реальных текстах рассматриваемого периода двойственное число постепенно выводится в область периферии церковнославянской системы.

Список литературы

Виноградов В. В. История русского литературного языка: Избранные труды. М., 1978.

Глускина С.М. Космография 1637 года как русская переработка текста «Атласа» Меркатора // Географический сборник. М.; Л., 1954. Кн. 3. С. 79–99.

Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е.А. Кузьминовой. М., 2007.

Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост., подг. текста, научн. комментарий и указатель Е.А. Кузьминовой; предисл. Е.А. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. М., 2000.

Дмитриева Р.П. Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 220–225.

Енин Г.П. Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, рекомаго Скопина // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 1998. С. 36–38.

Повесть о Петре и Февронии / Подгот. текста и исслед. Р.П. Дмитриевой. Л., 1979.

Мазунин А.И. Повесть о боярыне Морозовой // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 1998. С. 82–85.

Николенкова Н.В. Стратегии формирования церковнославянского языка как языка науки в XVII в. (на примере перевода Атласа Blaeu) // Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 21–27 августа 2013 г. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 590–609.

Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. Русская историческая библиотека. Т. XIII. 2-е изд. СПб., 1909. Стб. 1332–1348.

Повесть о боярыне Морозовой / Подгот. текстов и исследование А.И. Мазунина. Л., 1979.
Ремнева М.Л. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. М., 2003.
Ржига В.Ф. Повесть и песни о Михаиле Скопине-Шуйском // Известия Отделения по русскому языку и словесности Академии наук СССР. Т. 1. Кн. 1. М., 1928. С. 81–107.
Руди Т.Р., *Соколова Л.В.* Осорьин Каллистрат (Дружина) Георгиевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. СПб., 1993. С. 429–433.
Скрипиль М.О. Повесть об Улиянии Осорьиной: Исторические комментарии и тексты // ТОДРЛ. Т. VI. М.; Л., 1948. С. 256–323.
Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. СПб., 1903.
Творогов О.В. О «Своде древнерусских житий» // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 3–58.

Сведения об авторах: *Ремнёва Марина Леонтьевна*, докт. филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, декан филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: edit@philol.msu.ru; *Николенкова Наталья Владимировна*, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: natanik2004@mail.ru

Г.И. Панова

О СТРАТИФИКАЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СЛОВОФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА

В статье рассматриваются особенности формального выражения морфологических значений русского глагола дифференцированно по отношению к его морфологическим формам и словоформам; конкретизируется структура морфологической категории времени.

Ключевые слова: морфологическая форма, словоформа, формообразующие аффиксы, значение настоящего времени, непосредственное и опосредованное выражение морфологических значений, морфологические формы и словоформы настоящего времени.

The article deals with the features of formal expression of morphological meanings of the Russian verb as differentiated in relation to its morphological shapes and slovoforms; the author particularizes the structure of the morphological category of tense.

Key words: morphological form, slovoform, the word formative affixes, the meaning of the present tense, direct and indirect expression of morphological meanings.

В современной грамматике существует определенная диспропорция в степени изученности проблем морфологической семантики и плана ее выражения. Это проявляется не только в наличии более широкого круга семантических исследований, что естественно, но и в том, что в существующих работах, описывающих план выражения морфологических категорий, не учитываются те достижения в исследовании морфологический семантики, которые имеют отношение и к плану ее выражения. Отсутствие изоморфизма в структуре морфологической формы в том отношении, что не каждой единице плана содержания соответствует отдельная единица плана выражения, не исключает изоморфных отношений между ними в других аспектах.

В частности, для анализа плана выражения морфологических категорий необходимо проводимое в исследованиях грамматической семантики разграничение трех уровней существования морфологических единиц: «1) уровня абстрагированной грамматической системы (рассматриваемой в отвлечении от лексики); 2) уровня

репрезентации абстрактной грамматической системы в лексически конкретных единицах; 3) уровня функционирования грамматических единиц в составе высказывания, в тексте» [Бондарко, 1983: 100]. Для анализа плана выражения морфологических значений актуально разграничение прежде всего первого и второго уровней существования морфологических единиц, дифференцирующих абстрагированную от лексемы морфологическую форму и словоформу.

В русском языке абсолютное большинство морфологических значений выражается на уровне морфологической формы слова, т. е. за пределами лексемы; некоторые значения выражаются на уровне словоформы: в пределах лексемы или же с ее «долевым» участием. Раскрывая заявленный тезис, следует определить понятия морфологической формы[1] и словоформы, не всегда разграничивающиеся в лингвистической литературе.

Опираясь на фортунатовское понимание «формы слова» как способности «отдельных слов выделять из себя … формальную и основную принадлежность слова» [Фортунатов, 1956: 136], морфологическую форму можно определить как единство морфологического средства (аффикса или служебного слова) и обобщенной основы слов данной части речи. См., например, представление морфологической формы 1-го лица, единственного числа глагола: осн. глагола + ***-у*** или формы сослагательного наклонения единственного числа, женского рода: осн. глагола +***-л-*** + *-а* + ***бы***.

Морфологические средства – это служебные морфемы и служебные слова, являющиеся носителями морфологических значений и конституирущие морфологические формы. Формообразующие аффиксы и служебные, или вспомогательные, слова – это категориальные морфологические средства: они формируют план выражения морфологических категорий на уровне абстрагированных морфологических форм. (Такие явления, как супплетивные основы, чередования звуков и перемещение ударения, не имеют отношения к морфологическим формам.) Е.В. Клобуков формообразующие аффиксы и вспомогательные слова называет парадигматическими средствами, «поскольку они участвуют в образовании словоизменительных парадигм слова» [Клобуков, 2007: 241], а В.В. Лопатин – морфологическими словоизменительными средствами [Лопатин, 1984: 5].

Так как морфологические аффиксы или служебные слова – это двусторонние единицы языка, то структуру морфологической формы

[1] Мы здесь не рассматриваем разные истолкования понятия морфологической формы, или грамматической формы слова, представленные в трудах российских лингвистов-классиков и современных грамматистов.

можно представить более развернуто: это единство морфологического значения, его материального выражения и обобщенной основы слов данной части речи. См., например, схематическое отражение структуры морфологической формы 1-го лица, единственного числа глагола (в отвлечении от других, сопутствующих морфологических значений):

$$\underline{\text{основа глаг.}}\,\frac{\text{МЗ 1 л., ед.ч. (отнесенность действ. к субъекту - говорящему).}}{[y]}$$

Уточним, что при развернутом представлении данной морфологической формы [*у*] – это звук, представляющий собой план выражения морфологических значений 1 лица, единственного числа[2], а при свернутом ее представлении -*у* – это окончание.

С л о в о ф о р м а – это единство морфологической формы и лексемы конкретного слова (см.: [Смирницкий, 1955; Плунгян, 2010: 18]). См. свернутое представление словоформы 1-го лица, единственного числа глагола *рассказать*: *расскаж* + **-*у***. См. ее развернутое представление (в отвлечении от других ее морфологических значений):

$$\underline{\textbf{\textit{Расскаж}}}\,\frac{\text{МЗ 1 л., ед.ч., (отнесенность действия к субъекту - говорящему)}}{[y]}.$$

Словоформа – это та языковая единица, в составе которой реализуется морфологическая форма и функционирует в речи; а морфологическая форма – это «отвлеченно-грамматический аналог словоформы, тот грамматический тип, который репрезентируется словоформами с их конкретным лексическим наполнением…» [Бондарко, 2005: 118]. Об истолковании морфологической формы в ином, но близком аспекте см. у Е.В. Клобукова [Клобуков, 1979: 56].

Абсолютное большинство морфологических форм глагола являются комплексными, включающими несколько морфологических значений, соотнесенных тем или иным образом с их формальным выражением. Простыми, т. е. однозначными, являются только две абстрагированные формы – это формы инфинитива и деепричастия:

---

[2] В традиции морфологического анализа принято говорить, что формообразующие аффиксы или служебные слова выражáют морфологические значения, хотя они, будучи двусторонними единицами языка, уже включают то или иное значение как план содержания. Поэтому более адекватными были бы выражения типа «Окончание -*у* содержит морфологические значения 1 лица, ед. числа» или «Звук [*у*] в структуре глагольной формы выражает значения 1 лица, ед. числа». Мы не отказываемся от традиционно принятых выражений типа «Окончание -*у* выражает значения 1 лица, ед. числа», сознавая их определенную условность.

первая содержит лишь значение неопределенности процесса, вторая – значение процессуального признака действия.

О структурных особенностях комплексных морфологических форм, без употребления данного термина, писали многие грамматисты. Так, В.Г. Адмони отмечал, что грамматические значения «наслаиваются на одну форму, т. е. на одно лексическое значение, и образуют «колонну» или «аккорд» грамматических значений …» [Адмони, 1961: 8], что они «образуют целую вертикальную систему значений, одновременно «передающихся» от говорящего к слушающему» [Адмони, 1964: 41]. Т.В. Булыгина писала о «пучках взаимосвязанных элементарных грамматических значений», образующих «базисную единицу плана содержания» грамматической формы слова [Булыгина, 1967: 81]; А.В. Бондарко – о том, что «одна и та же форма … является компонентом целого комплекса граммем» [Бондарко, 2005: 119] и что «употребление словоформы влечет за собой «аккордную» актуализацию целого ряда грамматических значений» [Бондарко, 1971: 109]. Сразу отметим, что все сказанное названными учеными имеет отношение прежде всего к глаголу.

Итак, морфологические значения «наслаиваются на одну форму» глагола, и наша задача – уточнить формальный механизм этого «наслаивания», причем дифференцированно по отношению к морфологическим формам и словоформам глагола.

В сфере словоизменительных морфологических категорий глагола неоднозначную интерпретацию в плане формального выражения имеют значения настоящего и будущего совершенного (простого) времени.

Одни исследователи считают, что значение настоящего/будущего времени выражают флексии глагола, совмещая морфологические значения лица, числа и времени. Так, И.Г. Милославский пишет: «… флексии настоящего времени несовершенного вида и настоящего-будущего совершенного одновременно являются флексиями лица и числа» [Милославский, 1981: 217]. Р.О. Якобсон замечает: «При выражении категории времени гласные окончания используются в настоящем времени, а согласные – в прошедшем» [Якобсон, 1972: 110]. О.А. Грачёва, исследуя систему флексий русского языка, рассуждает так: если в словоформах типа *горю/горел* выражаются морфологические значения настоящего и прошедшего времени, а в словоформах типа *сгорю/сгорел* – будущего и прошедшего, «следовательно, во флексиях содержится граммема настоящего/будущего времени» [Грачёва, 1982: 13]. М.М. Гухман усматривает у личных флексий

еще больший содержательный диапазон: «… русский форматив *-ю* в глагольной форме *чита-ю* совмещает в себе граммемы: 1-е лицо, единственное число, настоящее время, изъявительное наклонение, действительный залог[3] …» [Гухман, 1968: 167].

Другие лингвисты, правомерно связывая репрезентацию морфологических значений настоящего и будущего совершенного времени с личными окончаниями глагола, отмечают при этом отсутствие в русском языке специальных средств выражения этих значений. Так, в «Русской грамматике» отмечается, что «формы наст. вр. характеризуются … отсутствием специального показателя времени», и далее: «Вся совокупность окончаний со значением того или иного лица и числа, присоединяясь к основе настоящего времени глаголов несов. вида, служит формальным выражением категориального значения наст. времени» [Русская грамматика, 1980: 627]. Аналогичную позицию выражает Е.В. Клобуков: «Н а с т о я щ е е время спрягаемых форм не имеет специальных формальных показателей, кроме совокупности личных окончаний (разрядка автора. – *Г.П.*) [Клобуков, 2007: 330].

И наконец, совсем не связывает выражение анализируемых значений с личными флексиями А.Н. Тихонов: «Значения н а с т о я щ е г о и п р о с т о г о б у д у щ е г о времени выражаются без особых показателей, словоформой в целом» (разрядка автора. – *Г.П.*) [Тихонов, 2002: 358].

Представим наше видение особенностей формального выражения в глаголе значений настоящего и будущего совершенного времени.

На наш взгляд, в структуре комплексных морфологических форм глагола следует дифференцировать разный характер выражения морфологических значений: непосредственный и опосредованный. При *непосредственном* выражении морфологическое значение имеет свое «собственное» средство (формообразующий аффикс или вспомогательное слово), являющееся носителем именно этого, парадигматически противопоставленного значения. Непосредственно на уровне абстрагированных морфологических форм глагола выражается абсолютное большинство его морфологических значений: а) у спрягаемых форм – это значения лица, числа, рода, повелительного и сослагательного наклонений, прошедшего и будущего несовершенного времени; б) у причастий – значения прошедшего и настоящего времени, действительного и страдательного залога, а также числа,

[3] Мы не рассматриваем формальное выражение морфолого-синтаксической категории залога, так как оно выходит за пределы словоформ глагола.

рода и падежа; в) у деепричастий – значение процессуального признака действия и, наконец, г) у инфинитива – значение неопределенности процесса. Непосредственное выражение – это классический и наиболее очевидный способ выражения морфологических значений. Он описан в грамматиках с фиксацией конкретных экспонентов.

При *опосредованном* выражении морфологическое значение не имеет своего собственного формального средства. Такое значение сосуществует в структуре комплексной морфологической формы в единстве с другим морфологическим значением, имеющим специальное средство выражения, и в этом случае первое значение опосредованно сигнализируется через средство выражения второго. Опосредованно, на наш взгляд, выражаются в русском языке: во-первых, морфологические значения непрошедшего (настоящего/будущего совершенного) времени и изъявительного наклонения; во-вторых, категориальное значение причастия; в-третьих, частеречное глагольное значение процесса, как и общеграмматические значения других изменяемых частей речи.

Проиллюстрируем схематически опосредованный характер выражения значения настоящего/будущего совершенного времени и значения изъявительного наклонения, см.:

$$\underline{\text{основа глаг.}}\ \frac{\text{МЗ 1 л., ед.ч.}}{[y]} \rightarrow \underline{\textbf{наст. / буд. вр.}} = \underline{\textbf{изъяв. н}}.$$

Морфологические значения первого лица и единственного числа непосредственно связаны с флексией *-у*, составляя план ее содержания. Эти значения в структуре комплексной морфологической формы глагола сосуществуют с недифференцированным значением настоящего/будущего времени. Следовательно, флексия опосредованно сигнализирует наличие этого значения, не включая его в свой семантический диапазон. А значение времени, как известно, сопряжено со значением реальности изъявительного наклонения: «время есть способ существования реальности» [Храковский, Володин, 2001: 64]. Таким образом, выражение значения индикатива опосредовано дважды.

Именно об опосредованном характере выражении морфологических значений пишет, на наш взгляд, Н.Д. Арутюнова. «Можно совершенно определенно утверждать, что выразительные средства языка, или, иначе, способы формальной дифференциации значений, не сводятся к плану выражения, ограниченному звуковой цепью» [Арутюнова, 1968: 111]. И далее: «Означающие … нередко имеют

комбинированный характер, включая наряду с «манипулируемым» сегментом, еще и информацию о других чертах, лежащих за его пределами (о классе соседних морфем, интонации, позиции, значении элементов, связанных с данным и под.) [там же, с. 115] (подчеркнуто нами. – *Г. П.*). Таким «манипулируемым» сегментом в анализируемой форме глагола является окончание *-у*, которое и включает информацию о наличии значения непрошедшего времени, лежащего «за его пределами».

Тождественны по своим функциям и личные флексии в комплексной форме будущего сложного времени. Они тоже опосредованно сигнализируют наличие непрошедшего времени и, следовательно, индикатива, однако эта их информация нерелевантна при наличии собственного, аналитического выразителя будущего времени: ***буд-у*** + осн. глагола + ***-ть***.

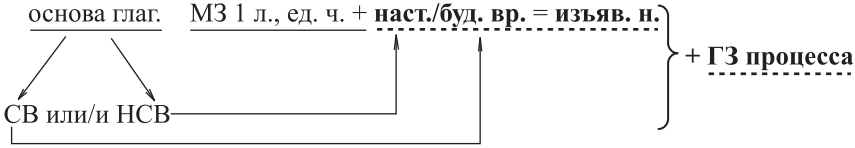
Аналогичным образом и флексии числа-рода информируют в комплексной форме прошедшего времени о наличии сосуществующего значения времени, но эта информация тоже избыточна при наличии категориального средства выражения данного значения: осн. глагола + ***-л*** + ***-а***.

Итак, значение непрошедшего времени в структуре комплексной формы глагола сигнализируется только опосредованно, а значение прошедшего времени выражается дважды: непосредственно, специальным суффиксом (*-л-* или нулевым), и опосредованно – родо-числовыми окончаниями. Дважды передается временная информация (правда, не тождественная) и в форме будущего сложного времени.

Дифференциация непрошедшего времени на настоящее и будущее не опирается на специальные формальные средства: она зависит от вида. Вид глагола не имеет самодостаточных средств формальной манифестации и передается основой глагола параллельно с выражением его лексического значения. Ю.С. Маслов пишет: «Рассматривая морфологическую систему выражения вида, следует исходить не из отдельных «морфем вида» как таковых, а из определенной комбинации видовых и невидовых морфем (включая и корневую морфему) в составе глагольной основы. Именно глагольная, или, точнее говоря, видовая, основа и является в славянских языках материальным носителем видового значения совершенности/несовершенности» [Маслов, 1984: 85–86; см. также: Бондарко, 2005: 115; Шелякин, 1983: 30][4].

[4] Подробнее о факторах, обусловливающих видовую принадлежность глаголов в системе языка, см. в [Панова, 1996: 61–76; 2010: 271–273].

Таким образом, если дифференциация непрошедшего времени на настоящее и будущее зависит от вида, то она проявляется на уровне словоформы глагола, с участием его лексической основы. Представим обобщенно полную формально-содержательную морфологическую структуру, реализуемую в целом в глагольных словоформах типа *рассказываю*, *расскажу*, *обследую*:



Из данной схемы и из всего сказанного выше вытекает, что в русском языке нет абстрагированных морфологических форм настоящего времени и будущего совершенного времени, а есть только зависящие от вида словоформы с такими временными значениями (*рассказыва**ю** – расскаж**у***). Обе эти словоформы включают недифференцированную морфологическую форму настоящего/будущего времени, по существу двувременную форму. У двувидовых глаголов двувременной является и словоформа: *обследу**ю*** – Что делаю? и Что сделаю? (Попутно отметим, что количество двувидовых глаголов заметно увеличивается в современном русском языке [см.: Клобуков, Рыжих, 1998: 187].)

В структуре комплексной глагольной формы опосредованно выражаются не только морфологические значения настоящего/будущего совершенного времени и изъявительного наклонения, но и само общеграмматическое значение процесса: оно «наслаивается» на форму глагола. Так как морфологические категории и формы находятся в отношениях смежности с частями речи, то формальные средства выражения морфологических значений, присущих данной части речи, опосредованно сигнализируют и само частеречное значение. Иначе говоря, морфологические формы глагола (и любой другой части речи) – это формы, или способ, существования данной части речи на морфологическом уровне.

Аналогично частеречному значению опосредованно выражается и категориальное значение причастия – ‘процессуальный признак предмета’. Оно тоже «наслаивается» на значения (и формы) времени и залога, выражаемые суффиксами, и числа, рода, падежа, передаваемые адъективными флексиями. А значение деепричастия – ‘процессуальный признак действия’ – выражается

непосредственно, специальными суффиксами, на уровне абстрагированной морфологической формы: осн. глагола + *-а/-я*, или *-в/-ши*,*-вши*.

Для глаголов в отличие от существительных нетипична омонимия морфологических форм, но она все-таки встречается. Так, омонимичными являются абстрагированные морфологические формы а) индикатива, прошедшего времени, единственного числа, мужского рода (осн. глагола + суфф. Δ + фл. Ø) и б) императива, 2 лица, единственного числа (осн. глагола + суфф. Δ + фл. Ø). Однако омонимия этих морфологических форм незаметна, так как не проявляется на уровне словоформ. Имея выбор равнозначных суффиксов (*-л-* или Δ для прошедшего времени и *-и-* или Δ для императива), язык не сталкивает нулевые суффиксы в пределах форм одного глагола, см.: *принес*-Δ-Ø , но *принес-**и***-Ø; *гуляй*-Δ-Ø но *гуля-**л***-Ø. Исключением является только глагол *лечь*, у которого словоформы прошедшего времени и императива содержат нулевые аффиксы: *лег – ляг*. Однако омонимии словоформ не возникает и здесь благодаря чередующимся гласным корня. В данном случае проявляется взаимодействие лексемы и морфологической формы в плане выражения, направленное на «подавление» омонимии морфологических форм в структуре словоформ.

В сфере глагола имеется еще одна, вполне заметная пара омонимичных морфологических форм. Особенность их заключается в том, что материально тождественными в структуре форм оказываются разные по статусу аффиксы, а именно: а) флексия второго спряжения формы 2 лица множественного числа индикатива (осн. глагола + ***-ите***) и б) суффикс и флексия формы 2 лица множественного числа императива (осн. глагола + ***-и- + -те***)[5]. Омонимия этих морфологических форм проявляется и на уровне словоформ, причем, у одних глаголов в письменной и устной речи, ср.: *крич-и́те* и *крич-и́-те*, *сп-и́те* и *сп-и́-те*, а у других – только в письменной речи, так как в устной словоформы дифференцируются ударением, ср.: *го́н-ите* и *гон-и́-те*, *ру́б-ите* и *руб-и́-те*.

---

[5] Выражение значения 2 лица в формах императива имеет, на наш взгляд, особый характер, объяснить который непросто. Значение императивности и лица выражается суффиксом *-и-* (или нулевым) явно не на равных, как, например, флексии *-ешь* или *-ишь* выражают лицо и число. Суффикс, выражая значение ‘побуждение к действию собеседника/собеседников’, имплицитно включает и значение 2 лица. А при анализе данной формы мы просто эксплицируем это значение. Мы не исключаем возможности иного, более точного объяснения данной ситуации. О наличии агглютинативных черт в словоформах 2 лица русского императива см. в [Храковский, Володин, 2001: 10–11].

Кроме того, в русском языке есть одна пара омонимичных глагольных словоформ, необычная в том плане, что морфологические формы, которые они включают, не являются омонимичными. Это словоформы глагола *есть*: а) *е-**шь*** – словоформа индикатива, настоящего времени, 2 лица, единственного числа с ее нерегулярным окончанием (осн. глагола + *-шь*) и б) ***ешь*** – словоформа императива, 2 лица, единственного числа с нулевыми суффиксом и флексией (осн. глагола + Δ+Ø).

И, наконец, в русском языке имеются десять омонимичных пар глаголов, различающихся только морфологическим значением вида. Это приставочные глаголы движения совершенного и несовершенного вида, тождественные и в плане выражения, и в плане лексического содержания (хотя бы в одном из значений), например: *облетать*, *обходить*, *свозить*, *наносить* (Что сделать?) и *облетать*, *обходить*, *свозить*, *наносить* (Что делать?). Такие глаголы мы называем видовыми омонимами[6] [Панова, 2010: 290]. Появление видовых омонимов связано с разным способом их образования. Перфективы образованы обычным префиксальным способом: *летать* – ***об**летать*, *возить* – ***с**возить*. Имперфективы же представляют собой «результат аналогических образований» [Исаченко, 2003: 328], когда к приставочному перфективу движения типа *облететь*, *свезти* образуется парный имперфектив типа *облетать*, *свозить* по образцу материального соотношения между бесприставочными глаголами движения, т. е. *облететь* (СВ) → *облет**а**ть* (НСВ), как *лететь* – *лет**а**ть* и *свезти* (СВ) → *своз**и**ть* (НСВ), как *везти* – *воз**и**ть*. Аналогично рассматривается образование подобных имперфективов в [Янко-Триницкая, 1953: 41–57; Бондарко, Буланин, 1967: 34].

Итак, мы проанализировали особенности формального выражения морфологических значений глагола дифференцированно по отношению к его абстрагированным морфологическим формам и словоформам, отметив имеющиеся случаи омонимии морфологических форм и словоформ.

Абсолютное большинство значений в структуре комплексных морфологических форм глагола выражаются непосредственно, собственными категориальными средствами, предназначенными для передачи именно этого, парадигматически противопоставленного

---

[6] См. зафиксированые в «Словаре современного русского литературного языка» (в 17 томах) другие шесть пар собственно видовых омонимов ***на**возить*^{СВ} – *навозить*^{НСВ}, ***до**носить*^{СВ} – *доносить*^{НСВ}, ***пере**носить*^{СВ} – *переносить*^{НСВ}, ***с**носить*^{СВ} – *сносить*^{НСВ}; ***до**возить*^{СВ} – *довозить*^{НСВ}, ***пере**возить*^{СВ} – *перевозить*^{НСВ}.

значения. Некоторые же морфологические значения передаются опосредованно, через средство выражения другого, сосуществующего значения. Это – недифференцированное значение настоящего/будущего времени, значение изъявительного наклонения, а также частеречное значение процесса глагола. Аналогично частеречному значению глагола, опосредованно выражается и значение причастий (‘процессуальный признак предмета’), что является еще одним свидетельством их существенного отличия от собственно глагольных форм.

Все морфологические значения глагола, кроме значений вида и настоящего и будущего совершенного времени, выражаются на уровне абстрагированных морфологических форм и, следовательно, имеют словоизменительный характер (за одним исключением). Значения вида выражаются лексической основой глагола, что свидетельствует о классификационной природе этой категории. Категория вида оказывает классифицирующее воздействие на категорию времени глагола: обусловливает ее смешанный, классификационно-словоизменительный характер. Она является словоизменительной в сфере оппозиции прошедшего и непрошедшего времени и классификационной – в сфере оппозиции прежде всего настоящего и будущего совершенного времени. Эти, зависимые от вида значения дифференцируются на уровне словоформы, ср.: *дыш**у*** – наст. время, *реш**у*** – буд. время. Следовательно, в русском языке имеются только словоформы (но не морфологические формы) настоящего времени и будущего совершенного времени, в которых реализуется общая для них двувременная морфологическая форма.

Дифференцированное рассмотрение плана выражения морфологических значений глагола на уровне морфологических форм и на уровне словоформ позволяет уточнить наше представление о формальной структуре морфологической категории времени: она включает три абстрагированные морфологические формы и пять временных словоформ.

Категория времени глагола в современном русском языке представлена тремя абстрагированными морфологическими формами – это 1) форма прошедшего времени (<u>осн. глагола</u> + ***-л-*** + Ø), реализующаяся в глаголах совершенного, несовершенного вида и двувидовых: *писа**л***, *написа**л***, *исследова**л***; 2) форма непрошедшего времени, или двувременная (<u>осн. глагола</u> + ***-у***, ***-ешь*** …), которая в глаголах несовершенного вида реализуется в словоформах настоящего времени (*пишу*), в глаголах совершенного вида – в словоформах будущего времени

(*напишу*), а в двувидовых глаголах – в двувременных словоформах (*исследую*), и 3) форма будущего несовершенного времени (***буд***-*у* + осн. глагола + -***ть***), реализующаяся только в глаголах несовершенного вида. Последняя морфологическая форма имеет противоречивый характер. С одной стороны, ее категориальное значение выражается за пределами основы глагола, что характерно для словоизменительных значений и форм; а с другой стороны, это значение и эту форму имеют только глаголы несовершенного вида, и в этом проявляется ее классификационный аспект.

Морфологическая категория времени русского глагола представлена пятью временными словоформами – это: 1) словоформы прошедшего времени (*писал*, *написал*, *исследовал*); 2) словоформы настоящего/будущего времени, или двувременные (*исследую*); 3) словоформы настоящего времени (*пишу*); 4) словоформы будущего совершенного времени (*напишу*) и 5) словоформы будущего несовершенного времени (*буду писать*, *буду исследовать*).

Все сказанное свидетельствует о том, что морфологическая форма прошедшего времени – это собственно временная форма. Собственно временной, или чисто временной, характер имеют и словоформы прошедшего времени: их категориальное значение ‘предшествование действия моменту речи’ не зависит от вида: оно реализуется в глаголах любого вида. А все другие словоформы времени зависят от вида и потому имеют смешанный, видо-временной характер.

В.В. Виноградов писал: «Для системы времен современного русского глагола характерно морфологически подчеркнутое противопоставление форм прошедшего времени и форм настоящего-будущего времени. Грамматическая сфера прошедшего времени наиболее глубоко и резко очерчена в русском языке. Это – сильная грамматическая категория» [Виноградов, 1982: 443–444]. Сделанные наблюдения над особенностями формального выражения и структурой морфологической категории времени русского глагола вполне согласуются с этим утверждением и конкретизируют его.

Список литературы

Адмони В.Г. Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении // Филологические науки. 1961. № 3. С. 3–15.

Адмони В.Г. Основы теории грамматики. М.; Л., 1964.

Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. С. 58–116.

Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.

Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.

Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. М., 2005.

Бондарко А.В., *Буланин Л.Л.* Русский глагол: Пособие для студентов и учителей. Л., 1967.

Булыгина Т. В. О некоторых аналогиях в соотношении семантических и звуковых единиц // Вопросы языкознания. 1967. № 5.

Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972.

Грачёва О.А. Система флексий современного русского литературного языка (морфологический и функциональный анализ): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1982.

Гухман М.М. Грамматические категории и структура парадигм // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. С. 117–175.

Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии. М., 1979.

Клобуков Е.В. Морфология // Современный русский язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2007.

Клобуков Е.В., *Рыжих Ю.М.* К изучению продуктивных типов видовой соотносительности русских глаголов // Типология вида: Проблемы, поиски, решения / Отв. ред. М.Ю. Черткова. М., 1998. С. 182–193.

Лопатин В.В. Морфологические категории в плане выражения // Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. М., 1984. С. 3–13.

Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.

Панова Г.И. Морфологические категории в современном русском языке: аспекты формального выражения глагольного вида и рода существительных. СПб.; Абакан, 1996.

Панова Г.И. Морфология русского языка: энциклопедический словарь-справочник. М., 2010.

Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2010.

Русская грамматика / Гл. редактор Н. Ю. Шведова. Т. 1. М., 1980.

Тихонов А.Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология. М., 2002.

Смирницкий А.И. Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.

Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. 1. М., 1956.

Храковский В.С., *Володин А.П.* Семантика и типология императива. Русский императив. М., 2001.

Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы). Таллин, 1983.

Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95–113.

Янко-Триницкая Н. А. Особенности префиксации глаголов движения // Учен. зап. Московского гор. пед. ин-та им. А.М. Потемкина. Т. 22. Вып. 2. М., 1953. С. 41–57.

Сведения об авторе: *Панова Галина Ивановна*, докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка и методики преподавания Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Россия. E-mail: gipanova@mail.ru

А.В. Уржа

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПУТНИКИ НАСТОЯЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ НАРРАТИВНЫХ ТЕКСТОВ

В фокусе исследования – функции «окружения» настоящего исторического – тех элементов текста, которые сопутствуют его появлению в нарративе. Что в контексте употребления praesens historicum не контрастирует с этим элементом, а поддерживает его в воздействии на читателя, приближает адресата к хронотопу повествуемых событий? Показательным материалом для наблюдений такого рода являются варианты русского перевода одного и того же повествовательного текста с другого языка. Мы сопоставим переводы, использующие настоящее историческое или прошедшее нарративное, и рассмотрим языковое окружение этих форм. При этом, поскольку речь каждый раз будет идти о комплексе средств, ориентированных на единый прагматический эффект, мы разделим изучаемый материал на несколько групп в зависимости от жанра оригинала и целевой аудитории, на которую ориентирован текст.

Ключевые слова: настоящее историческое, функция, адресат, художественный перевод, сопоставительный анализ.

The article is concerned with the semantic and grammatical environment of praesens historicum in Russian literary translations. The focus is made on the elements that interact with this transpositional verb form as a whole functional complex in the translated text. These are compared with the context of narrative past forms used in other translations of the same original. The pragmatic effect of functional ‘satellites’ of the present historical form is studied in the texts grouped according to their genre and target audience.

Key words: praesens historicum, dramatic present, function, context, translation, comparative analysis.

Внутренняя форма традиционного термина «настоящее историческое», калькирующего латинский praesens historicum, неоднократно подвергалась критике в трудах по русской грамматике, поэтике и стилистике: она отсылает к жанровой среде возникновения приема, но не к его функции в тексте. Выделяя такие функции, описывая тот или иной контекст употребления praesens historicum, ученые предлагали и продолжают предлагать конкурирующие названия для этого феномена. Так, А.М. Пешковский, отмечая, что «настоящее историческое» – это «старинное название, объясняющееся частостью этой замены (настоящее вместо прошедшего. – *А. У.*) у античных

историков», подчеркивал, что «вернее было бы назвать его настоящим “рассказа” или настоящим “живописным”» [Пешковский, 1927: 208]. В «Грамматике русского языка» 1954 г. используется термин «настоящее повествовательное» [Грамматика, 1954: 484], который считает более удачным Е.В. Падучева, в свою очередь предлагающая вариант «настоящее нарративное»: «нарративное употребление настоящего времени часто называют настоящим историческим, поскольку это настоящее время, которое используется в повествовании о прошлом» [Падучева, 1996: 286–288]. Словари лингвистических терминов дают в качестве варианта термина названия «настоящее описательное», см., напр. [Розенталь, 1976], или даже «воображаемый» или «представляемый» презенс [www.krugosvet.ru]. Восходящее к античности название формы (и приема) сближает русскую грамматику с западноевропейскими, где, однако, в качестве синонима к praesens historicum (или по-английски historic(al) present) широко используется вариант dramatic present, «настоящее драматическое». Последний термин применяется западными учеными и к русским текстам [Chvany, 1990: 228], что ставит его в ряд с вышеперечисленными обозначениями. По мере изучения настоящего исторического синонимичные вначале варианты названия образуют в работах ученых оппозиции, выстраиваются в классификации, сложность которых указывает на то, что роль настоящего исторического в текстах многогранна. Не ставя перед собой задачу осветить этот аспект «истории вопроса» (достаточно подробно изученный [Бондарко, 1971; Иванов, 2001; и др.]), мы хотели бы обратиться к функциям «окружения» настоящего исторического – тех элементов текста, которые сопутствуют его появлению в нарративе. Для такого исследования требуется несколько изменить традиционный подход к анализу контекста употребления praesens historicum: обратить внимание не на то, с чем контрастирует форма настоящего времени, а на то, в комплексе с какими средствами она употребляется, реализуя прагматические задачи говорящего.

Направления исследования praesens historicum можно условно описать как идущие «от грамматики», от системных языковых механизмов данной транспозиции – к спектру типов ее употребления, и, наоборот, идущие «от текста», сфокусированные на общем композиционном (в различных научных парадигмах – поэтическом, стилистическом), прагматическом эффекте этого явления.

В рамках первого подхода, вне зависимости от трактовки praesens historicum как относительного или переносного употребления формы времени, в первую очередь акцентируется именно «несоответствие»

формы контексту: «С точки зрения грамматики важно то, что контекст указывает на прошлое, а грамматическая форма – на настоящее. Средством актуализации прошлого является сама грамматическая форма настоящего времени. Грамматическое значение этой формы в данном употреблении сохраняется, однако в результате столкновения с контекстом грамматическое значение настоящего в данных условиях выступает в особом, переносном варианте: действие лишь изображается так, как будто оно настоящее, – на самом же деле оно относится к прошлому» [Бондарко, 1971: 143–144]. Термин «переносное употребление» (транспозиция) подчеркивает именно «расхождение между временным значением глагольной формы и темпоральностью контекста» [Бондарко, 1971: 129]. Д.Н. Шмелев, предлагая трактовку настоящего исторического как относительного употребления формы настоящего времени, приводит примеры типа *И вот началась вьюга <…> Вокруг все кипит точно в котле* (Горький. Варенька Олесова), и отмечает, что «относительное значение формы, то есть прикрепленность к объективному прошедшему, опирается на ее сочетание с формами грамматического прошедшего» [Шмелев, 1960; цит. по: Падучева, 2010].

Лексическое и грамматическое окружение настоящего исторического до сих пор изучается именно в плане «контраста» с глагольной формой: «Прагматическая информация формы настоящего исторического распределяется между различными языковыми средствами и выражается такими периферийными средствами, как несовпадение временных показателей формы и контекста…» [Иванов, 2001: 154].

Однако стремясь к универсальным наблюдениям над грамматическими условиями употребления настоящего исторического, над языковой природой его «относительности», ученые абстрагируются от идеи контраста изучаемой формы и ее окружения и обращаются к идее выбора точки отсчета для настоящего исторического в созданном контексте: «Настоящее историческое (нарративное) можно трактовать как относительное употребление формы времени: форма настоящего времени в этом употреблении соотносит ситуацию не с моментом речи, как в исходном, речевом значении, а с некоторым моментом, фиксированным в контексте. При интродуктивном употреблении настоящего исторического сама форма задает тот временной момент, который используется для последующих отсылок» [Падучева, 2010].

К идее сопряжения «точки отсчета» и «точки зрения» стремятся и исследования специфической текстовой роли praesens historicum в

литературном повествовании. Разнообразные трактовки этой роли, предложенные в грамматике, поэтике, стилистике, традиционно сводят к двум основным: «в одних… учитывается компонент “говорящий говорит о прошлом таким образом, чтобы оно как бы предстало перед глазами слушающего”; в других – компонент “говорящий как бы сам переносится в прошлое”» [Иванов, 2001: 5; ср. Бондарко, 1972: 143].

Сопоставим примеры использования обозначенных подходов в «Поэтике композиции» Б.А. Успенского и «Семантике нарратива» Е.В. Падучевой: «… каждый раз, когда употребляется глагольная форма настоящего времени, имеет место синхронная авторская позиция, т. е. *автор находится как бы в том же времени*, *что и описываемый персонаж* (курсив мой. – *А. У.*)» [Успенский, 1970: 97]; Ср.: «Отличие формы настоящего от прошедшего касается *не перспективы*, *в которой повествователь рассматривает ситуацию…*, *а отношения между повествователем и читателем* (курсив мой. – *А. У.*): настоящее время как бы включает читателя в диалог, т. е. помещает его в то пространство и время, в котором находится сам повествователь; тогда как прошедшее время отдаляет повествователя – а тем самым и описываемую ситуацию – от читателя [Падучева, 1996: 288][1].

Второй подход, в отличие от первого (см. цитату из Б.А. Успенского), учитывает воздействие формы praesens historicum на читателя, принимает во внимание «фактор адресата» [Арутюнова, 1981: 356–367]: речь идет о «включении» читателя в хронотоп повествуемого с целью произвести на него определенный эмоциональный эффект, вызвать повышенное внимание адресата к происходящему, побудить его ощутить себя наблюдателем описываемых событий. Отмечая этот воздействующий (порой даже манипулятивный) характер приема использования praesens historicum, труды по стилистике английского языка метко называют его ‘you-are-there illusion’ [Pinker, 2007: 204]. При этом, в отличие от русского повествования, в классическом английском нарративе использование форм настоящего исторического всегда считалось настолько сильным, ярким средством выделения, что авторам рекомендовали воздерживаться от его чрезмерного использования: “*The historical present is one of the boldest of figures* and, as is

[1] Особая роль настоящего исторического (и в той и в другой трактовке) обнаруживается в первую очередь в нарративном режиме интерпретации эгоцентрических элементов текста (в том числе и темпоральных смыслов) [Падучева, 1996: 285], однако ее можно усмотреть и в примерах так называемого гипотаксического режима [Падучева, 2010], где глагол, вводящий перцептивный модус, стоит в прошедшем времени: *я видел*, *как он заходит в бар*.

the case with all figures, its overuse makes a style cheap and ridiculous”[2] [Royster, Thompson, 1919].

Возможно, именно это повышенное внимание к стилистической «выделяющей» роли praesens historicum позволило современным американским ученым, разрабатывающим теорию организации первого плана и фона в тексте (Theory of Grounding), отнести эту форму к средствам «выдвижения» информации на первый план повествования и ввести важное терминологическое разграничение между *historical present* и *dramatic present*:

‘Present tense has a foregrounding effect only when contrasted with perfective past. This kind of foregrounding, unusual in written English, is frequent in Slavic folk tales. Such ‘*dramatic presents*’ are analogous to cinematic close-ups: «Вышел старик на берег и говорит…», «Девочка вошла в домик и видит…». In monoaspectual present tense narration, on the other hand, one gets a purely structural account of events, one that allows narrative device to be avoided. Such ‘*historical present*’ narrative (as in plot summaries) is stylistically as neutral as one can get. It must be distinguished from the dramatic present illustrated above» [Chvany, 1990: 294]. В приведенном фрагменте из работы К. Чвани термин ‘dramatic present’ противопоставлен термину ‘historical present’[3]. Первый применяется именно к тем случаям, где форма настоящего вводится в нарративе по контрасту с окружающими формами прошедшего времени и таким образом выделяет, «выдвигает вперед» (foregrounds) для читателя определенное событие (автор проводит аналогию с крупным планом в киносъемке). Второй ограничивается ситуацией «настоящего изложения» [Бондарко, 1971: 72] и типичен для грамматически гомогенного перечисления событий при пересказе текста, где ни одна из форм настоящего времени не выделена по сравнению с другими. Получается, что ‘dramatic present’ – широкое метафорическое обозначение, связанное не со сценическим настоящим (что можно было бы предположить, исходя из внутренней формы термина), а с эффектом живого вовлечения читателя в происходящее, с «выдвижением» наиболее интересных событий нарратива на первый план для него: ‘More recently, analysts of its use have argued that

---

[2] «Настоящее историческое – это самый “жирный шрифт”, и, как в случае с любым выделением, его чрезмерное использование делает стиль повествования вульгарным и смешным».

[3] Нередко эти терминологические обозначения используются и как синонимичные: ‘in linguistics and rhetoric, the historical present (also called dramatic present or narrative present) refers to the employment of the present tense when narrating past events’. [Huddleston, Pullum, 2002, 129–131].

it functions *not by making an event present*, *but by marking* segments of a narrative, *foregrounding events*'[4] [Brinton, 1992: 221].

Принимая во внимание эту прагматическую роль настоящего исторического в повествовании о прошлом, обратимся к следующему вопросу: с какими функционально близкими средствами взаимодействует описанная форма? Что в контексте употребления praesens historicum не контрастирует с этим элементом, а поддерживает его в воздействии на читателя, приближает адресата к хронотопу повествуемых событий, создает упомянутую выше «иллюзию, что вы там»? Нас будут интересовать не формально или семантически близкие к форме настоящего исторического языковые средства, но лингвистические элементы и приемы, близкие по прагматическому эффекту и порой незаметные «в тени» яркого приема praesens historicum.

Показательным материалом для наблюдений такого рода являются варианты русского перевода одного и того же повествовательного текста с другого языка, также позволяющего использование praesens historicum в нарративе. Обращаясь к истории возникновения настоящего исторического в переводных текстах, исследователи отмечают: «редкому и несистемному использованию настоящего исторического в переводах древнейшего времени противостоит регулярная эксплуатация этой формы начиная с XIV в. Изменение переводческой стратегии в отношении настоящего исторического, изначально связанное со стремлением к большей формальной точности в передаче оригинала, проходит путь к употреблению этого средства как осознанного переводческого приема» [Пентковская, Уржа, 2013: 173; см. также: Тюняева, 2008].

К XIX в. формы настоящего исторического и прошедшего нарративного нередко встречаются в переводе одних и тех же фрагментов текстов с западноевропейских языков на русский. Ситуация эта грамматически обусловлена отсутствием жесткого требования согласования времен в гипотаксических контекстах (где у переводчика есть возможность выбрать одну из форм: *я видел*, *как он плыл / как он плывет*), а также нейтрализацией видового противопоставления в повествовании о прошлом [Маслов, 1984: 84]. Особый интерес для нас представляют те ситуации, где в оригинале praesens historicum отсутствует: в этом случае регулярное введение переводчиком русских форм настоящего исторического представляет не автоматическую кальку, а

[4] «В последнее время исследователи настоящего исторического отмечают, что его функция состоит не в том, чтобы представить событие происходящим в данный момент, а в том, чтобы выделить сегмент нарратива, выдвинуть его на первый план».

осознанный выбор, и прагматический эффект такого выбора может быть оценен на фоне других переводов, предпочитающих формы прошедшего нарративного. Здесь же мы можем наблюдать появление так называемых функциональных «спутников» praesens historicum, сопровождающих его использование в русском переводе.

Основываясь на результатах ряда сопоставительных исследований русских переводов англоязычных прозаических произведений (О. Генри, М. Твена, Дж.К. Джерома, П. Трэверс, Р. Брэдбери, Э. Берджеса, Р. Баха, К.С. Льюиса), мы сопоставим варианты перевода, вводящие настоящее историческое или сохраняющие прошедшее нарративное (как в оригинале), и рассмотрим языковое окружение этих форм. При этом, поскольку речь пойдет о средствах, ориентированных на единый прагматический эффект, мы объединим изучаемый материал в несколько групп в зависимости от жанра оригинала и целевой аудитории, на которую ориентирован текст.

Приключенческая литература

Стратегии интерпретации произведений с увлекательным сюжетом, яркими событиями нередко различаются в степени учета «фактора адресата», в выборе приемов воздействия на него [Масленникова, 2002]. Показательные примеры мы находим среди переводов детской приключенческой литературы. Сравним два перевода фрагмента с описанием драки мальчишек из повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера», выполненные Корнеем Чуковским и Ниной Дарузес:

Mark Twain 'The Adventures of Tom Sawyer'	**Пер. К. Чуковского, 1950 г.**	**Пер. Н. Дарузес, 1949 г.**
So they **stood**, each with a foot placed at an angle as a brace, and both shoving with might and main, and glowering at each other with hate. But neither **could** get an advantage. After struggling till both were hot and flushed, each **relaxed** his strain with watchful caution <…>	Так они **стоят** лицом к лицу, каждый выставил ногу вперёд под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они **начинают** что есть силы толкаться. Но **победа не даётся** ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгорячённые, красные, они понемногу **ослабляют** свой натиск, хотя каждый по-прежнему остаётся настороже <…>	Каждый **стоял**, выставив ногу вперед, как опору, толкаясь изо всех сил и с ненавистью глядя на соперника. Однако ни тот, ни другой **не мог** одолеть. Наконец, разгоряченные борьбой и раскрасневшиеся, они осторожно **отступили** друг от друга <…>
The new boy **took** two broad coppers out of his pocket and **held** them **out** with derision.	Чужой мальчик **вынимает** из кармана два больших медяка и с усмешкой **протягивает** Тому.	Новый мальчик **достал** из кармана два больших медяка и насмешливо **протянул** Тому.

Tom **struck** them to the ground. In an instant both boys **were rolling and tumbling** in the dirt, gripped together like cats; and for the space of a minute they **tugged** and **tore** at each other's hair and clothes, **punched** and **scratched** each other's nose, and **covered** themselves with dust and glory. Presently the confusion **took form**, and through the fog of battle Tom **appeared**, **seated** astride the new boy, and **pounding** him with his fists.	Том **ударяет** его по руке, и медяки **летят** на землю. Через минуту оба мальчика **катаются** в пыли, сцепившись, как два кота. Они **дёргают** друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они **щиплют** и **царапают** друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопределённая масса **принимает** отчётливые очертания, и в дыму сражения **становится** видно, что Том **сидит** верхом на враге и **молотит** его кулаками.	Том **ударил** его по руке, и медяки **полетели** на землю. В тот же миг оба мальчика **покатились** в грязь, сцепившись по-кошачьи. Они **таскали** и **рвали** друг друга за волосы и за одежду, царапали носы, **угощали** один другого тумаками – и **покрыли** себя пылью и славой. Скоро неразбериха **прояснилась**, и сквозь дым сражения **стало видно,** что Том **оседлал** нового мальчика и **молотит** его кулаками.
"Holler 'nuff!" **said** he.	— Проси пощады! – **требует** он.	— Проси пощады! – **сказал** он.

Корней Чуковский выбирает для интерпретации всего эпизода (оформленного преимущественно в Past Simple в оригинале) формы настоящего времени, тогда как Нина Дарузес придерживается прошедшего нарративного. Что побуждает Чуковского к такому решению? Обратим внимание на то, что вся сцена драки представлена в контексте наблюдения и оформлена **в репродуктивном регистре**: здесь задействована лексика с перцептивной семантикой (hot and flushed – разгоряченные и раскрасневшиеся, two broad coppers – два больших медяка, were rolling and tumbling in the dirt – покатились в грязь), имена существительные имеют конкретную референцию, глаголы реализуют предикаты с акциональной семантикой. Второй, не менее важной характеристикой данного фрагмента является **субъективизация**: действия представлены с позиции не отстраненного повествователя, а наблюдателя, локализованного в хронотопе происходящего, при этом вариант Чуковского («наконец неопределенная масса принимает отчётливые очертания») представляет более наглядную конкретизацию событий, чем вариант Дарузес («скоро неразбериха прояснилась»**).** Кроме того, в середине фрагмента Чуковский «подключает» точку зрения самого Тома, героя повести: враждебный мальчик называется не просто «новым» (появившимся впервые и в городке, и на страницах книги), но «чужим» – это определение мог бы дать именно Том. **Дейктические показатели**, использованные в тексте, также ориентированы на точку зрения персонажей: «каждый выставил ногу вперед». Показательно и то, что данный повествовательный фрагмент **соседствует с диалогами**, где звучит прямая речь

героев и все ее характеристики представляют видение ситуации «изнутри» события, так называемую «**внутреннюю фокализацию**» по Ж. Женетту («Только перешагни эту черту, я тебя как отлуплю, что своих не узнаешь. – Ну-ка попробуй тронь! – Ты не толкайся, а то как дам! – Ну, погляжу я, как ты мне дашь! Чего же не дерешься? – Давай два цента, отлуплю»).

Все перечисленные характеристики взаимодействуют в описании драки мальчиков: контекст наблюдения и субъективизация естественным образом «подключают» настоящее время к повествованию: модусный смысл «темпоральной локализации» [Шмелева, 1984: 83–84] «встраивается» в систему остальных модусных смыслов (пространственной локализации, реальной модальности, оценки, персуазивности и т. д.), соответствующих ситуации «нахождения внутри события». Формы настоящего времени способствуют драматизации фрагмента и усиливают впечатление соприсутствия, создаваемое вкрапленными в повествование диалогами.

Решение К. Чуковского не единично и не случайно: на протяжении всего перевода он тяготеет не только к введению форм настоящего исторического, но и к дополнительной субъективизации текста: реализация точки зрения Тома и тети Полли (а не объективного повествователя) отражается в выборе оценочных номинаций («тетка», «старуха» – вместо «тетя Полли» или «пожилая леди», «проклятый мальчишка» вместо «мальчишка» – о Томе), а также дейктических показателей («сейчас» вместо «в тот момент», «здесь» вместо «там»), дополнительных слов с перцептивной семантикой [Калмыкова, 2013]. Настоящее историческое тесно взаимодействует с репродуктивным регистром речи и создает яркие «картины» событий, выгодно отличающиеся от нарративного изложения в прошедшем времени: читатель становится зрителем, почти участником игр, потасовок, проказ Тома. Не случайно Чуковский ввел еще одно новшество: он придумал названия для каждой главы романа, оформив многие из них также в настоящем времени (так называемое настоящее номинации [Бондарко, 1971: 73]), например: «Том знакомится с Бекки», «Шайка пиратов поднимает паруса», «Том украдкой посещает родной дом» и т. д.

Итак, формы настоящего времени используются Чуковским в составе целой группы функционально однородных приемов, ориентированных на единый прагматический эффект: приблизить описываемую ситуацию и сознание ее участников к читателю и таким образом сделать повествование более захватывающим. Согласимся с тем, что

переводчику это удалось: его вариант более полувека остается популярным у русских читателей, и в первую очередь, среди детей.

Обратимся к другому произведению этого же жанра с похожей судьбой: перевод повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», выполненный Б. Заходером, до сих пор значительно превосходит по популярности другие переводы этого текста, в частности, вариант М. Литвиновой, который мы используем для сопоставления. Несмотря на то что перевод Заходера принято считать «вольным» (некоторые главы повести опущены), анализ переведенных глав показывает, что это вариант близок к тексту оригинала и может быть сопоставлен с другими переводами повести П. Трэверс [Уржа, 2014: 479–488]. Заходер, как и Чуковский, вводит формы настоящего исторического в повествование там, где в оригинале использовалось прошедшее время. При этом и у него эта замена сопровождается использованием других вышеупомянутых средств – функциональных спутников настоящего исторического. В приведенных ниже фрагментах Б. Заходер вводит в текст **дополнительные дейктические показатели**, локализуя точку зрения наблюдателя в пространстве – читатель оказывается «сопричастен» взгляду персонажей повести – Джейн и Майкла:

P.L.Travers ‘Mary Poppins’	**Пер. Б. Заходера, 1968 г.**	**Пер. М. Литвиновой, 1996 г.**
Presently they **saw** their Mother **coming out** of the drawing-room with a visitor following her. Jane and Michael could see that the newcomer had shiny black hair— «Rather like a wooden Dutch doll,» whispered Jane.	И вот ребята увидели, что их мама **выходит** из гостиной, а незнакомка **идёт** за ней. *Сверху* были видны её гладкие, блестящие чёрные волосы. «Как у деревянной куклы», – шепнула Джейн.	Скоро из гостиной **вышла** мама в сопровождении незнакомой гостьи. У нее были блестящие черные волосы. «Как у куклы-голландочки», – прошептала Джейн.
Jane did not reply, for a curious thing was happening to her. As she laughed she **felt herself growing** lighter and lighter, just as though she **were being pumped** full of air. It was a curious and delicious feeling and it made her want to laugh all the more. And then suddenly, with a bouncing bounce, she felt herself jumping through the air. Michael, to his astonishment, **saw her go soaring up** through the room.	Джейн не успела ответить, как с ней произошла очень странная вещь. Она вдруг почувствовала, что от смеха она **становится** всё легче и легче, словно её **накачивают** воздухом. Это было и странно, и приятно. И её всё больше разбирал смех. И вдруг – гоп! – она сильно подпрыгнула и взлетела. Онемев от изумления, Майкл глядел, как она **пролетает** *над ним*…	Джейн ничего не ответила, с ней вдруг стало твориться что-то странное: тело **становилось** легче, легче, будто в него **вдували** воздух,– удивительное и приятное чувство. Ей захотелось смеяться еще громче. Она подпрыгнула и вдруг ощутила, что летит. Майкл вытаращил глаза – его сестра Джейн **парила в воздухе**.

Б. Заходер подключает точку зрения детей даже более явно, чем в оригинале, раскрывая их представление о мире, вводя их оценку, и этот прием сопровождается использованием форм настоящего времени в повествовании о прошлом:

P.L.Travers	**Пер. Б. Заходера**	**Пер. М. Литвиновой**
Now, the City was a place where Mr. Banks went every day – except Sundays, of course, and Bank Holidays – and while he was there he sat on a large chair in front of a large desk and made money. All day long he worked, cutting out pennies and shillings and half-crowns and threepenny-bits. And he brought them home with him in his little black bag	Сити – это было такое место, куда мистер Бэнкс ходил каждый день – понятно, кроме воскресений и праздников, – и там он сидел с утра до вечера в большом кресле за большим столом и работал, или, как говорят у нас в Англии, делал деньги. И дети твердо знали, что **папа весь день без передышки трудится**, вырезая шиллинги и пенсы и штампуя монетки в полкроны и трехпенсовики. А по вечерам он приносил их домой в своем черном портфельчике	В Сити мистер Банкс ходил каждый день, кроме, разумеется, воскресений и праздников. Он сидел там на высоком стуле за маленькой конторкой и делал деньги. Весь день он вырезывал пенни и шиллинги, кроны и трехпенсовики. И приносил их домой в маленьком черном чемоданчике

Перевод повести о Мэри Поппинс, выполненный Б. Заходером, в целом превышает по количеству форм настоящего исторического перевод М. Литвиновой. Одновременно он содержит и целый комплекс других средств, воздействующих на внимание невзрослого читателя (это увеличение средств изобразительности, четкая локализация точки зрения наблюдателя, использование прямой речи вместо косвенной, введение русских идиом в текст и т. д. [Уржа, 2014: 479–488]). Аналогичные тенденции проявляются и в переводе цикла повестей К.С. Льюиса «Хроники Нарнии»: так, в широко известном варианте повести «Племянник чародея», предложенном Натальей Трауберг, введение настоящего исторического сопровождается использованием вышеперечисленных приемов (интересно, что этот перевод также считается более свободным по сравнению с вариантом Д. Афиногенова[5]).

Есть ли у настоящего исторического другие «спутники» в художественном переводе? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к жанрам, предназначенным для взрослой аудитории.

[5] Сопоставительный анализ этих вариантов перевода, проведенный участниками спецсеминара А.В. Уржи, размещен на сайте http://urzha.ru/research/webinars/

Ироническое повествование с философским подтекстом

Привлекая внимание читателя к этическим проблемам современности, писатели нередко обращаются к жанру юмористической зарисовки, где за изложением забавных событий умело скрыто философское обобщение с определенной долей морализаторства. В таких произведениях (приведем в пример новеллы О. Генри или повести Дж.К. Джерома) повествователь не «растворяется» в нарративе и не сливается с точкой зрения того или иного героя, это самостоятельное сознание, активно проявляющее себя в тексте: повествователь обращается к читателю, дает оценку происходящему, афористично обобщает сюжетные ситуации. Некоторая искусственность, «сделанность» такого нарратива не смущает читателя, он словно слушает рассказ, где наглядные иллюстрации перемежаются комментариями говорящего.

В русском переводе этих текстов (ориентированных, как мы видим, на иной прагматический эффект) настоящее историческое взаимодействует с рядом других композиционных средств: с генеритивным регистром [Золотова и др., 1998: 30], метатекстовыми вкраплениями, обращениями к читателю. Сдвиг точки зрения с транспозицией временных форм в этом случае «подключает» к иронически-философскому повествованию ту или иную иллюстрацию:

O. Henry 'The Sisters of the Golden Circle'	**Пер. В. Маянц, 1975 г.**	**Пер. В. Азова, 1925 г.**
The Rubberneck Auto **was about ready to start**. The merry top-riders had been assigned to their seats by the gentlemanly conductor. The sidewalk **was blockaded** with sightseers who had gathered to stare at sightseers, justifying the natural law that *every creature on earth is preyed upon by some other creature*<…> But, before a wheel turns, *listen* to a brief *preamble* through the cardiaphone, which shall point out to *you* an object of interest on life's sightseeing tour.	Экскурсионный автобус **вот-вот отправится в путь**. Учтивый кондуктор уже рассадил по местам веселых пассажиров империала. Тротуар **запружен** зеваками, которые собрались сюда поглазеть на других зевак, тем самым подтверждая закон природы, гласящий, что *всякому существу на земле суждено стать добычей другого существа* <…> Однако, прежде чем завертятся колеса автобуса, *послушайте* краткое предисловие к *нашему рассказу*, которое откроет *вам* глаза на нечто, достойное внимания в той экскурсии по жизни, которую *совершаем мы с вами.*	Автобус «Обозрение Нью-Йорка» **готовился тронуться**. Вежливый кондуктор рассадил веселых обозревателей на верхушке. Тротуар **был запружен** зеваками, собравшимися посмотреть на зевак. Так **подтвердился** еще раз закон природы, гласящий, что *всякая тварь на сей земле является добычей другой твари* <…> Но прежде чем колеса начнут вращаться, *выслушайте* краткое предисловие, которое укажет *вам* кое-что интересное в турне, предпринятом для обозрения жизни.

В переводе новеллы О. Генри «Сестры золотого кольца» Вера Маянц последовательно предпочитает формы настоящего (и даже будущего) относительного времени прошедшему нарративному. У нее же мы наблюдаем сохранение всех оригинальных и даже вкрапление дополнительных метатекстовых элементов и обращений к читателю [Сергеева, 2014]. В результате повествование становится более «активным», оно чаще «цепляет» внимание читателя путем прямых и косвенных воздействий на него и побуждает следить за рассказом, оценивать героев вместе с повествователем, раздумывать над его афористичными сентенциями.

Сходную ситуацию мы наблюдаем и при сопоставлении переводов повести Дж.К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)». Два наиболее известных, классических перевода этого произведения (выполненные М. Салье и М. Донским с Э. Линецкой) активно привлекают формы настоящего исторического, тогда как другие переводы не решаются на такую замену, используя прошедшее время[6]:

J.K. Jerome 'Three men in a boat (to say nothing of the dog)	**Перевод М. Донского и Э. Линецкой, 1958 г.**	**Анонимный перевод, ЭКСМО, 2007 г.**
That's Harris all over – so ready to take the burden of everything himself, and put it on the backs of other people. He always reminds me of my poor Uncle Podger. *You never saw* such a commotion up and down a house, in all your life, as when my Uncle Podger undertook to do a job. A picture **would have come** home from the frame-maker's, and **be standing** in the dining-room, **waiting** to be put up; and Aunt Podger **would ask** what was to be done with it, and Uncle Podger **would say**: "Oh, you leave that to ME. Don't you, any of you, worry yourselves about that. I'LL do all that".	В этом – весь Гаррис: он охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно взваливает его на чужие плечи. Он всегда приводит мне на память моего бедного дядюшку Поджера. Ручаюсь, что *вы в жизни не видывали* такой кутерьмы, какая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. **Привозят**, *например*, от столяра картину в новой раме и, пока ее не повесили, **прислоняют** к стене в столовой; тетушка Поджер **спрашивает**, что с ней делать, и дядюшка Поджер **говорит**: «Ну, это уж предоставьте мне! Пусть никто, слышите – никто, об этом не беспокоится. Я все сделаю сам!» Тут он **снимает** пиджак и **принимается** за работу.	Гаррис всегда так: берет сначала все хлопоты на себя, а потом оказывается, что все должны делать другие. Он мне всегда напоминает моего дядю Поджера. Никогда не видел я больше суеты и беспорядка, чем тогда, когда дядя Поджер принимался за какое-нибудь дело. Из магазина **была принесена** большая, вставленная в раму картина и поставлена в столовой. Тетя уже несколько раз **спрашивала**, что с ней делать, и **хотела** сама повесить ее на стену. Но дядя Поджер каждый раз **отвечал**: Нет, нет! Пожалуйста, не беспокойтесь – это мое дело.

[6] В оригинале модальные конструкции с would указывают на предсказуемость действия в прошлом ('pedictable behaviour").

And then he **would take off** his coat, and begin. He **would send** the girl out for sixpen'orth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get; and, from that, he **would** gradually **work down**, and **start** the whole house.	Он **посылает** горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а за нею следом – одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди. С этого момента он **берется** за дело всерьез и **не успокаивается, пока не ставит** на ноги весь дом.	Наконец он **снял** однажды сюртук и **принялся** после обеда за работу. Прежде всего **послана была** в лавку горничная, чтобы купить на шесть пенсов гвоздей, а за нею один из мальчиков, чтобы сказать, какой величины должны быть гвозди. Затем дядя Поджер **поднял** на ноги весь дом…

Сопоставляя варианты перевода, мы видим, что введение иллюстраций в настоящем историческом у М. Донского и Э. Линецкой сопровождается обращением к читателю и метатекстовым оборотом («например»), которые отсутствуют в анонимном переводе[7]. В результате возникает иллюзия непринужденного разговора повествователя с читателем. И в этом случае более «действенными» оказываются иронически-философские обобщения, призванные уже не рассмешить нас, а заставить задуматься: «*Сколько людей, плывущих по реке жизни, рискует затопить свои ладьи, перегружая их всяким нелепым скарбом, который, как им думается, сделает путешествие приятным и удобным... Тут и нарядное платье и огромные дома; бесполезные слуги и толпы светских знакомых… Все это хлам, старина! Выбрось его за борт! Он делает твою ладью такой тяжелой…*».

Отметим, что элемент иронии в подобном повествовании может быть и не связан с юмористическим началом: философская повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» отнюдь не смешна, однако организована сходным образом, и ее переводы на русский язык активно используют настоящее историческое в функциональной «связке» вышеперечисленных элементов.

Однако «оживляющий», активно воздействующий на читателя эффект применения настоящего исторического в повествовании может быть использован и, фигурально выражаясь, «во зло»: он может усиливать эмоциональный стресс, на который нацелено авторское повествование, и такие тексты попадают в третью группу нашей классификации.

---

[7] Низкое качество анонимного перевода, опубликованного в 2007 году, стало поводом к отдельному текстологическому исследованию, в результате которого было установлено, что данный текст является перепечаткой малоизвестного дореволюционного перевода повести (Уржа А.В. «Стиль и синтаксис переводов Дж.К. Джерома (в печати)»).

Произведения с острой социально-психологической проблематикой

Согласно наблюдениям современных нарратологов, использование настоящего исторического является средством, значительно повышающим эмотивность текста или его фрагмента [Bjorling, 2004: 17–36]. Вот почему произведения, написанные целиком или почти **целиком в praesens historicum** («Время ночь» Л. Петрушевской, «Любишь – не любишь» Т. Толстой, «Лаз» В. Маканина, «Лунный тигр» П. Лайвли, «С тех пор» Г. Свифта и др.), реализуют таким образом сюжеты, призванные произвести гнетущее, подавляющее впечатление на читателя: «тотальное» настоящее историческое на протяжении десятков страниц не дает читателю расслабиться и создает ощущение эмоциональной перегрузки, приводит к своего рода стрессу. Англоязычные произведения последних десятилетий, ориентированные на такой эффект, пренебрегают вышеупомянутыми нормами стилистики и намеренно переполняют текст формами praesens historicum (приведем в пример повесть И. Макьюэна ‘Saturday’ 2005 г.). Русские переводчики в этом случае следуют за оригиналом (см. перевод Н. Холмогоровой):

«Он отворачивается от окна, чтобы надеть толстый шерстяной халат, висящий на стуле. И в этот самый момент в его поле зрения появляется что-то новое – какая-то яркая бесцветная точка то ли на площади, то ли между деревьями. Он поднимает халат, просовывает одну руку в рукав, на ощупь находит второй и только тогда, шагнув к окну и затягивая пояс, – видит. Сперва он не понимает, что это такое, то есть ему кажется, что понимает. Его первая мысль – радостная, – что это космическое явление. Метеорит пылает в лондонском небе, двигаясь слева направо, низко над горизонтом, хотя и выше самых высоких домов. Но нет: падучие звезды гаснут мгновенно. А эта движется медленно, даже величественно. Пероун сразу же пересматривает свое представление о расстоянии: нет, этот огонь не в сотнях, а в миллионах миль от Земли, огибает Солнце по вытянутой орбите. Он уже готов разбудить Розалинд – ей интересно будет посмотреть <…>. Он уже делает шаг к кровати, как вдруг слышит тихий, ровный, постепенно нарастающий механический гул. Только теперь он понимает. Оглядывается через плечо, ища подтверждения своей догадке. Да, конечно: комета с такого расстояния казалась бы неподвижной. В ужасе он бросается назад, к окну. Под нарастание механического гула снова переоценивает расстояние, на сей раз в сторону уменьшения, от космической ледяной пыли – к земному

<…> Несмотря на яркое городское освещение, контуры самолета теряются в предрассветной мгле. Горит, должно быть, ближнее крыло, в том месте, где оно соединяется с фюзеляжем, или один из моторов под крылом. Мигают посадочные огни – словно притворяются, что ничего страшного не происходит. Но рев мотора выдает их обман. На фоне обычного глубокого, спокойного гула нарастает другой звук, прерывистый, кашляющий, жуткий, – то ли визг, то ли сдавленный крик, нечистый, смешанный звук, выдающий предельное напряжение металла; он нарастает, он закручивается, он растет и растет, как аккомпанемент к жуткому аттракциону. Сейчас что-то произойдет».

Однако в истории перевода можно обнаружить редкие случаи, когда именно в ходе интерпретации эмоционально насыщенного, «стрессового» текста, написанного в прошедшем времени, русские формы настоящего исторического становятся дополнительным средством усиления психологического накала повествования. Ярким примером подобного решения является интерпретация романа Э. Берджеса «Заводной апельсин», предложенная Е. Синельщиковым (его перевод, опубликованный в журнале «Юность» и произведший сильнейшее впечатление на читателей, также считается более вольным, чем вышедший в том же году перевод В. Бошняка):

Anthony Burgess ‘A Clockwork Orange’	**Пер. Е. Синельщикова, 1991 г.**	**Пер. В. Бошняка, 1991 г.**
I **could feel** the knives in the old moloko **starting to prick**, and now I **was ready** for a bit of twenty-to-one. So I **yelped**: ‘Out out out out!’ like a doggie, and then I **cracked** this veck who **was sitting** next to me and well away and burbling a horrorshow crack on the ooko or earhole, but he **didn’t feel it** and **went on** … So we **scatted out** into the big winter nochy and **walked down** Marghanita Boulevard and then **turned into** Boothby Avenue, and there we **found** what we **were** pretty well **looking for**, a malenky jest to start off the evening with. There **was** a doddery starry schoolmaster type veck, glasses on…	Я чувствую, как скрытые в молоке иголки **начинают** покалывать где-то внизу в штанах. **Вскакиваю** и **ору**: «Камон, камон, камон!» Потом, сам **не знаю** зачем, **двигаю** в ухо выпавшему в осадок мэну рядом, но он этого даже **не замечает**, продолжая бормотать… Мы **высыпаем** из бара в огромную зимнюю ночь и **плывем** по бульвару Марганита, где очень скоро **находим** то, что может развеять скуку. Навстречу нам **порхает** какой-то олд мэн, похожий на больного попугая, только в очках…	Я **почувствовал**, как у меня **пошел** tortsh от ножей в хитром молочишке, и я уже **готов был** изобразить что-нибудь типа «куча-мала». Я **заорал** «Ноги-ноги-ноги!» как зарезанный, **треснул** отъехавшего hanygu по чану или, ***как у нас говорят***, v tykvu, но тот даже **не почувствовал**, продолжая бормотать В общем, **выкатились** мы в зимнюю необъятную notsh и **пошли** сперва по бульвару Марганита, а потом **свернули** на Бутбай-авеню и там **нашли** то, что искали, – маленький toltshok, с которого уже **можно было** начать вечер. Нам **попался** ободранный starikashka, немощный такой tshelovek в очках…

Текст Э. Берджеса, описывающий страшные события, изобилующий сценами насилия, заставляет (так же, как упомянутые выше произведения И. Макьюэна, Т. Толстой, Л. Петрушевской) читателя ощутить себя «на грани» эмоционального срыва, повествование наполнено словами с негативной семантикой, эмотивами и аффективами [Шаховский, 2009: 24–25]. Перенося читателя в хронотоп происходящего, формы настоящего исторического в переводе Е. Синельщикова многократно усиливают впечатление от жестоких сцен. Именно в этом варианте интерпретации изъяты обороты, акцентирующие временную дистанцию между событиями и повествованием, опущены ретроспективные комментарии повествователя к реалиям его времени – ничто не «отгораживает» читателя от ужасающих событий сюжета. Функциональным спутником настоящего исторического в этом случае становится «значимое отсутствие» этих элементов.

Несмотря на кажущееся сходство основания выбора настоящего исторического при переводе произведений первой и третьей группы, стратегии интерпретации в этих случаях принципиально различны: если вкрапление «картинки» в настоящем времени на фоне повествования в прошедшем оживляет текст, то доминирование настоящего исторического на протяжении целого произведения или большой его части утомляет и подавляет читателя (Ф. Бьерлинг сравнивает этот эффект с просмотром большого количества онлайн-новостей по телевизору. Действительно, повествование в настоящем историческом в этом случае приближается к так называемому «репортажному презенсу» [Кругосвет, ср. Падучева, 1996: 290], оформляющему тексты с повышенной эмотивностью). Отметим, что попытки перевести целое приключенческое произведение для детей в praesens historicum не имели успеха ни у маленьких читателей, ни у их родителей[8].

Все рассмотренные нами «ипостаси» настоящего исторического в русских переводных художественных текстах, по-видимому, восходят к одной и той же функциональной роли этих форм в нарративе, сопряженной с выделением информации, с приближением адресата к хронотопу происходящего, с актуализацией повествуемых событий для адресата. Однако, как показал анализ, прагматический эффект использования этой формы в переводе может быть совершенно различным, он зависит от жанра интерпретируемого текста и от набора языковых средств и композиционных приемов, «в связке» с которыми

[8] Приведем в пример перевод повести Люка Бессонна «Артур и минипуты» (более 100 страниц в настоящем времени), судьба которого вызвала обсуждение на конференции «Лингвистика и поэтика» в ИРЯ РАН в 2007 г. и побудила автора статьи провести серию опросов среди читателей.

praesens historicum реализует свою функцию. Перевод приключенческого произведения с вкраплениями настоящего исторического становится более увлекательным, философско-ироническое повествование чаще заставляет читателя задуматься над «иллюстрациями» к размышлениям рассказчика, а социально-психологический текст, где переводчик использует «тотальное» настоящее, производит на адресата более сильное эмоциональное воздействие (порой даже негативное). И в каждой жанровой группе настоящему историческому соответствует свой набор «функциональных спутников»: в первом случае это дейктические средства, слова с перцептивной семантикой, приемы субъективизации; во-втором – метатекстовые обороты, апелляции к читателю, генеритивные сентенции; в третьем – эмотивы и аффективы, слова с негативными коннотациями.

Сопоставление русских вариантов перевода таких произведений демонстрирует, как чуткие к возможностям языка и к замыслу автора переводчики, не боясь отступить от оригинала, используют praesens historicum в качестве элемента продуманной стратегии интерпретации текста, и, как свидетельствуют судьбы переводов (находящиеся уже за пределами научного лингвистического описания), нередко именно такой вариант оказывается наиболее популярен среди той группы читателей, которой он осознанно адресован переводчиком.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 40. 1981. № 4.

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). М., 1971.

Грамматика современного русского литературного языка. М., 1954; 1960.

Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. М., 1998.

Золотова Г.А., *Онипенко Н.К.*, *Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Иванов С.В. Настоящее историческое в современном русском литературном языке: грамматика, прагматика, стилистика: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2001.

Калмыкова Д.И. Лексико-синтаксические средства субъективации текста в русских переводах романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» // Материалы форума «Ломоносов–2013». М., 2013.

Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Масленникова Е.М. Инокультурное бытие текста // Учен. зап. Гуманитарного факультета ПГТУ. Вып. 5. Пермь, 2002.

Немкова В.А. Семантико-синтаксические эффекты насыщения текста личными формами глаголов при переводе (на материале оригинала и английского перевода повести В. Маканина «Лаз») // Материалы форума «Ломоносов–2013». М., 2013.

Падучева Е.В. К интерпретации видо-временных форм в нарративном режиме: настоящее историческое. Материалы конференции «Диалог-2010». URL: http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2010/materials/html/57.htm, 2010.

Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996.

Пентковская Т.В., *Уржа А.В.* Переводческие стратегии в древних и современных текстах: настоящее историческое // Славистика. Вып. XVII. Белград, 2013.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001 (1927).

Розенталь Д.Э., *Теленкова М.А.* Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976.

Сергеева Г.А. Взаимосвязь семантико-синтаксических средств воздействия на читателя в ироническом повествовании О'Генри // Материалы форума «Ломоносов–2014». М., 2014.

Тюняева Д.Б. Житие Андрея Юродивого в славянском переводе XIV века: особенности языка и переводческой техники: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2008.

Уржа А.В. Интерпретация перцептивных фрагментов в переводе для детей: повесть П. Трэверс «Мэри Поппинс» // Русский язык и культура в зеркале перевода. М., 2014.

Успенский Б.А. Поэтика композиции (структура художественного текста и типология композиционной формы). М., 1970.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. М., 2009.

Шмелев Д.Н. Абстрактрое и относительное употребление форм времени русского глагола // Русский язык в национальной школе. 1960. № 6.

Шмелева Т.В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984.

Энциклопедия «Кругосвет». URL: http://www.krugosvet.ru

Bjorling F. As time goes by… Tentative notes on present tense narration in contemporary fiction // Telling forms. Stockholm, 2004.

Brinton L.J. The historical present in Charlotte Bronte's novels: Some discourse functions // Style. Vol. 26. Issue 2. 1992.

Chvany Catherine V. Verbal Aspect, Discourse Saliency, and the So-called 'Perfect of Result' in Modern Russian // Nils Thelin (ed.). Verbal Aspect in Discourse. Amsterdam, 1990.

Huddleston R., *Pullum G.K.* The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, 2002.

Pinker S. The Stuff of Thought. Viking, 2007.

Royster J.F., *Thompson S.* Guide to Composition. Scott, Foresman, 1919.

Сведения об авторе: *Уржа Анастасия Викторовна*, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: English2@yandex.ru

Е Цисун (КНР)

НУМЕРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ ТЕРМИНОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ[1]

В статье анализируется роль, выполняемая элементами со значением числа (нумерическими) в составе терминов в китайском языке в сопоставлении с подобными единицами в русском языке. Исследование показывает, что нумерические элементы обладают в каждом из них двумя семантическими функциями – количественно-определяющей и количественно-комплектной, но при этом нумерический элемент с функцией второго типа употребляется в китайском языке гораздо чаще, чем в русском. Это свидетельствует о том, что научная картина мира, надстроенная над языковой («наивной») и пересекающаяся с ней, обладает национальным своеобразием.

Ключевые слова: китайский язык, русский язык, терминология, когнитивное терминоведение, научная картина мира, семантические функции, нумерические элементы.

The article has as its focus the semantic purport of numeric units as elements of the semantic structure of Chinese scientific terms comparing them with similar units in Russian. Our research shows that in both languages numeric elements participating in term formation can have two meanings – numeric-modifying and numeric-inclusive, but numeric elements with the second meaning are used much more frequently in Chinese than in Russian. We consider it as an evidence that the scientific world mapping, constructed on the basis of naive world mapping and interconnected with it, is not the same for different nations being nationally and culturally specific rather than universal.

Key words: Chinese, Russian, terminology, cognitive terminology, scientific mapping of the world, semantic functions, numeric elements.

Современная лингвистика характеризуется параллельным существованием нескольких научных парадигм, которые могут быть подведены под научный макропарадигмальный принцип антропоцентризма [Кубрякова, 1994: 14; Кибрик, 2003: 102–106; Маслова, 2008: 11–18]. Среди них весьма перспективным направлением считается когнитивная лингвистика. За последние 10–20 лет лингвокогнитивный подход

[1] Я благодарю И.М. Кобозеву, прочитавшую первый вариант данной статьи и высказавшую ряд ценных замечаний, которые были учтены при подготовке окончательного варианта. Разумеется, вся ответственность за возможные недочеты данной работы лежит на мне.

был применен к анализу языковых явлений, принадлежащих разным уровням языковой системы, что привело к появлению когнитивной фонетики, когнитивной лексикологии, когнитивной грамматики, когнитивной семантики, а также и когнитивного терминоведения, появившегося на стыке когнитивной лингвистики и общего терминоведения в конце 90-х годов прошлого века [Temmermen, 1997; 2000: 219–237; Alexeeva, 2003: 65; Новодранова, 2006: 82–84; Голованова, 2011: 11–45][2].

Выделение когнитивного подхода к термину как нового направления в терминоведении, обусловлено «выдвижением на передний план проблем соотношения языковых структур с ментальными структурами, отражающими особенности человеческого опыта и деятельности, вопросов представления в языке различных типов знания – обыденного и научного, ассоциативно-образного и национально-логического» [Голованова, 2011: 6]. Терминология любой научной или профессиональной области представляет собой часть (подъязык) национального языка и отражает систему знаний, зафиксированных соответствующей профессиональной группой носителей национального языка в определенный момент истории народа. Естественно предположить, что отражаемое в терминологических подсистемах научное и профессиональное мировидение обладает национальной и культурной спецификой, в том числе и той, которая, так сказать, наследуется от общей языковой картины мира. Структурная и семантическая специфика терминологии той или иной области науки на каком-либо национальном языке в особенности остро ощущается в процессе перевода терминологии той или иной науки или профессиональной сферы деятельности на другой язык. Об этом В.А. Звегинцев писал еще в 60-х годах прошлого века в предисловии к русскому переводу словаря лингвистических терминов французского ученого Ж. Марузо: «Всякий словарь научной терминологии является выражением научного мировоззрения. Именно в силу этого обстоятельства перевод подобного вида словарей сопряжен с огромными трудностями… Дело усложняется еще тем, что различные языки обычно используют неоднородные терминологические номенклатуры разной степени разработанности, ориентирующиеся на часто далекие друг от друга научные традиции и в разной мере использующие интернациональные и исконные лек-

[2] Некоторые когнитивные или гносеологические свойства термина привлекли внимание терминоведов уже в начале 90-х годов [Sager, 1990: 13; Гринев, 1993: 216–229].

сические элементы» [Звегинцев, 1960: 6]. Степень сложности еще увеличивается, если речь идет о таких далеких друг от друга как в чисто лингвистическом, так и в культурологическом отношении языках, как, например, русский и китайский.

В данной работе объектом внимания являются термины, в составе которых один из компонентов обозначает число. С точки зрения культурологии число – это элемент особого кода, с помощью которого описывается мир. Этот код помогает найти путь к глубинным слоям социально-духовной идентичности каждого народа. Рассмотрению числа как важного концепта русской языковой картины мира и описанию его мифологических, культурных и языковых характеристик посвящены работы не только русских ученых [Степанов, 1989а; 1989б; 1997: 363–426; Маслова, 2004: 99–104], но и китайских русистов, см., напр. [Шичжан Ян, 2001]. Но в то же время лингвокогнитивный анализ числа как элемента научной картины мира, отраженной в китайской терминологии, насколько нам известно, до настоящего времени не проводился.

Для того чтобы увидеть особую роль, выполняемую в китайских терминах элементами с семантикой количественного числительного (далее для краткости – нумерическими элементами), удобнее сначала рассмотреть аналогичные по семантике элементы в составе русских терминов. Как и в других языках европейского стандарта, в русском языке нумерические элементы представлены в виде префиксоидов греческого или латинского происхождения, среди которых особенно активно участвуют в образовании терминов следующие: *амби-* ([лат.] «оба, с двух сторон, двойственность, двоякий»), *би-* ([лат.] «два, двойной»), *гекто-* ([гр.] «сто»), *геми-* ([гр.] «полу, наполовину»), *дека-* ([гр.] «десять, 10^1»), *ди-* ([гр.] «два, двойной»), *квадр*(*и*)- ([лат.] «четыре, четверной»), *кило-* ([гр.] «тысяча, 10^3»), *микро-* ([гр.] «малый, маленький, 10^{-6}»), *милли-* ([лат.] «тысячная доля, 10^{-3}»), *моно-* ([гр.] «один, единственный»), *уни-* ([лат.] «один, единственный») и т. п. [Абрамова, 2011]. Такие префиксоиды исчисляются десятками, и в научных текстах на русском языке содержащие их термины встречаются с высокой частотностью:

(1) – *амбивалентный*, *билингвизм*, *бинарность*, *бирема*, *гемината*, *дилогия*, *дисиллаб*, *монорема*, *монолог*, *моносемия*, *унификация* (языкознание);

– *амфибрахий*, *декалог*, *диподия*, *дистих*, *моногерой* (литературоведение);

– *амбидекстрия*, *амбицептор*, *амфикрания*, *бигеминия*, *гемиагевзия*, *гемианестезия*, *дивакцина*, *квадрипарез*, *моноавитаминоз* (медицина);

– *амбиплазма*, *бигармонический*, *гектограмм*, *гектометрический*, *декагон*, *дивектор*, *квадрика*, *килономер*, *монодромия*, *унимулярный* (математика)

Не менее употребительными при терминообразовании оказываются и исконно русские нумерические префиксоиды: *одно-*, *двое-*, *дву*(*х*)-, *тре*(*х*)-, *три-*, *трое-* и некоторые другие. Чтобы убедиться в их продуктивности, достаточно хотя бы поверхностного взгляда на лингвистическую терминологию, где такие термины, как *двоеточие*, *двугласный*, *двугубный*, *двуосновный*, *двусказуемость*, *двуслоговый*, *двусложный*, *двусмысленный*, *двусоставность*, *двусторонний*, *двухвершинность*, *двухфокусный*, *двуязычие*; *одновременность*, *однозначный*, *однокорневой*, *однократный*, *однородный*, *однотипный*, *одноязычие*; *трехсложный*, *триптот*, *трисиллаб*, *троегласный* и другие составляют довольно значительную группу.

Нумерические элементы используются в терминотворчестве и в китайском языке, и они часто выполняют роль префиксоидов в образуемых терминах, почти аналогичную с приведенными выше русскими примерами. В лингвистической терминологии на китайском языке существует немало таких терминов, например:

(2) 一价的 «одновалентный», 单音节 «односложное (слово)», 单音步 «одностопный (стих)»; 二分（法） «дихотомия», 双语的 «двуязычный», 双言制 «диглоссия» или «двуязычие» , 复音 «диплофония», 双唇音 «билабиальный (согласный)»; 三合元音 «трифтонг», 三合字母 «триграф», 三音步 «триметр» и т. п.

При функциональном сходстве нумерических элементов в структуре приведенных русских (1) и китайских (2) примеров, термины на двух языках, на самом деле, образованы по разным словообразовательным моделям. Русские примеры в (1) по своему способу словообразования – сложносуффиксальные, их словообразовательная структура формируется так: основа числительного (нумерический элемент) + основа существительного + суффикс. А китайские примеры в (2) образуются сочетанием двух слов, одно из которых имеет нумерическую семантику и состоит из одной морфемы, например, 一 (*одно-*), 二 или 复, или 双 (*дву*(*х*)-), или из двух морфем, например, 三合 (*санхэ*, *три-*), где вторая морфема фактически не имеет значения, а другое – ненумерическую.

Но в научном китайском дискурсе существует большая группа терминов, в составе которых нумерические элементы выступают в нетипичной для европейских языков функции. В нижеследующих примерах в скобках дается буквальный перевод составных частей термина:

(3) – 一化 (*и хуа* ‘одна черта’), 两仪 (*лян и* ‘двоица образов’), 二谛 (*эр ди* ‘две истины или двойственная истина’), 三纲 (*сань ган* ‘три устоя’), 四象 (*сы сян* ‘четыре символа’), 五常 (*у чан* ‘пять постоянств’), 五行 (*у син* ‘пять элементов, пять стихий, пять действий, пять фаз, пять рядов’), 六合 (*лю хэ* ‘шесть соединений’), 八识 (*ба ши* ‘восемь видов сознания’), 九畴 (*цзю чо*у ‘девять разделов, девять предначертаний Великого плана’) (древнекитайская философия);

– 四声 (*сы шэн* ‘четыре тона’), (文房）四宝 ((*вэньфан*) *сы бао* ‘четыре драгоценности (кабинета ученого)’), 五音 (*у инь* ‘пять ступеней пентатоники’), 六书 (*лю шу* ‘шесть категорий знаков’), 八病 (*ба бин* ‘восемь болезней [стиха]’), 九章 (*цзю чжан* ‘девять напевов или девять элегий’) (филология);

– 六藏 (*лю цзан* ‘шесть присвоений’), 五服 (*у фу* ‘пять сроков (ношения траура)’) 五刑 (*у син* ‘пять видов наказаний’), 八议 (*ба и* ‘восемь суждений или восемь оснований [для рассмотрения дела в особом порядке]), 十恶 (*ши э* ‘десять зол (злодеяний, непрощаемых преступлений)’) (правоведение);

– 三民主义 (*сань минь чжуи* ‘три народных принципа’), 三个代表 (*саньгэ дайбяо* ‘концепция / идея «трех представительств» / «тройного представительства»’), 四清 (*сы цин* ‘четыре чистки’), 五反 (*у фань* ‘пять злоупотреблений или пять отрав’, 六部 (*лю бу* ‘шесть ведомств’), 八荣八耻 (*ба жун ба чи* ‘восемь славных и восемь позорных дел’) (социально-государственное управление)

– 三焦 (*сань цзяо* ‘тройной обогреватель’), 四诊 (*сы чжэн* ‘четыре метода осмотра’), 五脏 (*у цзан* ‘пять внутренностей’), 六腑 (*лю фу* ‘шесть полостей’), 七情 (*ци цин* ‘семь эмоций’), 十剂 (*ши ци* ‘десять [видов] лекарств’) (народная медицина Китая)

– 两端 (*лян дуань* две стороны), 九数 (*цзю шу* девять вычислений), (математика)

Оценивая эту группу терминов и сопоставляя ее с приведенной выше группой (2), обратим внимание на то, что они, приднадлежа к одному и тому же словообразовательному типу, существенно различаются в семантическом аспекте. Это различие мы можем показать на примере русских лингвистических терминов группы (1), аналогичных китайским терминам группы (2) по семантической структуре. Так,

бирема, *двусказуемость*, *триптот* и т. п. выражают общее научное понятие, под которое подводятся все сущности или свойства, удовлетворяющие условиям, заданным в толковании (определении) этого понятия. Определения этих понятий строятся по общей схеме: ближайшее родовое понятие (genus proximum), обозначаемое родовым термином (гиперонимом), гипонимом которого является толкуемый термин, плюс свойства, выделяющие вид из рода (differentia specifica). Это нетрудно увидеть, обратившись к толкованиям соответствующих терминов, например, в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: [Ахманова, 1966].

Бирема: ***Высказывание***, *состоящее из двух частей* [всякое **высказывание**, отвечающее условию: состоять из 2 частей]*;*

Двусказуемость: Выражение ***предикации*** *сочетанием двух глаголов или глагола и имени* [Свойство любой **предикации**, отвечающей условию: быть образованной сочетанием 2 глаголов или глагола и имени]*;*

Триптот: ***Слово***, *парадигма склонения которого состоит из трех падежных форм* [Всякое склоняемое **слово**, отвечающее условию: его парадигма состоит из 3 падежных форм].

Как мы видим, нумерический элемент входит в формулировку условий применимости термина к любой сущности, относящейся к соответствующему роду (классу, типу).

Что же касается китайских терминов группы (3), то они функционируют как собственные имена уникальных совокупностей, состоящих из вполне определенных и при этом разных сущностей (стихий, законов и т. е.), например: «*двоица образов*» (*лян и*) в древнекитайской философской состоит из двух разных начал – 阴 (*инь*) и 阳 (*ян*), термином «четыре тона» филологи обозначают набор тонов, свойственных китайской фонетике: 平 (*пин*, ‘ровный’), 上 (*шан*, ‘восходящий’), 去 (*цюй*, ‘уходящий или падающий’) и 入 (*жу*, ‘входящий’); термин «шесть присвоений» (*лю цзан*), употребляемый в правоведении древней эпохи, репрезентирует шесть конкретных видов преступлений против имущества, а именно, 强盗 (*чан дао*, ‘грабеж’), 窃盗 (*чье дао*, ‘кража’), 受财枉法 (*шоу цай ван фа*, ‘получение взятки с нарушением закона’), 受财不枉法 (*шоу цай бу ван фа*, ‘получение взятки без нарушения закона’), 受所监临 (*шоу со цзянь линь*, ‘получение имущества в сфере полномочии’), 坐赃 (*цзо цзан*, ‘незаконное присвоение’); термин «семь эмоций» (*ци цин*) в народной медицине Китая имеет в виду семь конкретных эндогенных факторов, вызывающих заболевания, а именно: 喜 (*си*,

‘радость’), 怒 (*ну*, ‘гнев’), 忧 (*ю*, ‘грусть’), 思 (*сы*, ‘вожделение’), 悲 (*бэй*, ‘печаль’), 恐 (*кун*, ‘страх’), 惊 (*цзин*, ‘испуг’) и т. д. Нумерическая графема в составе этих терминов функционирует не как часть условий применимости термина (чего-то должно быть в количестве N), а только как элемент внутренней формы терминологического имени собственного, символизирующий количество компонентов в составе именуемой конкретной определенной совокупности, причем часто это не просто совокупность, а целостная система или комплект взаимодополняющих элементов, и нельзя ни добавить, ни убавить, ни заменить хотя бы один элемент этого комплекта. Таким образом, в составе терминов второй группы нумерический элемент *N*, присоединяясь к общему имени *X*, создает собственное имя комплекта вида *NX*, состоящего из ‘N’ определенных конкретных компонентов, относящихся к типу ‘X’.

«Комплектное» значение таких терминов иногда отражается в их толкованиях. В примерах ниже цитируются фрагменты текстов из энциклопедии «Духовная культура Китая: энциклопедия (в 5 томах)» под редакцией М.Л.Титаренко [Духовная культура Китая, 2006]:

У син *– «пять элементов»* (*«пять стихий»*, *правильнее*, *– «пять действий»*, *«пять фаз» или «пять рядов»*). *Одна из основополагающих категорий кит. философии*, *обозначающая универсальную* ***классификационную схему***, *согласно к-рой основные параметры мироздания – пространственно-временные и двигательно-эволюционные – имеют пятичленную структуру …*

Ба бин *– «восемь болезней* [*стиха*] *». Общее название* ***теории*** (*в частности*, *правил просодии*), *разработанные Шэнь Юэ для лирической поэзии…*

Ши э *– «десять зол* (*злодеяний*, *непрощаемых преступлений*)*». Среди многообразия социально нежелательных действий китайское право выделяло* ***ряд*** *деяний*, *к-рые считались наиболее опасными и отвратительными…*

Сань юань, р ши ба сю (*три стены / ограждения и двадцать восемь обителей*) *– традиционная* ***система*** *центральных и зодиакальных созвездий – «звездных управ / соединений»* (*син гуань*), *которые могли состоять из одной звезды.*

Слова *классификационная схема*, *теория*, *ряд*, *система* в приведенных толкованиях дают основание рассматривать эти термины как комплектные. Даже в тех случаях, когда при образовании термина вида *NX* в качестве *N* употребляется нумерический элемент 一 (*и*, ‘один’), он не просто указывает на одноэлементность множества

объектов типа ‘X’, но, в сущности, воплощает понимание этого элемента как единственного первичного начала или фундамента для дальнейшего мышления. Именно по этой причине нумерический знак 一 (*и*) в составе терминов часто переводится на русский язык как «единый», ср.: 一身 (*и шэнь*, ‘единотелесный [атрибут]’), 一元 (*и юань*, ‘единое первоначало’), 一体 (*и ти*, ‘единое тело’), 一心 (*и синь*, ‘единое сердце или сознание’) и т. п.

Возвращаясь к русскому языку, следует признать, что термины, включающие нумерический элемент с аналогичной комплектной семантикой, в нем тоже встречаются, но существенно реже. Например, в богословии термин *Пятикнижие* обозначает не любой объект, состоящий из пяти книг, но пять первых книг канонической еврейской и христианской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; термином *семибоярщина* в исторической науке называют переходное правительство из семи вполне определенных бояр, образовавшееся летом 1610 года (князья Ф.И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков, И.Н. Романов, Ф.И. Шереметев), спортивные термины *пятиборье*, *шестиборье* именуют соревнования соответственно по пяти, шести определенным видам спорта. Если рассматривать не только однословные термины-композиты, но и терминологические словосочетания, то среди них комплектным будет, например, *десять заповедей* (*декалог*) – десять основных законов, которые, согласно Пятикнижию, были даны самим Богом Моисею, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта. Если обратиться к однословным терминам, образованным от основы числительного, то здесь мы найдем, например, богословский термин Троица, обозначающий единство трех разных ипостасей бога. Обратим внимание на то, что близость такого рода терминов к именам собственным в русском языке отражается в их написании. Большинство из них пишется с заглавной буквы, но существуют и отклонения от этой закономерности, ср. *семибоярщина* и *десять заповедей*, которые графически оформляются как имена нарицательные, обозначающие уникальные объекты (ср. *солнце*, *луна*). Такие термины употребляются преимущественно в областях, имеющих давнюю традицию, например, богословии, исторической науке и т. п., что имеет общие черты с китайским языком, так как большая часть китайских терминов в (3) также относится прежде всего к областям традиционным: древнекитайской философии, филологии древнекитайского языка, древнему правоведению,

традиционной медицине и т. п., но находит отражение также и в областях, не маркированных по принадлежности к традиции, например, в социально-государственном управлении[3]. Несомненно, что комплектное употребление нумерических элементов в русском научном дискурсе, уступает китайскому языку в частотности и универсальности. Стабильная комплектная интерпретация приобретается нумерическими элементами в китайском языке зачастую благодаря тому, что структурно тождественная классификационная схема повторяется в целом ряде наук и областей, что приводит к формированию ряда терминов, содержащих единицу с одинаковым комплектным нумерическим значением. Так, под влиянием общего учения *«у син»* появился затем целый цикл терминов, отражающих представления о пятеричном устройстве не только физического мира, но и духовного и социально-политического мира, например, 五方 (*у фан*, ‘пять сторон’), 五风 (*у фэн*, ‘пять ветров-направлений’), 五才 (*у цай*, ‘пять материалов’), 五季 (*у цзи*, ‘пять основ времени’), 五气 (*у ци*, ‘пять пневм’), 五福 (*у фу*, ‘пять благ, пять [проявлений] счастья’), 五事 (*у ши*, ‘пять дел’) и т. п. Аналогичные примеры с присутствием фундаментального числа 8 (восемь) можно обнаружить во почти всех научных областях, например: 八方 (*ба фан*, ‘восемь стран и полустран света’), 八政 (*ба чжэн*, ‘восемь административных дел’), 八法 (*ба фа*, ‘восемь законов’), 八世 (*ба ши*, ‘восемь веков’), 八代 (*ба дай*, ‘восемь эпох’).

Таким образом, научные термины в китайском и русском языках, имеющие нумерические элементы в своем составе, семантически подразделены на две группы: в первой из них нумерический элемент уточняет общее научное понятие, содержательно доминирующее в структуре толкования термина, конкретизируя его семантику в количественном аспекте, а во второй из них нумерический элемент создает собственное имя уникальной совокупности конкретных определенных разнородных сущностей. Эти две группы терминов распределены в упомянутых языках существенно по-разному. Точнее говоря, если в русском языке науки термины первой группы во много раз превосходят количественно термины второй группы, то в китайском языке науки, особенно в традиционных областях научного познания, более распространены термины второй группы.

---

[3] В русском языке тоже есть относительно новые термины с комплектной нумерической семантикой, например, термин международной политики *Большая восьмерка*, обозначающий восемь конкретных экономически развитых держав мира, который представляет собой идиоматическое сочетание с нумерическим элементом в виде количественного существительного.

Из вышесказанного следует, что когнитивно-семантический подход к исследованию терминов помогает выявлению специфичности категоризации и концептуализации разными народами внешнего мира, в результате чего формируются разные языковые картины мира, что находит отражение на уровне не только обыденного, но и научного знания, так как последнее не отделено от первого, а скорее, надстроено над ним, и поэтому отчасти наследует ему. Научное мировосприятие, рассматриваемое через призму терминологии, несмотря на высокую степень универсальности, тоже различается у разных народов и имеет более или менее явную национальную специфику.

Список литературы

Абрамова А.В. Словарь терминоэлементов (составных частей сложных слов). М., 2011.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение (Учебное пособие). М., 2011.

Гринев С.В. Введение в терминоведение. М., 1993.

Духовная культура Китая: Энциклопедия (в 5 т.) / Ред. М.Л. Титаренко. М., 2006.

Звегинцев В.А. Предисловие // Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.

Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. СПб., 2003.

Кубрякова Е.С. Парадигма научного знания в лингвистике и ее современный статус // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. № 2.

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику (Учебное пособие). М., 2004.

Маслова В.А. Современные направления в лингвистике (Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений). М., 2008.

Новодранова В.Ф. Когнитивное терминоведение // Татаринов В.А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь. М., 2006.

Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // Вопросы языкознания. 1989. № 4 (1989а).

Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // Вопросы языкознания. 1989. № 5 (1089б).

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.

Шичжан Ян. Модель числа как фрагмент русской языковой картины мира. М., 2001.

Alexeeva L.M. Interaction between Terminology and Philosophy // Terminology Science & Research . Vol. 14. 2003.

Sager J.C. A practical course in terminology processing. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1990.

Temmermen R. Questioning the univocity ideal. The difference between socio-cognitive Terminology and traditional Terminology // Hermes (Journal of linguistics). 1997. Vol. 18.
Temmermen R. Toward new ways of terminology description: the sociocognitive approach. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2000.

Сведения об авторе: *Е Цисун*, доктор филологических наук, доцент, научный сотрудник Центра изучения русской филологии и культуры Хэйлунцзянского университета (Харбин, КНР). E-mail: yeqisong@163.com

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Л. ПАСТЕРНАКА

И.В. Романова

УСТОЙЧИВЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Б.Л. ПАСТЕРНАКА О ВОЙНЕ[1]

Статья отражает опыт применения оригинального программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте», который позволяет обнаружить повторяющиеся лексические комбинации в творчестве того или иного автора и установить неочевидные межтекстовые связи. В стихотворениях Пастернака о войне частотная лексика и лексика, входящая в состав устойчивых лексических комбинаций, не входят в тематическую группу «война».

Ключевые слова: лексические комбинации, поэтический мир, тематическая группа «война», межтекстовые связи.

The article reflects experience of application of the original software system “Hypertext Search for Companion-Words in Author's Texts” which allows to find duplicate lexical combinations in the works of an author and install non-obvious intertextual connections. In Pasternak’s poems about the war frequency lexemes and lexemes, which is a part recurring lexical combinations, not included in the thematic group “war”.

Key words: lexical combinations, poetic world, thematic group “war”, intertextual connections.

Весть о Первой мировой войне Пастернак встретил в Петровском на Оке, где жил на даче у Балтрушайтисов, давая частные уроки их сыну Жоржику и занимаясь на досуге переводом Г. Клейста. Его потрясло вероломство горячо им любимой Германии, страны поэтов и философов, куда он сам еще так недавно ездил на кафедру к Герману Когену. Свою оценку происходящему он выразил в письме родителям так: «…стоячий как кошмар, цельный и непроницаемый хаос» [Пастернак, 2005: 192]. Война докатывалась до Пастернака своими отголосками: о ней напоминали бесконечные военные поезда, солдаты, ведущие себя, как гимназисты-«камчаточники» на перемене

[1] Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности. Проект № 2882: Изучение филологических проблем точными методами.

перед уроком греческого, бабьи причитанья, плачи, истерики [там же: 193–194]. Написав об этом впервые в письме к родителям, Пастернак позже зафиксирует эти впечатления в «Охранной грамоте». За месяц до начала войны Пастернак получил белый билет из-за сломанной в детстве и сросшейся с укорочением ноги, но все же попытался записаться в добровольцы. Его отговорили.

В лирике Первая мировая война отозвалась в стихотворении «Дурной сон» (1914). Никаких батальных сцен. Крупным планом дана метафизическая картина сна небесного постника, образ которого не связан с традиционными христианскими представлениями. Это образ вселенского исполина, выполненный в духе универсального пастернаковского приема очеловечивания природы, уходящего своими корнями в мифологическое мышление. Текст пронизан изображением вьюги, пробирающего все насквозь ветра, которые в поэтическом мире Пастернака связаны с представлениями о враждебности окружающего мира по отношению к человеку, торжестве темных сил, смуте, общественной катастрофе (такие значения вьюги наблюдаются, например, в стихотворении «Метель», романе «Доктор Живаго», стихотворении «Зимняя ночь» и т. д.). Всепроникаемость этой вьюги-катастрофы подчеркивается с помощью повторов и амплификации – перечислительных рядов, аллитераций и звуковых повторов:

Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.
Полями, по воздуху, сквозь околесицу,
Приснившуюся небесному постнику.

[Пастернак, 2003: 76]

Мир представлен в стихотворении как истерзанное болезнью тело гигантского существа: «десны безносых трущоб»; высь «зевает» «во всю ее бездну»; месяц – «серебряный слиток глотательной впадины», он «гундосый и сиплый», «с кровью заглочен хрящами развалин». К тому же это существо мучит навязчивый «дурной сон» о выпадении зубов, и развалины мира представляются огромным шамкающим ртом:

Он видит: попадали **зуб**ы из челюсти,
И шамкают замки, поместия с пришептом,
Все вышиблено, ни единого в целости,
И постнику тошно от стука костей.
От **зуб**ьев пилотов, от флотских тре**зуб**цев,
От красных за**зуб**рин карпатских **зуб**цов.

[Там же]

Традиционно выпадение зубов во сне связано с предчувствием болезни, смерти, потери, с ощущением агрессии, тяжкого бремени.

Стихотворение Пастернака суггестивно. На первый взгляд, немотивированное вначале предчувствие беды во сне ближе к концу текста обретает более конкретные черты, маркирующие тему войны. Сначала небесный месяц уподобляется жуткой отстрелянной культе:

Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, **картечиной** напрочь **отстреленной**.
Его отожгло, как отёклую тыкву.
<…>
Он сорван был **битвой** и, **битвой** подхлестнутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса <…>

[Там же: 77]

Тревожный шум вьюги, к которому следует прислушаться, постепенно сливается со звуками выстрелов («Расскальзывающаяся артиллерия // Тарелями ластится к отзывам ветра»; «слова лафетов») и скрежетом и стоном санитарного поезда, переполненного человеческими страданиями («мелькая бинтами в желтке ксероформа»). Так в финале стихотворения оказывается образ военного поезда, в котором воплотилось реальное впечатление Пастернака от начала войны. Эти «переполненные поезда» появляются и в стихотворении 1914 г., начинавшемся стихом «Осень. Отвыкли от молний», которое было забраковано военной цензурой и не восстановлено поэтом [Пастернак, 2003: 463, 749].

Война в стихотворениях Пастернака 1910-х годов только предчувствуется и явлена лирическому субъекту больше через свои косвенные, символические атрибуты. Изображение событий оттесняется их субъективным восприятием, суггестией.

В книгу стихов Бориса Пастернака «На ранних поездах» (1936–1944) входит раздел, состоящий из 16 стихотворений, «Стихи о войне». Во время Великой Отечественной войны семья Пастернака жила в эвакуации в Чистополе, а сам он разрывался между Москвой и Чистополем, проходил военные учения, ездил на фронт в составе писательской бригады.

Для автоматизации обработки художественных текстов с целью составления частотных словарей поэтического языка и выявления повторяющихся лексических комбинаций, возникающих в нескольких произведениях автора, но не обнаруживаемых другим способом, мы использовали специально разработанный оригинальный программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» [Павлова, Романова, 2013: 34–42].

Примечательно, что в лексике поэтических текстов «Стихов о войне» слово *война* встречается всего один раз, соответственно

никаких повторяющихся лексических комбинаций образовывать не может. То же можно сказать и про лексику тематической группы «война» – она немногочисленна и по своему наполнению, и по частоте употребления (*пуля*, *разведчик*, *победа*, *смерть* встречаются по четыре раза, по три*: армия*, *обстрел*, *победитель*, *подвиг*, *противник*, *пункт*, *ранить*, *снаряд*). Среди самых частотных минимальных тем *дом*, *дети*, *жизнь*, *земля*, *небо*, *рука*, т. е. ценности частной жизни, семьи. К ним примыкают минимальные темы: *русский*, *деревня*, *сад*, *дерево*. Это темы мирной жизни, созидания. Возможно, такие темы военных стихотворений были продиктованы тревогой Пастернака о судьбе собственной семьи: летом 1941 г. его старший сын Евгений сразу после окончания школы был отправлен на рытье окопов под Смоленск, в 1942 г. – на фронт; старший сын второй жены Пастернака Зинаиды Николаевны Нейгауз лежал в больнице в Москве, к которой подступали вражеские войска, ее младший и их общий сыновья попали в интернат в эвакуации. Пастернак принимал деятельное участие в судьбе Цветаевой и Ахматовой и многих других близких ему людей. Страшно переживал гибель отцовского и его собственного архива в доме в Лаврушинском переулке, занятом артиллеристами.

Большинство частотной лексики его стихов о войне носит экзистенциальный, обобщающий характер: *жизнь*, *земля*, *небо*, *бог*. Пастернак акцентирует внимание на теме времени (частотные лексемы *время*, *день*, *век*, *год*). Этот круг тем характерен для размышлений зрелого Пастернака о развитии истории и природы, о закалившемся в бесчисленных испытаниях русском характере, о чуде человеческой жизни. Все это в развернутом виде получит воплощение в романе «Доктор Живаго».

Отсутствие частотной специфически военной лексики объясняет образованных с ее помощью устойчивых лексических комбинаций. Дважды – в стихотворении «Преследование» и в неоконченной поэме «Зарево» – встречается шестикомпонентная комбинация *встречать – гореть–каждый–пламя–падать–припомнить*.

«Зарево»	**«Преследование»**
И вещи **каждую** минуту Все сказочнее и неведомей В зеленом зареве салюта.	Везде **встречали** нас известия, Как, все растаптывая в мире, Командовали эти бестии, Насилуя и дебоширя.
Все смотрят, как ракета, **падая**, Ударится о мостовую, За холостою канонадою **Припоминая** боевую.	От боли **каждый**, как ужаленный, За ними устремлялся в гневе Через **горящие** развалины И **падающие** деревья.

На улице светло, как в храмине, И вид ее неузнаваем. Мы от толпы в ракетном **пламени** **Горящих** глаз не отрываем. 2 В пути из армии, нечаянно На это зарево наехав, **Встречает** кто-нибудь окраину В блистании своих успехов. [Пастернак, 2003: 361]	Деревья **падали**, и в хворосте Лесное **пламя** бесновалось. От этой сумасшедшей скорости Все в памяти перемешалось. Своих грехов им прятать не во что. И мы всегда **припоминали** Подобранную в поле девочку, Которой тешились канальи. [Пастернак, 2003: 368–369]

Ситуация в этих текстах противоположная: мирная – в первом и военная во втором. *Горение*, *пламя* и *падение* связано со снарядами и последствиями их разрывов, но в первом случае это холостая ракета, во втором – сражение. *Каждый* в первом тексте характеризует время (мгновение), во втором – участников событий. Обращает на себя внимание неочевидный в данном тематическом ряду общий мотив *припоминания* – в каждом случае чего-то страшного, а также мотив *встречи*. *Встречают* героев то приятные впечатления, то новости об очередных бесчинствах врага.

Пятикомпонентное сочетание **два – дом – окружать – пуля – вдруг** позволяет установить связь текстов «Застава» и «Разведчики». Действующие лица в обоих фрагментах – *две* женщины и *два* бойца. Окружающая женщин обстановка (деревья *вокруг* блиндажа, возвращение к городскому *дому*) – менее критическая и смертоносная, чем в стихотворении «Разведчики» (героическая гибель от *пули* товарища, *окружение* неприятелем, попадание снаряда в *дом*). *Вдруг* в обоих случаях связано с неожиданным выстрелом (взрывом).

«Застава»	**«Разведчики»**
Деревья **окружат** блиндаж. Войдут **две** женщины, робея, И спросят, наш или не наш, Ловя ворчанье из траншеи. Украдкой, ежась, как в мороз, Вернутся горожанки к **дому** И позабудут бомбовоз При зареве с аэродрома. Они увидят, как патруль, Меж тем как пламя кровель светит, Крестом трассирующих **пуль** Ночную нечисть в небе метит. И **вдруг** взорвется небосвод, И, догорая над поселком, Чадящей плашкой упадет Налетчик, сшибленный осколком. [Пастернак, 2003: 355–356]	Как **вдруг** его сразила **пуля**. Их снова **окружили** кучею. **Два** остальных рукой махнули. Теперь им гибель неминучая. Вверху задвигались стропила, Как бы в ответ их маловерию, Над **домом** крышу расщепило Снарядом нашей артиллерии. **Дом** загорелся. В суматохе Метнулись к выходу **два** пленника, И вот они в чертополе Бегут задами по гуменнику. [Пастернак, 2003: 371]

На внутреннюю близость стихотворений «Старый парк» и «Ожившая фреска» указывает повторяющаяся лексическая комбинация *вдруг – детство – мальчик – дом – рама.* Тексты объединяет сюжетная ситуация: военное настоящее неожиданно (*вдруг*) вызывает в памяти героя картины прошлого, связанные с *детством* (где он *мальчик*). *Дому* отцов и старому парку в одном стихотворении соответствуют монастырский сад и часовня посреди разрушенных *домов* в другом. Упоминание славянофилов в «Старом парке» перекликается с описанием фресок православного храма в «Ожившей фреске». Несколько неожиданно в этом ряду повторное упоминание *рам*. В обоих случаях они связаны с воспоминанием и ассоциативным впечатлением, но в первый раз – с приятным, мирным, второй – с неприятным, чужеродным и тревожным.

«Старый парк»	«Ожившая фреска»
Мальчик маленький в кроватке, Бури озверелый рев. Каркающих стай девятки Разлетаются с дерев. Раненому врач в халате Промывал вчерашний шов. **Вдруг** больной узнал в палате Друга **детства**, **дом** отцов. Вновь он в этом старом парке. Заморозки по утрам, И когда кладут припарки, Плачут стекла первых **рам**. [Пастернак, 2003: 357]	Где мог он видеть этот ежик **Домов** с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек Казались сказочно знакомыми. Что означала в черной **раме** Четырехпалая отметина? Кого напоминало пламя И выломанные паркетины? И **вдруг** он вспомнил **детство, детство**, И монастырский сад, и грешников, И с общиною по соседству Свист соловьев и пересмешников. Он мать сжимал рукой сыновней. И от копья архистратига ли По темной росписи часовни В такие ямы черти прыгали. И **мальчик** облекался в латы… [Пастернак, 2003: 374]

Другие дважды повторяющиеся многокомпонентные лексические комбинации в «Стихах о войне»: *даль – два – садиться – солнце*, *вдруг – век – дом – первый*, *гореть – падать – пламя – каждый*, *видеть – огонь – ночной*, *входить – глаз – цепь*, *хотеть – лучший – дети*, *огонь – ночной – дом*, *жить – край – победа*. В них обращает на себя внимание частое упоминание *огня*, *пламени*, *горения* (как воплощения уничтожающей силы войны) и *дома* (как оплота мирной жизни). К собственно военной лексике

можно отнести лишь *цепь*, означающую способ построения солдат, и *победу*.

Комбинация *небесный – отзыв – сниться* связывает стихотворение о первой мировой войне «Дурной сон» и стихотворение о второй мировой «Ожившая фреска», между ними – тридцать лет. Соседство входящих в нее слов никак не предопределено.

«Дурной сон»	**«Ожившая фреска»**
Тарелями ластится к **отзывам** ветра. К кому присоседиться, верстами меряя, Слова гололедицы, мглы и лафетов? И сказка ползет, и клочки околесицы, Мелькая бинтами в желтке ксероформа, Уносятся с поезда в поле. Уносятся Платформами по снегу в ночь к семафорам. Сопят тормоза санитарного поезда. И **снится**, и **снится небесному** постнику... [Пастернак, 2003: 77]	Как зов в лесу и грохот **отзыва**, Манила музыкой зовущей И пахла почкою березовой. О, как он вспомнил те полянки Теперь, когда своей погонею Он топчет вражеские танки С их грозной чешуей драконьею! Он перешел земли границы, И будущность, как ширь **небесная**, Уже бушует, а не **снится**, Приблизившаяся, чудесная. [Пастернак, 2003: 374]

Оба текста связывает ситуация обращения к мифу, чуду – мифологическое очеловечивание мира – вселенского «небесного постника», мифологические представления о выпадении зубов во сне в «Дурном сне» и в «Ожившей фреске» – Чудо о Змие, воображенное героем в бою, когда он, «топча» вражеские танки, соотносит себя со Святым Георгием Победоносцем и в этом грандиозном бою с мировым злом «переходит земли границы». Гигантский «небесный постник» 1914 г. сменяется молебном всей земли о прекращении войны – в 1944-м. Эпитет «небесный» в «Ожившей фреске» характеризует уже не героя-субъекта, а «бушующую небесную ширь», реальную, утверждающую неотвратимость, предопределенность победы в грядущем. Сюжетообразующий мотив непробудного сна в первом тексте сменяется во втором сюжетообразующим мотивом воспоминания и воображения. Упоминающийся сон в первом случае кошмарный, предчувствующий беду, а во втором, сон отвергается явью – светлой, дарующей надежду на окончательную победу Добра.

Эти два стихотворения связывает также лексическая комбинация *земля – мочь – видеть – небо – щебень*:

«Дурной сон»	«Ожившая фреска»
Не **может**, засунутый в сон на засов. И **видит** еще. Как назем огородника, Всю **землю** сравняли с **землей** на Стоходе. Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь Во всю ее бездну, и на **небо** выплыл, Как колокол на перекладине дали, Серебряный слиток глотательной впадины, Язык и глагол ее, – месяц **неб**есный. Нет, косноязычный, гундосый и сиплый, Он с кровью заглочен хрящами развалин. Сунь руку в крутящийся **щебень** метели, – Он на руку вывалится из расселины <…> [Пастернак, 2003: 76]	Ночное **небо** Сталинграда Качалось в штукатурном саване. **Земля** гудела, как молебен Об **отвращеньи???ПРОВЕРИТЬ** бомбы воющей, Кадильницею дым и **щебень,???** Выбрасывая из побоища. Когда урывками, меж схваток, Он под огнем своих проведывал, Необъяснимый отпечаток Привычности его преследовал. Где **мог** он **видеть** этот ежик Домов с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек Казались сказочно знакомыми. [Пастернак, 2003: 373–374]

Если близкое соседство «неба» и «земли» предсказуемо их традиционной оппозицией, а появление глагола «видеть» определяется визуализацией (только в первом случае все видится во сне, а во втором – в реальности, но эти впечатления связаны с эффектом дежавю), глагол «не мочь/мочь» в принципе означает невозможность/возможность осуществления чего-либо и необязательно является семантически полноценным, то появление в этом ряду лексемы «щебень» тем более поражает, что слово само по себе редкое и ничем не обусловлено. Именно эта лексема (минимальная тема) сигнализирует о наличии подспудных межтекстовых связей. В «Дурном сне» щебень является метафорой метельных хлопьев. А поскольку они несут смерть, то перед нами взаимообращенная метафора гибельных осколков, ассоциирующихся с вьюгой. В «Ожившей фреске» слово употреблено в прямом значении, то же самое как разметанные осколки при взрывах.

Функционирование в текстах лексических комбинаций сближает их с единицами когнитивистики фреймами, участвующими в моделировании концепта. Повторяющиеся лексические комбинации, выявляемые программой, невозможно обнаружить невооруженным глазом. В отличие от существующих программ, выделяющих в текстах коллокации, наша программа находит комбинации, в которых лексемы дистанцированы в тексте друг от друга.

Таким образом, стихотворения Пастернака 1914, 1941–1944 гг. о войне связаны невидимыми, неочевидными лексическими связями, создающими в основном «мирный» тематический каркас.

Список литературы

Павлова Л.В., *Романова И.В.* Опыт применения программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2013. № 6.

Пастернак Б. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2003.

Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. VII. М., 2005.

Сведения об авторе: *Романова Ирина Викторовна*, докт. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета. E-mail: irina.romanova@bk.ru

О.А. Мальцева

РЕЛИГИОЗНАЯ СИМВОЛИКА В ПЕЙЗАЖНЫХ СТИХОТВОРЕНИЯХ ЦИКЛА Б. ПАСТЕРНАКА «ЕЛЕНЕ»

В данной статье рассматривается религиозный подтекст цикла Б. Пастернака «Елене» из книги «Сестра моя – жизнь» (1922). Показана литургическая основа пейзажных стихотворений этого цикла. Особое внимание уделяется образу обретения миром дара Божьей благодати.

Ключевые слова: Б. Пастернак, цикл, пейзаж, христианские мотивы, образ благодати.

In the present article the religions subtext of Pasternak's cycle "To Helen" from his poetic book "My Sister Life" (1922) is considered. The liturgical foundations of landscape poems of this book are demonstrated. Special attention is paid to the image of the favor of God that is given to the World.

Key words: B. Pasternak, cycle, landscape, Christian motifs, an image of the favor of God.

Одна из актуальных проблем пастернаковедения сформулирована Л. Флейшманом в статье «Борис Пастернак и христианство». Говоря о знаменитом романе «Доктор Живаго» (1945–1955), он отмечает: «Исследователей смущала и смущает резкость и внезапность обращения Пастернака к проблематике христианства»[1]. Фактически же речь идет о недостаточной изученности раннего творчества поэта с точки зрения воплощения в нем религиозного сознания. «А ведь наличие его несомненно»[2], – пишет В. Франк. Эта несомненность, конечно, во многом связана с некоторыми соответствующими высказываниями самого Пастернака, хотя и существует мнение, что когда мы «из области деклараций и заявлений, сделанных автором <…>, переходим в область поэтики, то есть к принципам построения художественного текста, явленных в самом тексте, то картина здесь вырисовывается прямо противоположная: <…> непроглядная

[1] *Флейшман Л.* Борис Пастернак и христианство // Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. С. 731.

[2] *Франк В.* Водяной знак. Поэтическое мировоззрение Пастернака // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 72.

тьма»[3]. В русле намеченной дискуссии мы предполагаем рассмотреть здесь «пейзажный» цикл Б. Пастернака «Елене» из книги «“Сестра моя – жизнь”. Лето 1917 года» (1922) с точки зрения отражения в нем религиозных воззрений автора.

Известный биограф поэта Е. Пастернак однажды сказал, что «видение мира у Пастернака литургично»[4]. Литургия – это главное богослужение в христианской церкви, во время которого осуществляется таинство Евхаристии. В связи с этим особое значение приобретает тот факт, что название пастернаковской книги восходит к идеям св. Франциска Ассизского, который в свою очередь ориентируется на подражание библейским образцам, в частности псалмам, где Господь восхваляется за Его творения – солнце, луну и т. д.– и, более того, они сами призываются восхвалить своего Творца[5]. Пастернак делает своего рода заявку на то, что образ мира, явленный в его стихотворениях, – это образ славящего Бога творения, приобщающегося к Его телу и крови. Действительно, ведущей в цикле Пастернака «Елене» оказывается тема обретенной миром Божьей благодати.

Так, в первом одноименном стихотворении цикла образ благодати как незаслуженной милости заменяет, казалось бы, логично требующийся образ гнева за некую провинность: «Я и непечатным // Словом не побрезговал бы, // Да на ком искать нам? // Не на ком и не с кого нам»[6]. Грязь, вина, грех признаны естественным состоянием «болота» – топкого места со стоячей, «неживой» водой, где нельзя ожидать ничего доброго, где господствует только смерть:

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными (с. 151–152).

Заметим, что образ болотного растения арума, который называют еще *белокрыльником*[7], призван, по-видимому, вызвать у читателя представление о некой небесной сущности описываемого явления. На эту мысль, по сути, указывает упоминание еще одного растения – лилии, образ которой известен как традиционный христианский сим-

---

[3] *Лотман М.* Мандельштам и Пастернак (Попытка контрастивной поэтики). Таллинн, 1996. С. 95.

[4] *Пастернак Е.* Верность Христу // Русская мысль. 1999. 14–20 янв. С. 16.

[5] См.: *Жолковский А.К.* О заглавном тропе книги «Сестра моя – жизнь» // Poetry and revolution: Boris Pasternak’s “My sister life”. Stanford, 1999. С. 27–28.

[6] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. I: Стихотворения и поэмы 1912–1931. М., 2003. С. 151. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.

[7] Здесь и далее курсив мой. – *О. М.*

вол: «Со времен Ренессанса Благая Весть ассоциируется с лилией. Архангел Гавриил держит в руках лилию или лилия помещается в вазе <…>. Этот белый цветок издревле известен как символ света, чистоты, невинности, девства, а также милосердия. Христос – судья мира – изображается с исходящей из его рта лилией, как знаком милосердия»[8]. Произрастание живого («арум») среди мертвого («болота») воспроизводит, скорее всего, ситуацию «евангелия» – благой вести о том, что в мир пришел Христос-Спаситель. Соответственно образ «перистых туч» на небе воспринимается как знак присутствия архангела, несущего благую весть. Знаково и то, что сквозь «сон»-смерть спящего «хутора» прорисовываются очертания жемчуга, образ которого является символом приблизившегося к человеку Царства Небесного (Матф. 13:45–46).

Образ хутора выступает здесь метонимическим образом людей, смертный сон которых нарушен откровеньем благовести («Ночью бредил хутор: // Спать мешали перистые // Тучи») и которые, крестившись небесной влагой, теперь спят сном младенца («как // В тихом детском храпе» (с. 152)), что символично, «ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19:14). Их сон теперь – это сон воскресающего к жизни Христа, когда смертные «пелены» уже спали (Ин. 20:6) и «виски пульсируют» на пороге приближающегося рассвета. С образом последнего здесь связан, по-видимому, и акцент на греческой теме в имени «Елена», так как в переводе с греческого оно означает «Свет», которым для спасаемых, согласно христианской традиции, является Христос («Я свет миру» (Ин. 8:12)):

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

В унисон идее о приблизившемся Царстве Небесном в стихотворении Пастернака возникают образы и царской жены (согласно библейской символике, церковь является невестой Небесного Царя), и засеянного поля, поливаемого благодатным дождем («Дождик кутал // Ниву тихой переступью // Осторожных капель» (с. 152)). Образ последнего в контексте со строфой об агоническом усилении демонического, бесовского начала в теме хутора («Сбесится – управиться ли?» (с. 153)) является аллюзией на евангельскую притчу о плевелах среди пшеницы: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе

[8] Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Авт.-сост. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. М., 2006. С. 285.

семя на поле своем; Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы <…> рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою <…>. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; Поле есть мир; доброе семя, это – сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века» (Матф. 13:24–30, 37–39).

Образ жатвы, во время которой будут отделены плевелы от пшеницы, является аллегорическим образом Божьего суда, когда «изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных» (Матф. 13:49) и когда разрешится наконец извечный вопрос о том, кто есть человек, принадлежит он свету или тьме, какой был им сделан выбор. Именно перед таким вопросом стояли герои Шекспира и Гете. Этим, по-видимому, и объясняется соответствующая интертекстуальность пастернаковских строчек: «Луг дружил с замашкой // Фауста, что ли, Гамлета ли» (с. 152). Именно к образу Божьего суда этимологически восходит употребленное автором в финале русское слово «судьба» («Пусть судьба положит» (с. 153)). Контрастному решению Судьи, каковым выступает сам Христос=Свет=«царица Елена», соответствует и оценочная маркировка последней то как «матери» (ср.: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство<…>”» (Матф. 25:34)), то как «мачехи» (ср.: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный<…>”» (Матф. 25:41)).

Образ гнева, которым «пышет» небесная «лазурь» (метонимический образ Бога-Отца) над «недышащим» телом распятого Христа-реки, становится лейтмотивным в стихотворении «Как у них». Действительно, во-первых, река названа здесь «любимицей», что отсылает читателя к евангельскому определению Христа, входящего в *воды Иордана*, из уст Всевышнего: «И се, глас с *небес* глаголющий: Сей есть Сын Мой *Возлюбленный*, в Котором Мое благоволение» (Матф. 3:17), во-вторых, описание реки соотносится с положением тела распятого («Не свесть концов и не поднять руки» (с. 153)), в-третьих, образ рыбы здесь является традиционным символом Христа (греческое слово «рыба» расшифровывалось как аббревиатура греческой формулы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель», поэтому Иисус Христос иногда называется в ранней христианской

литературе «Рыбой»[9]), в-четвертых, немаловажна функция идентификации в звуковом созвучии названия реки Ш*елон*ь с именем «подруги» лирического героя *Елен*а – пастернаковским метафорическим синонимом реки=Христа, в связи с чем уместно, на наш взгляд, привести отрывок из письма автора к Е.В. Пастернак от 27–28 мая 1924 г.: «<…> широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку, держу тебя в руках и дышу тобою»[10]. Наконец, символичен топос стихотворения, когда в «любимице реке» отражается небо, поскольку он приравнивает объекты, роднит их друг с другом (ср. с библейским первоисточником: «Я и Отец – одно» (Ин.10:30); «Отец во Мне и Я в Нем» (Ин.10:38); «<…> видевший Меня видел Отца», (Ин.14:9)).

Теме Божьего гнева соответствуют в произведении образы жара («пышет»), углей, «очагов» (библейский мотив «геенны огненной»), снопов (библейский мотив суда-«жатвы»): «Очам в снопах, как кровлям, тяжело. // Как угли, блещут оба очага» (с. 153). Поскольку глаза традиционно называют зеркалом души, то «очи» выступают здесь, по-видимому, в роли метонимического образа человеческих душ. Образ тяжести, фонетически подкрепленный мотивом *крови* в рядом стоящем слове «*кров*лям», может ассоциироваться с криками толпы, требующей казни Христа и возлагающей всю тяжесть вины за содеянное на себя и своих потомков: «<…> кровь Его на нас и на детях наших» (Матф. 27:25).

Ведущей теме стихотворения созвучен и пейзаж, в котором видится торжество демонических сил:

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике (с. 153) –

в образах «*смеха люцер*ны» (паронимическая аллюзия на слово «*Люцифер*», т. е. на одно из имен дьявола, которому, по народному поверью, и свойственно смеяться), «*княж*еники с *топи*» (созвучие с «*князь тьмы*», причем образ тьмы у Пастернака единороден с образом болота-топи), ползания (семантически соотносимо с образом змея-искусителя), «хвоща» – травы, название которого в переводе с латинского означает «лошадиный хвост» (лошадиные зубы и грива

[9] Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. С. 393.

[10] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. I: Стихотворения и поэмы 1912–1931. С. 473.

являются традиционными атрибутами дьявола). В таком контексте допустимо вспомнить и избиение Христа («треплет речку веткой по щеке»).

Однако идейный центр произведения заключается в следующей строфе, а именно в сочетании «бездонный день», по первоначальному замыслу вынесенном поэтом в заголовок. Слово «бездонный», где корень «-дно-» с его значением «конца (грехо-)падения» употреблен с отрицающей этот «конец» (смерть, ад, победу Люцифера) приставкой «без-», указывает на алогичную, парадоксальную природу смерти Христа, когда вместо «дня гнева» человечество обрело «день милости и прощения» – Божий дар благодати. Свою главную мысль автор пытался зафиксировать в таких вариантах названия, как «Бездонный день», «Онеге» («нега» – блаженство). Окончательная редакция названия стихотворения «Как у них» призвана подчеркнуть не земную, а духовную логику разворачивающегося конфликта – между Богом и дьяволом (таким традиционным символом существования невидимого мира выступает здесь образ воздуха-«ветра»[11]).

Этот «бездонный день» находит свое продолжение в следующем стихотворении – «Лето» – в образе «летних дней», дней благодати, изливаемой («тянулось в жажде») на грешников. Символом последних служит здесь образ бабочки:

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным (с. 154).

Действительно, традиционно на картинах, изображающих жизнь в раю, такие же, как у бабочки, крылья имеет душа человека, причем для поэтики Пастернака знаковым является тот факт, что крылья этого насекомого покрыты пыльцой (т. е. «пылью», «пятнами» = грязью = грехом). Примечательно и то, что бабочка «появляется на свет из куколки, в которую осенью превратилась гусеница. Куколка напоминает саван, окукливание гусеницы – смерть, а бабочка – душу, которая покидает мертвое тело и устремляется в райскую жизнь. <…> в католической иконографии бабочка в руках младенца Христа символизирует идею воскресения»[12]. Созвучно библейской теме благодати выступает здесь и мотив забывания греховного прошлого («память оботкав», «забывчивый <…> дождик»), ср.: «Вот завет, который завещаю им *после тех дней*, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их, *И грехов их и беззаконий*

[11] Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. С. 96.
[12] Там же. С. 72.

их не воспомяну более» (Евр. 10:16–17). Библейский мотив «лета благо*приятного*»[13] прочитывается в пастернаковских определениях «*медовый*, *майный*, *мятный*»; мотив «отпущения на свободу» – как в образах природы и человеческого быта (звона «*цепов* с восхода до захода», запаха «винной *пробки*»), так и в образах революции:

<…>И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве (с. 154).

В стихотворении «Гроза, моментальная навек» речь идет о том, что «лето» благодати устраняет смерть – это наказание за грех. Данная мысль – о гневе небес, остановленном навсегда, – заложена автором в названии стихотворения (изначально – «Прощальная гроза»), обыгрывающем природно-духовный у Пастернака образ грозы[14] в духе рекламного клише уличного фотографа. В унисон этой теме в строчках, которые живописуют образы небесного огня-света и тюремной решетки, образуемой струями «живой воды», звучит и мотив устранения, победы над, казалось бы, торжествующим сатаной:

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем! (с. 155)

Ср.: «И увидел я Ангела, сходящего с неба <…>. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его <…> и заключил его <…>. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал его» (Откр. 20:1–3,9).

Последняя строфа с ее образом сверхъестественного света, озаряющего человеческую душу, возникает соответственно тому, как в библейском тексте вслед за описанием гибели дьявола следует картина явления нового, неземного, божественного света: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21:23). Тем

[13] «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать, исцелять <…>, проповедовать <…>, отпускать измученных на свободу, Проповедовать лето Господнее благоприятное» (Лук. 4:18–19).

[14] О грозе как метафоре Божьего гнева см., например, в стихотворении «Как усыпительна жизнь!..»: «Гроза торчит в бору, // Как всаженный топор» (с. 148).

самым финал этого последнего стихотворения цикла снова обращает нас к образу Христа как Света, запечатленному Пастернаком в греческом варианте слова – «Елена», ставшем названием всего цикла.

Итак, казалось бы пейзажные «видения» у Пастернака пронизаны, по нашему мнению, мотивами откровенья о благодати (фотография, образ которой возникает в финале цикла, представляет собой своеобразную аллюзию на «продукт» деятельности пророка – богодухновенную книгу, так как слово «фотография» в переводе с греческого означает «свет» и «писать») – о том, что наказания за грех смертью не будет, что гнев-«гроза» остановлен навеки, что будет новая жизнь в свете «славы Божией». В связи с вышесказанным примечательными, на наш взгляд, представляются слова поэта из его письма к С. Спенсеру от 22 августа 1959 г. о том, что живая действительность *всегда* воспринималась им «как полученное послание или неожиданное пришествие» и что он «*всегда* старался воспроизвести этот характер прицельно посланного», который, как ему казалось, «находил в природе явлений»[15]. Другими словами, в цикле Б. Пастернака «Елене», думается, присутствует христианская мысль о том, что природный мир наряду со Священным Писанием несет человеку благую весть, возможность для него приобщиться к непрекращающемуся таинству Божьей любви.

Список литературы

Жолковский А.К. О заглавном тропе книги «Сестра моя – жизнь» // Poetry and revolution: Boris Pasternak's «My sister life». Stanford, 1999.

Лотман М. Мандельштам и Пастернак (Попытка контрастивной поэтики). Таллинн, 1996.

Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003–2005.

Пастернак Е. Верность Христу // Русская мысль. 1999. 14–20 янв.

Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Авт.-сост. В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. М., 2006.

Флейшман Л. Борис Пастернак и христианство // Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006.

Франк В. Водяной знак. Поэтическое мировоззрение Пастернака // Литературное обозрение. 1990. № 2.

Сведения об авторе: *Мальцева Оксана Анатольевна*, канд. филол. наук, доцент кафедры зарубежной филологии и историко-сравнительного языкознания Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград), докторант МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: oa_malts@mail.ru

[15] *Пастернак Б.Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. X: Письма 1954–1960. М., 2005. С. 523–524.

М.С. Руденко

АНТРОПОДИЦЕЯ БОРИСА ПАСТЕРНАКА (размышления над текстом «Доктора Живаго»)

В романе «Доктор Живаго» человек «не звучит гордо». Герой романа выбирает Христов путь. Талантливый поэт и врач не борется за процветание, даже за жизнь, но под влиянием обстоятельств сознательно умаляет себя. Таким образом он следует Евангельским заветам. Отвергая рациональное, он действует интуитивно. То, что такой путь возможен, доказывают «Стихотворения Юрия Живаго».

Ключевые слова: естественное, жертва, жертвенность, жизнь, история, природа, рай, рациональное, Россия, слово, Христос, чудо.

"The word 'man' doesn't sound proud" in the novel "Doctor Zhivago" of Boris Pasternak. The hero of the novel chooses the way of Christ. This talented poet and doctor doesn't fight for prosperity, not even for his life. But, under the influence of circumstances, he consciously undervalues himself and his life. Thus goes he after the precepts of the Gospel. He rejects the rational principles and acts by intuition. The poems of the hero prove the possibility of such a way.

Key words: Christ, history, life, miracle, natural, nature, paradise, rational, Russia, a sacrifice, to sacrifice, word.

Как и его герой, Борис Пастернак, в течение предреволюционных лет не замечавший гармонии личности и истории, лишь единожды творчески, до глубины души, согласился с происходившим тем же летом 1917 г. Результатом этого стала «Сестра моя жизнь», пришедшаяся по вкусу определенной части юной советской интеллигенции. Обратившая внимание на это восхищение Л.Я. Гинзбург также замечает: «... унаследованный склад оказался решительно не к истории... на потенциального, полуготового человека произошло наложение другого человека с другими социальными качествами. Время сообщило поколению уважение к физическому и душевному здоровью, к действию, приносящему результаты; интерес к общему; восприятие жизни в ее социальных разрезах. Время сообщило ему профессионализм, небрезгливое отношение к поденному труду; легкую брезгливость по отношению к душевным безднам, самопоглощенности и эстетизму»[11]. Подобная деловитость, помноженная

[11] *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 95–96.

на идеологическую мимикрию, оказалась кровью другой группы как для героя романа, так и для его автора, по преданию, названного Сталиным «гениальным дачником».

Внутреннее содержание нескольких послереволюционных десятилетий жизни Бориса Пастернака с поразительной откровенностью отражено в романе. Представляется существенным, что запись о «человеке, ни капельки не звучащем гордо»[22] сделана Николаем Веденяпиным еще в те годы, когда «все радовало густотой и стройностью – церковная служба, танцы, люди, манеры... И Россия тоже была в девушках, и были у нее настоящие поклонники, настоящие защитники, не чета нынешним» (с. 236). Актуальное для пореволюционных десятилетий противопоставление подлинного человека и гомункулуса «горьковского» типа, деление на «своих» и «чужих», любая политическая злободневность в мире Пастернака не более чем частность по сравнению с общим движением истории.

«Мраморная теснота» Рима для поэта – ясное доказательство необходимости явления в мир Спасителя, «легкого и одетого в сияние, подчеркнуто человеческого, намеренно провинциального... и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек...» (с. 44). Переживание России как потерянного рая, возвратить который и должен распятый Христос, автор романа обычно доверяет второстепенным персонажам. В связи с Ольгой Галузиной в роман входит поэзия Страстной Седмицы, неотделимая от момента весеннего пробуждения природы. («Философия» же Страстной развивается Симушкой Тунцевой как бы на контрасте с картиной усиливающегося снегопада.) Важное наблюдение в самом начале романа «подарено» одиннадцатилетнему гимназисту Мише Гордону. Россия, летящая за окнами поезда, общее чувство «беззаботности», «ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одно в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь» (с. 22). Именно таким видится идеал автора: прекрасная, изобильная страна, благословленная Богом по вере людей. Таков гармоничный мир, ставший питательной средой для главного героя – гениального мыслителя, врача и поэта. В этой симфонии земного и небесного единственная режущая слух нота – печаль представителей народа, отвергшего преображение как

[22] *Пастернак Б.* Доктор Живаго. М., 1989. С. 44. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы в круглых скобках.

раз на переломе времен. Ущербность самоощущения, а в худшем случае – очевидное унижение, по Пастернаку, – расплата за нежелание перестать быть народом-индивидуальностью. Загадка эта так и остается неразрешимой: Гордон больше всего на свете желал бы лишиться родовых черт, но тот же Живаго как-то по-особому стыдится его, когда друзья становятся свидетелями издевательства казаков над стариком-евреем. Наличие этой непереходимой грани отмечает и последовательная «демократка» Лара: «... в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним, неприятным осадком. Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя... и бесследно раствориться среди остальных...». Ответ Живаго («я об этом не думал» – с. 229) лишь подчеркивает важность этого болезненного вопроса. Живаго лишь ссылается на Гордона, в то время как Галузина высказывает «охотнорядское» мнение о причинах революции, вспоминая слова старика Шмулевича: «Лейбочкины штучки» (с. 238).

Так, выявляется определенный идейный комплекс: Россия как потерянный рай; простой, любой, каждый человек как смысл христианской религии; народ, идущий наперекор истории. Пастернак, определявший страдание и неудачу мерилом подлинной ценности личности, с долей неприятия и даже упрека отзывается о горестях лишь одного народа, считая его чуть ли не единственным виновником собственных бед.

Удивительно, но Пастернак вообще невысоко ценит жертвенность. Самоотречение, самозабвение чаще всего кажется автору «Доктора Живаго» чем-то неестественным, надуманным, даже ложным и во всяком случае нарушающим логику течения «естественной» (подлинной) жизни. Автор сочувствует своим героям и даже «помогает» им, когда они стараются не стать жертвами. Так, отдаваясь потоку жизни, «наплывают» друг на друга Живаго и Лара, а вот положительную и жертвенную Тоню тот же поток относит в сторону. В периоды, когда действует сила свободного желания, естественно влекущая к вполне ощутимому, даже житейскому благу, Живаго и Тоня максимально сближаются. Таковы водворение сироты Юры в семью Громеко и образование «триумвирата» (с. 41); без ухаживания и истории любви «узнавание» Тоней и Юрой друг друга на елке

у Свентицких; брак и рождение сына; поездка на Урал и почти год жизни в Варыкине. Периоды же, когда надо сознательно «принимать решение», глушить в себе чувства, приводят к отчуждению или разлуке. Неотрефлектированное, подавленное стремление Живаго к Ларе еще в Мелюзееве образует одну из таких трещин. Тоню «отводит» не столько ее ревнивое и жалобное письмо в госпиталь, сколько реакция маленького Саши на никогда не виденного отца, огорчившая и ее, и Живаго, но вытесненная усилием разума. Пожертвовавший зарождающимся чувством Живаго не только не получает награды, но и оказывается в одиночестве. Его разочаровывают и друзья, и дядя, подменившие пластику сложных душевных движений геометрией фразы. Отталкивают и коллеги, погрузившиеся в «дарвиновское» выживание. Но и привычный нашему сознанию спасительный, как в русской сказке, «третий путь» в данном случае вымучен и неплодоносен. «Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу» (с. 144) – в этих суховатых словах Юрия, обращенных к Тоне, не хватает Саши, что, по-видимому, до конца правдиво, но как-то выбивается из «русского текста» с его непременной «слезинкой ребенка».

Заботы на первый взгляд вполне жертвенные на поверку оказываются чем-то иным, неорганичным. Действует Живаго как раз вопреки собственным убеждениям: «... доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель... Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги, были его спасением, – насущное, смиренное, бытовой обиход, служба, хожденье по больным. Он ...*был готов принести себя в жертву*, *чтобы стало лучше*, *и ничего не мог*» (с. 144. Курсив мой. – *М. Р.*). Кажется, именно эта несвойственная изначальной природе человека готовность к жертве и является причиной неудач и бедствий. А вот детское, непосредственное желание спрятаться, «приникнуть к лону», реализуется, пусть и с трудностями, но без потрясений в поездке на Урал.

Во время нее возникают как минимум трижды, словно благословение, образы погибшей России – и один из них, первый, напрямую связан с «детской» образностью. Во время расчистки полотна железной дороги доктор вспоминает «дни далекого детства, когда... маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах, как вкусно было тогда жить на свете, какое все кругом было заглядение и объяденье!» (с. 178). Приглушенные шаги и голоса на

платформе Юрий даже во сне связывает с «уважением... и заботой о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны» (с. 182). Вечная красота природных объектов (водопада, зацветающей черемухи) связана с памятью о «той» России и рождает чувство возвращения к подлинному себе, «блаженство и освобождение» (с. 183).

Не очень-то христианские попытки «сойти с креста» (обернувшиеся еще большей трагедией: вечной разлукой и с семьей, и с Ларой, отречением от себя и в конце концов ранней смертью) становятся для Живаго обретением «четвертого» пути. Как ни соблазнительно отдаться спекуляциям на тему всего четырехугольного, четырехконечного, отметим лишь, что путь чуда признается нормальным как в ткани романа, героем, так и в стихах. «Может быть, состав каждой биографии... *требует* (курсив мой. – *М. Р.*) еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова...» (с. 220). Об этом же говорится в «Чуде», посвященном одному из тех чудес Спасителя, которые требуют размышлений. Как и чудо изгнания бесов в свиней, свергшихся с обрыва и утонувших, чудо с бесплодной смоковницей сопряжено с изнанкой бытия – разрушением и смертью. Кара за бесплодное существование не оставляет времени на покаяние, на то, чтобы успели «вмешаться законы природы» (с. 402). В данном случае Господь требователен и гневен без милости, хотя к другой смоковнице, которую советует удобрить и дождаться плодов, относится по-другому. На фоне приближающихся событий Страстной Седмицы, когда любовь Божия сталкивается с человеческим жестокосердием, чудо уничтожения не вписывается в атмосферу надежды, переданную словами Пастернака: «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. // Когда мы в смятенье, тогда средь разброда // Оно настигает мгновенно, врасплох» (с. 402). В наших представлениях чудо от Бога непременно благо, созидательно, поэтому чудо со смоковницей вызывает неоднозначные чувства. Парадоксален и психологический колорит «Чуда»: грусть, горечь, уныние, разочарование. Гнев на смоковницу, не исполнившую желание. Возникает противоречие смыслу высказывания о чуде как немотивированном даре Божьем.

Евграф, носитель энергии «доброго» чуда, появляется в романе четырежды, но лишь первое «чудо» можно назвать удавшимся: принесенные продукты спасают жизнь Живаго. Появление Евграфа в Варыкине, привезенные им припасы и надежды на общее смягчение положения – обещание, нарушенное жизнью: доктор попадает в плен; Тоня с отцом и детьми, возможно, спасшиеся и переехавшие в Москву

благодаря Евграфу, высланы из страны (что объективно является скорее благом, но самому Пастернаку представляется очевидным бедствием). Третье «чудо» (деньги, устройство на работу, надежда на воссоединение с семьей) не спасает Живаго от неожиданной смерти, а то и, вопреки желанию Евграфа, способствует ей. Очевидно неудачны его попытки помочь Ларе – сама она гибнет, ее ребенок так и не найден. Последнее «явление», уже Тане, можно было бы считать обещанием чуда, если бы не превратности продолжающейся войны.

Более «локален», но и более последователен в той же роли Самдевятов. Его «чудеса» – «ветхозаветные», питающие. Манной небесной просыпаются его дары на Живаго, Микулицыных, начальника станции Торфяная, Лару. Но, подобно манне, благотворительность Самдевятова ограничена одним днем и сама подчиняется божественным законам. Собранная про запас или в субботу манна гниет; бессильны что-то изменить перед лицом Рока-Судьбы-Предопределения лошадь и припасы, взятые у Самдевятова для бегства Живаго и Лары в Варыкино.

Возможно, это происходит потому, что в качестве орудия Провидения вмешивается носитель «ложных чудес» Комаровский. Ему сопутствуют знаки «князя мира сего» – сила, богатство, успех. С самого начала он связан с двумя смертями – Лариного отца (косвенно) и отца Юры (непосредственно). В конце же романа именно Комаровский вносит идею «разумного решения», которое приводит к катастрофе и гибели живущих по велению сердца Юрия и Лары.

В целом же Комаровский кажется естественной составляющей Лариной биографии, не подверженной воздействию «чудес». «Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не от отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей...» (с. 30). Именно это противоречие между иррациональной стихией женственности и отсутствием «отвлеченности», возможности свободы выбора делает Ларину жизнь полной выстраданных, заработанных совпадений. Она по-своему интерпретирует услышанные в храме «Блаженства»: «Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так Он считал. Это Христово мнение» (с. 48). Акцент здесь делается не на освобождении от законов естества, а на страдании как труде, вознагражденном близостью к Богу.

Поиск работы как способа освободиться от Комаровского и семьи сводит Лару с Кологривовым. Он выручает ее, заплатив долг

проигравшегося Родиона, дает деньги во время ее болезни; Надя Кологривова привозит на свадьбу Лары дивной красоты ожерелье, не замеченное грабителями. Но все эти важные благодеяния – не чудо, а воздаяние за усилия. Закономерностью выглядит и ненадолго вошедшая в жизнь Лары Дуплянка, имение Кологривовых. Кажется, здесь действует не столько Бог, сколько «история»: война и переворот закрывают тему. Впоследствии и Галиуллин, и Самдевятов помогают Ларе, сообразуясь прежде всего с особенностями своего характера и взятой на себя роли.

Соотношение рационального («жертвенного») и естественного (подлинного) распоряжается судьбами Антипова и Лары. Если Патуля безоглядно влюблен и до поры счастлив, то Лара строит отношения, кажется, наказывая себя за «падение», вопреки Комаровскому как одному из «хозяев жизни». Свою сломанную жизнь она пытается принести в жертву ради благополучия Павла, «создает ему условия», выходит замуж, рожает дочь. Но переезд в Юрятин, столь желанный для Лары, претит Антипову. «Рабочая косточка» оказывается «аристократом», который брезгует провинцией и мечтает о Петербурге.

«Головой она за Пашку вышла, а не сердцем...» (с. 160) – справедливо считает Оля Демина. Действительно, все эпизоды совместной жизни Павла и Лары нарисованы отстраненно, словно все это не наяву. Так же неорганично появление Катеньки. Читатель ничего не узнает о Лариных родах, так же как и о свадьбе Тони и Юрия. Но если Лара неубедительна в роли Катиной мамы, то ее страдания в связи с потерей Тани, да и сама Таня, напротив, убеждают. Самый «живой» ребенок – Саша. Рождение на свет, крик, услышанный Юрием в коридоре, шалости и болезни, даже сон, приснившейся Юрию, делают образ полнокровным.

«Дымка», окружающая героя, кажется связанной со степенью его рациональности. Так, Павел Антипов существует в пространстве между «плотью» – яркими второстепенными и эпизодическими персонажами и «душой» – Ларой и Живаго[33]. Мальчик из рабочей среды, не удовлетворившийся реальным училищем, сдавший гимназический курс, окончивший университет классиком, путем самообразования овладевает точными науками и преподает их. Склонность к анализу раскрывает ему суть того, о чем Лара старается не думать: «Зачем она позволяла ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него что хотела?.. Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благо-

[33] См.: *Степун Ф.* Б.Л. Пастернак // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 569.

родную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг?» (с. 90). Подспудно вызревшее желание разрешить ситуацию приводит к непонятному решению уйти на фронт. А вот причины превращения в Стрельникова сформулированы им самим в разговоре с Живаго и объясняют и однозначность поступков, и трагический конец.

Подлинная («живая») человечность, по Пастернаку, дает право на ошибку и даже неудачу. «Гордо» звучит ведь не только горьковский гомункулус, но и оружейник Просперо, и капитан Грей, и голос лирической героини Анны Ахматовой. «Своя гордость» есть у героев Бабеля и Зощенко. Отстаивают право на благородство и человеческое достоинство, пожалуй, все любимые герои Булгакова.

Герой же Пастернака думает о чем-то другом. Именно поэтому с таким сочувствием рассказывает он Гордону о впечатлении, произведенном на него Николаем Вторым во время смотра. «Смущенно улыбавшегося государя» «было жалко в это серое и теплое горное утро...» (с.100). Живаго отмечает «боязливую сдержанность и застенчивость» императора: «он должен был произнесть что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ... но понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости» (с. 100). Серый колорит сцены вызывает ассоциации с портретом работы Валентина Серова и стихотворением Георгия Иванова:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...[44]

Эти «боязливая сдержанность и застенчивость» (с. 100), как будто виноватый взгляд чеховского интеллигента у значительной личности для Пастернака – черта русской, затаенной святости. Таков и герой романа.

Путь Христа по Пастернаку – путь неудач, ошибок, бессознательного умаления. Это и есть путь Живаго. Именно в нежелании бороться, отстаивать свое человеческое и профессиональное достоинство, доказывать свою значимость проявляется христианское, точнее, Христово начало, подчеркнутое известным толкованием фамилии героя. Он заранее знает и о бесполезности всех попыток, направленных на

[44] *Иванов Г.* Стихотворения. СПб., 2005.

временное улучшение, и о своей конечной победе через посмертно дошедшее до людей Слово. Его происхождение и раннее сиротство, мобилизация, прервавшая научную деятельность, плен, невостребованный дар диагноста и поэта, маргинальное существование после возвращения в Москву и случайная смерть необходимо заканчиваются толпой у гроба и панихидой, «отслуженной» цветами.

Почерпнутый, в том числе и из Евангелия, идеал слова, как в прозрачном сосуде несущего великое содержание, оказывается недостижимым и для автора, и для его героя. Слово – одна из важнейших движущих сил повествования. В романе взаимодействуют два начала – слово «незаметно» поэтическое, лиричное и слово прозаическое, подчас грубоватое. В начале романа просторечие – явная стилизация. Почти лесковский говорок дворника Маркела подчеркнуто чужд речи обитателей дома в Сивцевом Вражке и является одним из предвестников смерти Анны Ивановны. Одним из символов революции становится механическая, искусственного происхождения речь с немецким акцентом зыбушинского немого – Максима Клинцова-Погоревших. И если с явным антиподом Стрельниковым Живаго говорит на одном языке, находится в том же понятийном ряду, то речь словно возникшего из полулегендарных воспоминаний Анны Ивановны Вакха кажется чуждой и малопонятной, как вся «сказочная» варыкинская действительность. Штампы Ливерия Микулицына обличают его непонимание внутреннего мира Живаго, но именно в эту пору, в партизанском отряде, что-то кардинально меняется в самом Живаго, выводя его из привычного интеллигентского круга. Здесь возникает иное, «ворожейное» слово, устанавливающее связи между природой, человеком, судьбой, историей и какой-то ощутимой, но неясной мистической силой. Летопись, ставшая апокрифом, обретшая колдовскую силу, той же силой претворенная в молитву; тоска по Ларе; песня как пророчество пути к Ларе по тракту мимо застывших в доисторическом сне поездов; рябина, говорящая с птицами, отвечающий ей Живаго; Памфил, то ли завороженный Кубарихой, то ли расплатившийся убийством жены и детей за пролитую им другую невинную кровь...

В зависимости от правды истории одно и то же слово может быть и «к жизни», и «к смерти». Один из «героически гибнувших детей» (с. 225), плоть от плоти мира Живаго, Сережа Ранцевич, спасен девяностым псалмом. Золотой медальон с печатным, правильным текстом принимает на себя пулю. Тот же текст, но искаженный, написанный от руки, зашитый в тряпичную ладанку, не спасает от гибели теле-

графиста. Так утверждается Пастернаком мысль о нравственной правоте носителей «правильного» слова.

Опростившийся, переживший физические и душевные лишения доктор Живаго совершенно по-другому воспринимает уже слышанную им речь Васи Брыкина. В поезде и в разговоре с Полей это еще один вариант чужого просторечия. Теперь, в устах такого же обездоленного, чудом выжившего человека, «простая» речь уже не кажется маркированной, но искренней и задушевной. Словно выпрямляется и подрастает квазинародное слово Маркела, являя собой образ социально выросшего и распрямившегося героя. Более того: простецкое «раззява» (с. 358), обращенное к бывшему хозяину, звучит окриком власть имущего.

Особый случай – рассказ Таньки Безочередевой. Речь из народной становится просто безграмотной, что воспринимается как трагическое знамение страшного времени. Вспомним хотя бы лакейский оборот «такие веселые насмешники» в адрес родного дяди. Но смысл рассказа Таньки – в силе духа, в силе всепобеждающей естественной жизни, ведущей ее помимо воли. «Неправильное» по форме слово кажется Гордону и Дудорову «глаголом жизни», утверждающей себя в дочери после смерти и отца, и матери. В том же ряду «глаголов жизни» стоят «Стихотворения Юрия Живаго». Так завершается круг, начатый первыми словами книги: «Шли и шли, и пели “Вечную память”...» (с. 15).

В этом и состоит, как кажется, мысль Пастернака о богоподобии человека, удивительном равенстве, точнее, единосущии его существования во всех житейских мелочах и подробностях с Природой, Историей, Творцом.

Список литературы

Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989.
Иванов Г. Стихотворения. СПб., 2005.
Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989.
Степун Ф. Б.Л. Пастернак // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей: В 2 т. Т. 2. М., 1994.

Сведения об авторе: *Руденко Мария Сергеевна*, канд. филол. наук, ст. преп. кафедры истории русской литературы XX века филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: liza_rudenko_1996@mail.ru

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕДЗВЕЦКОГО

УШЕЛ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

22 декабря 2014 г. внезапно, скоропостижно скончался заслуженный профессор МГУ Валентин Александрович Недзвецкий, за предыдущие восемь месяцев почти совсем поправившийся после микроинсульта. Потеря невосполнимая. На филологическом факультете в последние десятилетия мало кого можно было поставить рядом с этим ученым и общественным деятелем.

В.А. Недзвецкий – выходец из народной глубинки. Он родился 21 апреля 1936 г. в селе Малые Щербиничи Злынковского района Брянской области. Его родители были учителями из крестьян. Детство его опалено войной. Она застала пятилетнего мальчика с матерью и двумя братьями в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области. Отец был на фронте. Семья советского офицера должна была спасаться от оккупантов в глухой белорусской деревушке Однополье. Вся эта деревня вместе с семьей Недзвецких летом 1943 г. перекочевала в дремучие леса Белоруссии, где и дождалась прихода Красной Армии. Перед этим пришлось пережить тяжелейший голод. Спасавшие от него детей-двойняшек мать и старший брат Аркадий (1927–1977), впоследствии описавший антифашистское сопротивление на Брянщине в повестях «Там, где течет Навля» и «До первой карательной», непоправимо подорвали свое здоровье. Сказались эти испытания и на здоровье Валентина, но не ожесточили его, а морально закалили. О них рассказано в его воспоминаниях. Профессию же он выбрал сугубо гуманитарную.

В 1953 г., окончив с серебряной медалью школу в г. Новозыбкове, В.А. Недзвецкий поступил на филологический факультет МГУ и учился на одном курсе с М.Л. Ремневой, Б.С. Бугровым, А.С. Карповым, В.И. Фатющенко и другими впоследствии видными деятелями факультета и российской науки. Из преподавателей наибольшее влияние на студента Недзвецкого оказали С.М. Бонди, Н.А. Глаголев, Н.И. Либан, В.Н. Турбин.

В студенчестве, как и вся страна, он был потрясен разоблачением «культа личности» Сталина и с тех пор носил в себе идеал демократизации нашей жизни, хотя понимал, что даже в современных условиях он в полной мере нереализуем. Валентин Александрович написал вос-

поминания и о своих студенческих годах, способствовал тому, чтобы этому пятилетию жизни филологического факультета (1953–1958) была посвящена книга «Время, оставшееся с нами» (2004). Другая мемуарная книга, среди членов редколлегии и авторов которой был Недзвецкий, называется «Моховая, 9–11. Судьбы, события, память. Воспоминания филологов» (2010).

По окончании университета Валентин Александрович оказался очень далеко от столицы, да и от филологии: в 1958–1959 гг. был заведующим школьно-пионерским отделом Эвенкийского окружкома ВЛКСМ в поселке Тура на севере Красноярского края, потом в Москве нештатным корреспондентом областной партийной газеты «Ленинское знамя» и в Брянске – редактором областного комитета по радиовещанию и телевидению. В 1961 г. он поступил в аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Но и по ее окончании ему не удалось сразу закрепиться в большой науке, хотя литературоведческие работы он публиковал с 1966 г., а вообще в печати выступал с 1956-го (в «Комсомольской правде», журнале «Смена»). Работал старшим редактором в издательстве «Просвещение» (1964–1970), старшим редактором и специальным корреспондентом «Литературной газеты» (1970–1973). В годы общественного застоя с огромным трудом приходилось доводить до читателя любую живую мысль. В.А. Недзвецкому как редактору удалось, в частности, напечатать книгу Г.Д. Гачева «Содержательность художественных форм. Лирика. Эпос. Театр» (1968, переиздана в 2008 г. с послесловием Недзвецкого).

Кандидатская диссертация, защищенная Валентином Александровичем в ИМЛИ в 1973 г., называлась «Реализм И.А. Гончарова». В начале того же года он стал преподавателем кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ и затем с опозданием по отношению к большинству коллег прошел все ступеньки до звания профессора. Но как преподаватель и ученый работал чрезвычайно много и плодотворно. Валентин Александрович читал лекционные курсы по русской литературе второй половины и второй трети XIX в., по критике XVIII–XIX вв., по истории русского романа XIX столетия. Читавшиеся им спецкурсы – «Роман И.А. Гончарова и его место в истории “эпоса нового мира”», «Закономерности развития русского романа XIX века», «Русский классический роман: менталитет героя», «Мотивы и коллизии русской классики в отечественной литературе XX века», «История русского романа XIX века: классическая форма», «Неклассические формы русского романа XIXвека», «Русский роман XIX века в одножанровом литературном контексте

Западной Европы», «И.С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя», «Роман И.А. Гончарова и его место в истории данного жанра», «Мотивы и коллизии русской классики в отечественной прозе XX века». Семь из лекционных курсов Недзвецкого имеют *печатные* варианты.

Неоднократно В.А. Недзвецкий преподавал русскую литературу за границей: по одному месяцу в Болгарии, Италии и Германии, три месяца – в Гвинее, впоследствии в Азербайджане, а с 1983 по 1986 г. – в Венгрии, Будапештском университете. Там он по завершении своей работы издал первую книгу – курс лекций «Русская советская литература (1917–1941)», где уделялось большое внимание творчеству писателей, к которым в социалистическом лагере относились с подозрением (тогда они почти не фигурировали не только в учебниках, но и в лекционных курсах, а теперь занимают в них центральное место). В 1989 г. последовало продолжение – новая книга охватывала период с 1941 по 1985 г. В ней много говорилось о «деревенской прозе». Позже, в 1999 г., Валентин Александрович посвятил этому выдающемуся явлению отечественной литературы второй половины XX в. специальную книгу (в соавторстве).

В конце 1970-х годов В.А. Недзвецкий принял самое активное участие в подготовке восьмитомного Собрания сочинений Гончарова и целиком подготовил пятитомное в 1996 г., в 1987-м выпустил с сопроводительной статьей и комментариями сборник Гончарова «На родине», в 1995-м – «Обыкновенную историю» (послесловие) и в 1999-м – «Необыкновенную историю» (два разных издания); в 1984-м переиздал, также со справочным аппаратом, составленный Н.А. Некрасовым в 1845 г. сборник «Физиология Петербурга»; в 1997-м его подробные комментарии были включены в 4-й том Собрания сочинений Н.С. Лескова в 30 томах.

Как человек добросовестный и ответственный В.А. Недзвецкий много занимался общественной и всякого рода организационной работой: был начальником курса, редактором факультетской стенгазеты, начальником сельхозотряда, заведующим кафедрой эстетики университета марксизма-ленинизма при парткоме МГУ, занимался и собственно партийной работой, но отнюдь не в официозном духе. В годы перестройки на факультете шли бурные процессы, связанные с демократизацией; весьма сильным было и сопротивление им. Некоторые общественно активные люди стремились сделать все возможное для изменения нашей жизни. Среди них выделялся В.А. Недзвецкий. Он жил не ради себя, радовался любому успеху, выступал с самыми решительными инициативами, а люди косные платили ему только не-

доброжелательством. Сделать удалось гораздо меньше, чем хотелось. Это стоило нервов и опять-таки здоровья.

Когда наступила новая, постперестроечная эпоха, Валентин Александрович сосредоточил свое внимание прежде всего на науке. В 1992 г. он опубликовал монографию «И.А. Гончаров – романист и художник», в 1993-м защитил докторскую диссертацию «Фазы русского социально-универсального романа XIX века» (монография «Русский социально-универсальный роман XIX века» вышла четыре года спустя), в 1994-м выпустил курс лекций «Русская литературная критика XVIII–XIX веков», в 1996-м – книгу «Романы И.А. Гончарова», которая открыла основанную Издательством Московского университета по инициативе В.А. Недзвецкого серию «Перечитывая классику. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам». Валентин Александрович возглавил редколлегию этой серии. В ней вышло 56 книг, в том числе книги Недзвецкого (кроме «Русской “деревенской” прозы» и «Романов И.А. Гончарова») «От Пушкина к Чехову» (1997), «И.С. Тургенев» (1998, в соавторстве), «Роман Н.Г. Чернышевского “Что делать?” и его оппоненты» (2003). Вне этой серии опубликованы книги «И.С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя» (2008), «Русская литературная критика XVIII–XIX веков» (2008, в соавторстве), «Русская литература XIX века. 1840–1860-е годы» (2010, при участии Е.Ю. Полтавец), «Роман И.А. Гончарова «Обломов». Путеводитель по тексту» (2010), «Русский роман XIX века. Неклассические формы» (2010), «Статьи о русской литературе XIX–XX веков. Научная публицистика. Воспоминания» (2011), «Русский роман XIX века: спорные и нерешенные проблемы. Научная публицистика. Мемуары» (2012), «Русский роман XIX века: спорные и нерешенные вопросы жанра» (2013). Посмертно напечатан сборник статей «Шестнадцать шедевров русской литературы» (2014), где говорится и о нескольких произведениях XX–XXI вв.

Если семь книг В.А. Недзвецкого – опубликованные курсы лекций, то среди остальных преобладают монографии. Их ядром стали книги «Русский социально-универсальный роман XIX века», «История русского романа XIX века: неклассические формы» и «Русский роман XIX века: спорные и нерешенные вопросы жанра». Это своего рода научная трилогия, охватывающая *все* жанровые *разновидности* широко понимаемого отечественного романа XIX столетия как в его центральных формах (таковы «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя, романы Гончарова, Тургенева, Достоевского, Л.Н. Толстого), так и в 11-ти

периферийных формах, рассмотренных в свете причин их возникновения, времени активного литературного бытования и с учетом степени воздействия на последующий русский и всемирный роман. Это была успешная попытка создания *истории и типологии* русского романа XIX в., исполненная не коллективом соответствующих специалистов, а одним автором.

Несколько книг Валентина Александровича переиздано (в том числе неоднократно) и продолжает переиздаваться. Многочисленны его концептуальные статьи. Он явился инициатором коллективного труда «Сравнительное литературоведение. Россия и Запад. XIX век» (2008) и автором двух статей в нем. Всего ему принадлежит около 300 научных публикаций. Статьи В.А. Недзвецкого печатались в периодических литературоведческих изданиях Венгрии, Польши, Сербии, Китая, Тайваня и США. С докладами о Пушкине, Гончарове, Тургеневе, Достоевском, Белинском В.А. Недзвецкий выступал на 16 Международных научных конференциях (в 1985 г. в Будапеште и Дебрецене; в 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 в Ульяновске; в 1993, 1994, 1996, 2008, 2010, 2012 в Москве; в 2012 в Пекине) и на VIII Конгрессе МАПРЯЛ (г. Регенсбург, Германия).

Широкую востребованность книги и статьи Недзвецкого получили в студенческой и научной среде России и стран СНГ (в особенности Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана), а также в Берлинском университете им. В. Гумбольдта, в Сорбонне (Париж), в Институте русского языка при Пекинском университете (КНР).

Под научным руководством В.А. Недзвецкого защитили кандидатские диссертации многие аспиранты, в том числе иностранцы Лицзю Ван (КНР), Абди Мохаммад (Сирия), Теймури Реза (Иран), Хонг Джи Хва и Ку Бон Иль (Республика Корея). В.А. Недзвецкий был научным консультантом по успешно защищенным докторским диссертациям В.А. Беглова (г. Стерлитамак, Башкортостан) и И.А. Беляевой (МГПУ), консультантом ряда иностранных стажеров.

В 2002 г. в Издательстве Московского университета им была основана и возглавлена новая книжная серия – «Классика жанра», а затем по его инициативе создается еще и серия «Университетские курсы лекций», гордостью которой стала книга лекций Н.И. Либана, одного из учителей Недзвецкого. Валентин Александрович входил в редколлегию этой серии, как и еще одной – «Путеводитель по классическим произведениям» («Школа вдумчивого чтения»). Был он также членом редколлегии научного журнала «Атриум». Работал в диссертационных советах по русской литературе при МГУ и Тверском государственном университете.

Как организатор науки Валентин Александрович проявил себя далеко не только в издательской деятельности. Он постоянно выдвигал свежие идеи для коллективной реализации. Например, еще в советское время он предлагал провести конференцию по теме «Русская литература и христианство». Идея осуществилась лишь в 1994 г., по материалам представительной конференции был издан сборник. С тех пор широко распространилось религиозное – нередко и откровенно клерикальное – литературоведение, претендующее на то, чтобы заменить былую «единственно верную» марксистскую методологию своей, уж совсем единственной и непогрешимо верной. И тогда В.А. Недзвецкий организовал на факультете встречу многих литературоведов различных ориентаций, которые высказали интересные мысли по этой проблеме, и сам сделал на ней обстоятельный вводный доклад (ноябрь 2005 г.). Он также был инициатором первой в России Международной научной конференции по творческому наследию И.А. Гончарова (Ульяновск, 1992) и (совместно с К.А. Степаняном) Международной конференции «Ф.М. Достоевский и мировая культура» (Москва, 1996). В апреле 2012 г. филологический факультет МГУ совместно с ИМЛИ РАН и Гослитмузеем провел инициированную В.А. Недзвецким Всероссийскую научную конференцию «Северный Кавказ и русская литература XIX–XX веков».

Желая отдать должное лучшим из предшественников, Валентин Александрович в 2009 г. организовал (не имея никакой административной должности!) круглый стол, посвященный литературоведам старшего поколения, многие из которых при этом присутствовали. Выдвигал он и наиболее широкую инициативу: предлагал провести всероссийский форум «Место и роль российских гуманитариев – ученых и творческих работников – в обеспечении национальной безопасности и прогресса» и создать Ассоциацию вузовских гуманитариев, которая бы защищала подлинную духовную культуру, ныне находящуюся в демонстративном пренебрежении.

Как активного гражданина нашей страны профессора В.А. Недзвецкого характеризуют многочисленные статьи, посвященные им в последние годы защите русского языка и русской литературы от негативных последствий ЕГЭ и опубликованные в массовой печати: «Литературной газете», газете «Слово», в журналах «Образование и общество», «Московский Парнас», «Наука и религия», «Практический журнал для учителя и администрации школы», а также в периодическом сборнике «Вместе к Победе…» (2012) и других изданиях. Он один из авторов и составителей сборника «Белая книга.

Единый государственный экзамен» (2009) и второй Белой книги «ЕГЭ и судьбы российского образования», телевизионная версия которой размещена в Интернете.

В 2008 г. Валентин Александрович стал лауреатом литературной премии, посвященной 200-летнему юбилею И.А. Гончарова.

Он пытался активизировать работу филологов в общероссийском масштабе. Так, еще в 1992 г. он предложил создать Ассоциацию вузовских филологов. Поддержавшие эту идею литературоведы избрали его президентом Ассоциации, но перестроечный энтузиазм уже прошел – президент не обрел деятельных сподвижников. Равным образом «Международная академия наук педагогического образования», членом-корреспондентом которой В.А. Недзвецкий стал в 1996 г., не оправдала возлагавшихся на нее надежд.

Неудачи и трудности со здоровьем не обескураживали Валентина Александровича. Он всегда оставался инициативным, старался воодушевить, подвигнуть на новые дела более молодых. Его настойчивость, упорство, въедливость по-прежнему не всякому нравились, у кого-то вызывали досаду и отторжение. Но профессор Недзвецкий, какие бы скептические высказывания себе ни позволял, оставался гуманистом и идеалистом, мечтавшим о том, чтобы его и нас окружали люди яркие, сильные, талантливые, независимые и благородные, личности в полном смысле слова.

Человек огромной эрудиции и здравого ума, кристально честный и в высшей степени неравнодушный, Валентин Александрович Недзвецкий достоин того, чтобы его мечты когда-нибудь осуществились и чтобы люди воздали дань его светлой памяти по справедливости.

С.И. Кормилов

ИЗ ОТКЛИКОВ НА СМЕРТЬ В.А. НЕДЗВЕЦКОГО

Уважаемые коллеги,

примите самые искренние соболезнования по случаю кончины Валентина Александровича Недзвецкого от имени всех историков русской литературы Ягеллонского университета.

Валентин Александрович был замечательным специалистом, превосходным знатоком русской классики. Его книги пользовались большой популярностью в Польше. Все мы в некоторой степени его ученики. Память о нем никогда не покинет умы всех тех, кто любит и чтит русскую литературу.

Заведующий кафедрой истории русской литературы средневековья и Нового времени Ягеллонского университета в Кракове доктор филологических наук, профессор *Василий Георгиевич Щукин*

* * *

Здравствуйте, уважаемая и дорогая Елена Юрьевна!

С потрясением узнал, что наш любимый и уважаемый Валентин Александрович ушел от нас навсегда. Мне очень печально, скорбно, скорбно, тяжело... В моей родной России я потерял самого близкого и родного друга, самого благородного и эрудированного учителя, филфак МГУ потерял самого великого и выдающегося ученого. Между нами много невысказанного, невыразимого ... Вот так Бог неожиданно отвел Вас на другой свет... После того, как я узнал от Димы такую печальную весть, желал бы сразу позвонить Вам по телефону, но весьма жалко, ни в моем домашнем телефоне, ни в моем мобильнике не имеется международной услуги. Около нашего университета нет телефонной станции. Мне приходится писать Вам. <…>

С самым глубоким соболезнованием!

Ваш *Ван Лие*[1]

* * *

Дорогая Елена Юрьевна!

До глубины души потрясло меня это страшное и неожиданное известие, я же буквально перед тем отправляла свои наилучшие пожелания Вам. Неужели такое могло случиться с таким прекрасным человеком со светлой головой и под такой праздник? Примите мои

[1] Ван Лие – профессор Пекинского университета иностранных языков (КНР).

искренние соболезнования и пишите в любое время, хотелось бы помочь, если это, конечно, возможно.

Ваша *Ангелика*[2]

* * *

Сегодня от С.И. Кормилова пришло трагическое известие об уходе из жизни В.А. Недзвецкого.

От всей души выражаю свои глубочайшие соболезнования! С болью утраты вспоминаю о его прекрасных лекциях на филологическом факультете МГУ, о встречах на научных конференциях. Не сомневаюсь, что светлая память о Валентине Александровиче навсегда останется в сердцах его студентов и коллег.

Светлана Ефимова
(аспирантка Берлинского Свободного университета)

* * *

Огромной болью отозвалась в моем сердце кончина моего большого друга, известного литературоведа, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Александровича Недзвецкого.

Русская филология понесла невосполнимую утрату. Исследования профессора Недзвецкого по русской литературе, и особенно по И. Гончарову, безусловно, являются вкладом в филологию, а содержательные лекции по истории развития литературного процесса по каналу «Культура» останутся в нашей памяти яркой страницей.

В 2013 году Валентин Александрович приезжал в Ереван – на международную Тургеневскую конференцию. Его доклад «В гуманитарном контексте эпохи», опубликованный в сборнике, характеризует глубину философской мысли и исключительное филологическое мышление, редкое в наши дни, присущее лишь гуманисту, отзывчивому товарищу и Учителю.

Моя последняя встреча с Валентином Александровичем состоялась 2 декабря сего года в Москве, в его доме, и не предвещала грядущей трагедии. Печально, что мы потеряли сердечного друга и яркого собеседника. Мне очень больно. Я склоняю голову перед его памятью. Скорблю...

Михаил Давидович Амирханян, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского языка и культуры ЕГУ[3] им. В. Брюсова, председатель общества Дружбы «Армения – Россия» АОКСа

---

[2] Ангелика Молнар – доцент Западно-венгерского университета (г. Сомбатхей, Венгрия).

[3] Ереванский гуманитарный университет.

* * *

Белорусские ученые, коллеги, литературоведы выражают соболезнования в связи с кончиной Валентина Александровича Недзвецкого.

Большой ученый, человек-эпоха, для следующих поколений ученых он останется образцом служения своему делу, любви к своему предмету и к людям, которым он щедро дарил свой ум и талант.

Помним и скорбим об утрате.

От себя лично выражаю глубокие соболезнования Елене Юрьевне Полтавец и всем близким Валентина Александровича.

Верина Ульяна Юрьевна,
филологический факультет
Белорусского государственного университета, Минск,
Республика Беларусь

* * *

Выражаем глубочайшие соболезнования в связи с кончиной настоящего преподавателя и ученого, безвременно покинувшего нас. Ему принадлежат интереснейшие труды по истории русской литературы, прежде всего по истории русского романа 19 века. Его идеи, нашедшие отражение в публикациях и лекциях, надолго останутся в памяти читателей и слушателей.

Проф. кафедры русского языка[4] *О.В. Кукушкина*

Старший научн. сотрудник ЛОКЛЛ[5] *Е.В. Суровцева*

* * *

Дорогая Елена Юрьевна! Искренне соболезную Вашему горю, потрясена кончиной Валентина Александровича, только что разговаривала с ним, восхищалась его ясным умом, заботой о нашем общем деле. В основном он говорил о Вас, о Вашей талантливости, о завершении тургеневской главы; он Вас очень любил. Он был крупный ученый и прекрасный человек.

С искренним уважением и сочувствием

В. Аношкина[6]

* * *

---

[4] Филологический факультет МГУ.

[5] Лаборатория общей и компьютерной лексикологии и лексикографии (филологический факультет МГУ).

[6] В.Н. Аношкина – профессор Московского государственного областного университета.

С глубокой скорбью узнали о кончине Валентина Александровича Недзвецкого, большого ученого и светлого человека. Выражаем искреннее соболезнование Елене Юрьевне и филологическому факультету Московского университета.

Проф. РУДН[7] *Шелемова А.О.*

Проф. МИОО[8] *Федотов О.И.*

* * *

Дорогая Елена Юрьевна, дорогой Никита Валентинович!

Примите самые искренние и глубокие соболезнования. Многих вам сил и мужества в несении вашей потери.

Валентин Александрович – удивительный, умный, глубокий человек. Его будет не хватать всем нам. <…>

Сил вам еще раз и помощи Божией в эти трудные дни.

Сердечно.

Ваша Анастасия Гачева[9]

* * *

Дорогая Елена Юрьевна! До глубины души поражен печальным известием. Это – невосполнимая потеря для науки, для всех нас. Для меня – это большая личная утрата: ведь наша дружба длилась более полувека. Сочувствую и сопереживаю всей душой. Держитесь!

Александр Гуревич[10]

* * *

Дорогая Елена Юрьевна!

Только что узнала от Владимира Яковлевича[11] о вашей утрате! Сложно что-либо сказать в такой ситуации – слова кажутся дежурными и поверхностными.

Просто хотелось, чтобы Вы чувствовали мою молчаливую поддержку и сочувствие.

Искренне Ваша,

Я.Л.[12]

---

[7] Российский университет дружбы народов.

[8] Московский институт открытого образования.

[9] А.Г. Гачева – доктор филологических наук (ИМЛИ, Музей-библиотека Н.Ф. Федорова).

[10] А.М. Гуревич – член редколлегии журнала «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка».

[11] В.Я. Линков – профессор факультета журналистики МГУ.

[12] Я.С. Линкова – доцент Высшей школы экономики.

* * *

Уважаемая Елена Юрьевна!

Мне только что стало известно, что Валентина Александровича уже нет с нами. Я не знаю, как могла бы Вас поддержать, но, пожалуйста, примите мои искренние соболезнования. Уверена, что все студенты и выпускники филологического факультета МГУ, которым, как и мне, посчастливилось слушать лекции Валентина Александровича или, работая под его научным руководством, знать его более близко, чем довелось мне, присоединили бы к этим соболезнованиям свои голоса. Память о Валентине Александровиче всегда останется с нами.

Мария Баликова[13]

* * *

Уважаемая Елена Юрьевна!

Позвольте выразить Вам мои глубокие соболезнования!

И я так и не успел лично познакомиться с Валентином Александровичем, книги которого я хорошо знаю.

Буду читать теперь Вашу книгу о «Капитанской дочке», чаще обращаться к работам Валентина Александровича и непременно пришлю или привезу Вам мои «Лики и отраженья».<…>

С глубоким уважением

С.А. Кибальник [14]

* * *

Глубокоуважаемая Елена Юрьевна! С запозданием, но от всей души выражаю Вам соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Александровича! И передаю соболезнования гончаровской группы! Светлая память! Работы Валентина Александровича о Гончарове, и не только о нем, были и остаются филологической классикой. Дай Бог Вам сил и здоровья в тяжелые дни. Очень и очень горько, что из-за медленной подготовки томов ПССиП Гончарова наше сотрудничество с Валентином Александровичем все откладывалось и откладывалось. Тем не менее я решаюсь обратиться к Вам с просьбой. Не согласитесь ли Вы, чтобы статья Вал. Александровича “Эпистолярный жанр в творчестве и в жизни Гончарова”, напечатанная в 102-м томе «Литнаследства», стала открывающей, как мы и планировали, в 1-м томе писем академического ПСС Гончарова

[13] М.С. Баликова – аспирант и лаборант кафедры истории русской литературы XX века филологического факультета МГУ.

[14] С.А. Кибальник – доктор филологических наук, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (Санкт-Петербург).

(т. 15)? Том наконец почти готов, проходит научно-техническую редактуру. Если это возможно и только при Вашем согласии и участии, мы предполагаем текст статьи очень незначительно сократить (исключив только то, что связано непосредственно с письмами 102-го тома). Включение статьи Валентина Александровича будет большой честью для издания.

С искренним сочувствием и глубоким уважением,

Анна Гродецкая[15] (ИРЛИ)

* * *

Дорогая Елена Юрьевна!

Потрясена сообщенным Вами известием. Я на следующее утро после приезда почувствовала недомогание и в среду «свалилась» в гриппе – так что вести до меня не дошли. Валентина Александровича я знаю по работам и когда-то штудировала его замечательное исследование по советской литературе, будучи девятнадцативечником. Его Тургенев и Гончаров у меня есть, я на них опираюсь и считаю его своим учителем в литературоведении. Я не могу представить, как могут уходить из мира такие люди. Да они, конечно, и не уходят, хотя бесконечно жаль, что обрывается с ними живая связь. Бесконечно Вам сочувствую, держитесь. Валентин Александрович жил работой, и мы так живем и будем жить дальше, сколько нам отпущено. <…>

Обнимаю Вас и скорблю вместе с Вами.

Ваша *Наталья Леонидовна*[16]

* * *

Дорогая Елена Юрьевна! Два дня назад мы узнали в Пушкинском Доме о страшной для Вас и нас всех утрате. Несколько раз я Вам звонил – не дозвонился. Не верил, не хотел верить. Ведь в ноябре мы с Вами виделись, Валентин Александровичи был полон надежд на будущее, сделал замечательный доклад, задавал вопросы. Казалось, что его сильный организм и оптимизм победит все болезни...

Пишу эти строки, и сердце слезами обливается. Два дня я и Ольга Бодовна не можем прийти в себя. Не могу поверить, что Валентина Александровича нет с нами. Неправда! Он всегда будет с нами. Такие люди, как он, не уходят, они живут в трудах, делах, нашем сознании. Он с нами и в наших мыслях, мы думаем его образами и питаемся его идеями, ведь он – не только выдающийся филолог, но великий гражданин Земли Русской. <…>

---

[15] А.Г. Гродецкая – научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН (Санкт-Петербург).

[16] Н.Л. Вершинина – профессор, заведующая кафедрой литературы Псковского государственного университета.

Вчера отправил Е.Г. Петраш статью в сборник ноябрьской конференции с посвящением памяти Валентина Александровича. Думаю, что будут сборники и книги, посвященные его памяти. Я очень хочу написать о Валентине Александровиче.

Пожалуйста, берегите себя, мы с Ольгой разделяем Вашу скорбь и Вашу беду.

В.А. Доманский[17]

* * *

Глубокоуважаемая Елена Юрьевна!

Я потрясен известием о кончине Валентина Александровича. Только переступил порог дома после возвращения из Москвы и открыл компьютер, чтобы сообщить Валентину Александровичу, что благополучно вернулся, и поблагодарить еще раз за замечательные книги, – и сразу же получаю такое скорбное послание. Одновременно пришло письмо и от И.А. Беляевой с той же вестью.

Дай Вам Бог выдержать это потрясение и испытание. Горько и трагично, что уходят лучшие, умнейшие, культурнейшие люди, гордость Отечества. Мы сиротеем, теряя замечательных людей, не выдерживающих насилия современного социума, о чем очень тревожился и сам Валентин Александрович во время нашей встречи 21 декабря, как оказалось, за несколько часов до своего ухода. С какой болью он говорил о том, что людей сталкивают друг с другом, заставляя думать о выживании, убивают пустой, формальной, бюрократической псевдодеятельностью, перегружая тяжелыми и крайне утомительными, опасными для здоровья бюрократически-чиновничьими процедурами...

И ведь ничто не предвещало такой беды во время нашей встречи: Валентин Александрович подписывал мне свои книги, было столько радости от дружеского, творческого общения...

Мы скорбим, потеряв хорошего друга, собеседника, коллегу, яркого ученого, самобытного мыслителя.

Валентину Александровичу дарует Бог Царствие Небесное. А нам его будет очень и очень не хватать. Конечно, книги его будут жить. Я и в Москве, как Валентин Александрович предлагал, две книги (вторые экземпляры) передал от имени их автора коллегам, очень в них нуждающимся. Все остальные привез в Ставрополь и постараюсь, чтобы ученые, студенты пользовались ими в своей работе. Это будет лучшим выражением памяти о прекрасном ученом и Человеке такой непростой и одновременно прекрасной судьбы.

Искренне Ваш – *В.М. Головко*[18]

---

[17] В.А. Доманский – профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

[18] В.М. Головко – профессор Ставропольского педагогического университета.

* * *

Филологи Пятигорска, среди которых и ученики Валентина Александровича, глубоко скорбят по поводу кончины крупного ученого, благородного человека и мудрого учителя.

Бесконечно жаль, что такие люди уходят. Мужества и стойкости семье Валентина Александровича. Душа его во благих водворится!

С уважением,

Вячеслав Шульженко[19]

* * *

Сергей Иванович, спасибо Вам, что сообщили. Для меня это очень большая личная потеря!!!

Валентин Александрович очень много значил для меня!!!

Неужели его что-то расстроило настолько, что спасти было уже нельзя? Что случилось?

Он ведь так хорошо выкарабкался из инсульта!!!

Завтра по указанному Вами адресу отправят слова соболезнования из наших вузов (ЧГУ, ЧГПИ), АН, дагестанских вузов (ДГУ, ДГПУ) и Пятигорского университета (ПГЛУ).

Примите мои соболезнования и Вы, Сергей Иванович, у нас с Вами был лучший и достойнейший Друг!

Очень горько осознавать, что Землю покидают такие замечательные люди, когда многие продолжают ее засорять одним своим присутствием на ней!..

Не знаю, какие слова утешения написать Лене...

Марьям Вахидова[20]

* * *

Дорогие друзья, коллеги!

Сегодня узнал у Марьям Вахидовой об уходе в мир иной великого ученого, Недзвецкого Валентина Александровича.

Хотя я лично не был с ним знаком, не смотрел ему в глаза, ни разу не пожал ему руку, но ВЫСОКОЕ мнение о Валентине Александровиче уважаемой мной Марьям заставило меня обратиться к вам с чувством скорби, разделяя ваше горе. Когда в телефонном разговоре я сообщил эту новость своим друзьям Президенту и Вице-президенту Академии наук Чеченской Республики Гапурову Ш.А. и Дадашеву Р.Х., они попросили меня от своего имени выразить соболезнование и обещали от Президиума Академии отправить телеграмму.

---

[19] В.И. Шульженко – профессор Пятигорского государственного лингвистического университета.

[20] М.А. Вахидова – чеченский литературовед.

Вечная память ему!
С уважением,

директор ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова»

Харон Болотбиев

* * *

Дорогая Елена Юрьевна! Вчера от Рузаны Арменовны Бунатян мы узнали, что не стало Валентина Александровича. Это известие нас ошеломило. Более тридцати лет мы были знакомы, всегда чувствовали поддержку Валентина Александровича, со всеми проблемами обращались к нему за советом. Он очень много сделал для нашего музея. Мы всегда думали о нем не только как о крупном ученом, ведущем гончарововеде страны, но и как о добром друге нашего музея. Очень тяжело осознавать, что Валентина Александровича больше нет. Примите искренние соболезнования и слова поддержки от всех сотрудников музея И.А. Гончарова, от всех, кто знал Валентина Александровича.

Ваши *Ирина Вениаминовна Смирнова*,
Антонина Васильевна Лобкарёва,
Маргарита Борисовна Жданова

Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова,
г. Ульяновск

* * *

Кафедра книжного дела Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского выражает искренние соболезнования по поводу смерти профессора кафедры истории русской литературы МГУ Валентина Александровича Недзвецкого – одного из крупнейших современных исследователей русской литературы. Дважды Валентин Александрович принимал участие в международной конференции «Голоса русской провинции», проводимой в Ярославле, и каждый раз его доклад поражал нас огромной эрудицией, удивительной точностью филологического анализа и неожиданными поворотами в развитии исследовательской мысли. Для нас Валентин Александрович навсегда останется образцом настоящего ученого, человека, искренне увлеченного своим делом и упорно работающего в любых условиях, сильного духом и в то же время удивительно простого и заботливого в общении.

Маргарита Гелиевна Пономарева,
заведующая кафедрой книжного дела ЯГПУ

* * *

Уважаемая, дорогая Елена Юрьевна!

Примите самые искренние соболезнования...

Мы с супругой часто вспоминали Вас и Валентина Александровича... Остается сожалеть, что мы так поздно с Вами познакомились, практически и пообщаться толком не успели...

Но Ваш последний приезд в Ярославль, на Васильевские чтения, мы будем помнить всегда...

Просто немыслимая, огромная потеря для всех нас...

Помню и первый приезд Валентина Александровича на Васильевские чтения. Николай Николаевич Пайков[21], когда говорил о Валентине Александровиче, всегда повторял: «Недзвецкий – патриарх российской филологии...»

Держитесь, дорогая Елена Юрьевна. Мыслями и сердцем мы с Вами.

Илья Васильев[22]

[21] Н.Н. Пайков (1951–2010) – гуманитарий широчайших интересов, организатор научной части «Васильевских чтений» (другое название – «Голоса русской провинции»), периодически проходивших на ярославской земле.

[22] И.Г. Васильев – секретарь комиссии по литературному наследию Константина Васильева (Ярославль).

В.А. Недзвецкий

Н.И. ЛИБАН О РУССКОМ КЛАССИЧЕСКОМ РОМАНЕ

На похоронах Н.И. Либана в декабре 2007 г. присутствовали очень многие. Но только у В.А. Недзвецкого во время отпевания стало плохо с сердцем. Он не смог продлить свое прощание с дорогим учителем до самого конца.

Впрочем, он и не распростился с Николаем Ивановичем. Он в высшей степени одобрительно отнесся к идее В.Л. Харламовой-Либан издать трехтомник работ ее покойного мужа и воспоминаний о нем, согласился участвовать в этом благородном деле и написал предисловие к предполагавшейся публикации курса лекций Н.И. Либана по истории русского классического романа. Это был основной предмет собственных научных исследований Валентина Александровича. Определенно не без влияния Либана он публиковал и свои курсы лекций, добивался того, чтобы коллеги также шире использовали возможности этой формы научно-педагогической работы.

В статье «Н.И. Либан о русском классическом романе» В.А. Недзвецкий кратко высказался о личности этого выдающегося педагога и ученого, его уже изданных и переизданных письменных трудах и лекциях. Статья была подготовлена до выхода книги Н.И. Либана «Русская литература. Лекции-очерки» (составление и подготовка текста – В.Л. Харламова-Либан; научная редакция, вступительная статья и комментарии – С.И. Кормилов. М.: Прогресс-Плеяда, 2014), в которой был существенно дополнен по разным источникам основной курс лекций Николая Ивановича по древнерусской литературе, исправлен ряд недостатков предыдущих изданий и три курса подробно прокомментированы. Валентин Александрович не успел письменно высказаться об этой книге. Умер ее издатель (а также издатель самой большой книги Н.И. Либана, вышедшей в 2010 г.), ученик Либана С.С. Лесневский, даже и независимо от этого возникли новые сложности в деле издания филологической литературы вообще и трудов этого гения устного слова в том числе, вопрос о продолжении задуманной серии застопорился. В.А. Недзвецкий не терпел давления на него как на ученого, а В.Л. Харламова-Либан весьма настороженно

воспринимала не только критический, но, можно сказать, и просто аналитический подход к наследию ее мужа, даже сопоставление его с чьим бы то ни было другим научным творчеством, хотя сам Николай Иванович требовал от студентов максимально возможного знакомства с работами лучших филологов и историков.

Независимо от того, как в дальнейшем будут публиковаться труды и лекции Н.И. Либана, Валентин Александрович выразил желание, чтобы его статья о нем была напечатана в «Вестнике Московского университета». У него не было причин передумать. Поэтому теперь выполняется фактически его последняя воля.

Перед нами очередной лекционный курс одного из выдающихся российских филологов XX столетия, предлагаемый вниманию студентов и ученых соответствующих специальностей, а также всех, кто любит отечественную литературу и хочет узнать о ней как можно больше. На этот раз он посвящен целому ряду классических русских романов. Но сначала о самом его создателе.

Николай Иванович Либан (1910–2007) – преподаватель и ученый, ставший для учащихся филологического, а вскоре и ряда иных, в том числе естественных, факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова легендой уже при его жизни. «На Либана» вместе с историками, философами, физиками, математиками и биологами ходили и отдельные студенты технических столичных вузов, а также аспиранты, начинающие преподаватели Москвы и стажирующиеся в ней работники периферийных университетов и институтов…

Одна из основных причин тому заключалась в редкой *педагогической* одаренности Н. Либана. В глазах всех, кому довелось его слушать или заниматься в его семинарах, он был прежде всего выдающийся лектор и замечательный наставник или высокопрофессиональный коллега. И таковым он оставался в течение всей своей работы в Московском университете, начавшейся в год 1942-й, когда филологический факультет был в структуре МГУ восстановлен, а закончившейся в 2007-м, т. е. целых 65 лет.

Высокое педагогическое мастерство Либана вкупе с его незаурядным личностным обаянием в полной мере ощутили и мы, студенты-филологи, проучившиеся на филфаке МГУ с 1953 по 1958 г. Восхищал его ораторский артистизм, близкая к импровизации речь, равно богатая в лексике, семантике, выразительных интонациях и вместе с тем логически четкая и ясная, а в значимых формулировках и изящно лаконичная, обращенная к аудитории в 370 человек (такова

была численность нашего курса, в то время обязанного постигать русскую литературу в составе всех своих отделений) и одновременно как будто персонально к каждому из нас. Поражала эрудиция лектора и его познания в области родной словесности, казалось, детально известной ему от фольклора, «Слова о полку Игореве» до стихов А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского и А. Твардовского. Подкупал, а девушек даже чаровал самый его внешний облик (открытое лицо с высоким лбом и пышной, еще не тронутой сединой шевелюрой, статность, неизменная, чем-то напоминающая элегантный профессорский фрак черная «тройка» с белоснежной сорочкой, темным же галстуком и выступающими манжетами), невольно ассоциирующийся в нашем сознании с обликами Николая Надеждина, Тимофея Грановского или Василия Ключевского, как мы представляли их по «Былому и думам» А.И. Герцена, студенческим воспоминаниям И.А. Гончарова и мемуарам других выпускников Московского университета XIX столетия.

И мы, и следовавшие за нами поколения студентов и выпускников филфака МГУ вплоть до конца 1990-х годов почти совсем, однако, не знали Николая Ивановича как регулярного участника периодических научных изданий или автора какой-нибудь «толстой» монографии. Конечно, он печатался [например, в биобиблиографическом словаре «Русские писатели» (М., «Просвещение», 1971)], но относительно редко, в этом отношении заметно уступая некоторым сотрудникам и кафедры истории русской литературы, где он числился всего лишь старшим преподавателем, и других подразделений нашего факультета. Но нас, его восторженных слушателей, это ничуть не смущало. В конце концов, думалось нам, даже знаменитый античный мыслитель Сократ, да и сам Иисус Христос не написали ни строчки, но разве их великое воздействие на современников и потомков сопоставимо с влиянием на свою аудиторию любого профессора или академика с кучей статей и книг, если они не умеет эту аудиторию ими увлечь и духовно-интеллектуально обогатить так, как это изустно удается Либану?!

Но вот минуло четыре десятилетия, и вдруг выяснилось, что Николай Иванович принадлежит к педагогам и ученым, не только рассказавшим, но и *написавшим* за свою жизнь не меньше, а то и больше, чем многие из его титулованных университетских коллег. К тому же в жанре столь же древнем, сколько и вечно молодом, а также всегда широко востребованном. Это – лекции, в разные годы стенографически записанные за Н.И. Либаном либо отдельными из его слушателей, либо по их просьбам и заказам.

С конца 1990-х годов года свет увидели следующие их собрания: «Литература древней Руси» (М., Издательство Московского университета, 2000), «Становление личности в русской литературе XVIII века» (М., Издательство Московского университета, 2003), «Лекции по истории русской литературы (от Древней Руси до первой трети XIX в.)» (М., Издательство Московского университета, 2005).

Отдельным томом в 720 страниц под общим названием «Избранное. Слово о русской литературе» были опубликованы «*Очерки. Воспоминания. Этюды»* Н. Либана, собранные его супругой Верой Львовной Харламовой-Либан и прокомментированные сотрудником-медиевистом кафедры истории русской литературы филфака МГУ А.В. Архангельской. Здесь впервые были опубликованы главы из незавершенной кандидатской диссертации Либана о творчестве Н.Г. Помяловского. И целых шестьдесят страниц заняли *воспоминания* о самом Николае Ивановиче его благодарных учеников, из тех сотен, что прошли через его школу более чем за полвека.

Настоящая книга Либана – в свой черед *лекционный курс*, впервые объявленный и прочтенный им в 1972 / 1973 учебном году, т. е. 40 лет назад. Хронологически он продолжает осуществленный этим ученым обзор русской литературы за огромный исторический период. Но, думается, даже в ряду других либановских курсов он для нынешних филологов-русистов имеет интерес и ценность особые. Они определены как необыкновенной глубиной и сложностью, так и нимало не угасшей актуальностью предмета, которому данный курс посвящен. Ведь это русский роман 1860-х годов, непосредственно – тургеневские «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», гончаровский «Обломов», лесковские «Соборяне», это «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» (и позднейшие «Мещане» и «Масоны») А. Писемского, «Преступление и наказание» и «Бесы» Ф. Достоевского, «Война и мир» Л. Толстого.

Взятые порознь, они – важнейшие литературно-творческие вершины русского романного жанра в пору его расцвета; в своей же совокупности – сам этот эпический жанр в его национально-самобытном виде и смысловом пафосе. Понятно, что, выходя к студентам с научной проблемой *такой* историко-литературной широты, Либан должен был предварительно разрешить для себя целый ряд тех общих теоретических вопросов, ответы на которые в большинстве романоведческих работ того времени либо отсутствовали, либо страдали эмпиризмом и описательностью, не преодоленными

и в коллективной академической «Истории русского романа» в двух томах, изданной в 1962 и 1964 гг.

Добавим к этому и присущий советской филологии диктат «единственно верной» марксистско-ленинской исследовательской методологии, любое отступление от которой в условиях царившего в СССР идеологического единомыслия угрожало ученому карами весьма нешуточного характера. Впрочем, наука всех времен и по собственной воле не скоро расстается с устаревшими, но привычными подходами и понятиями, и их отпечаток нетрудно найти на трудах и самих ее новаторов. Не ушел от них и Николай Иванович Либан.

«Я социолог…» – заявляет он своим слушателям, поясняя, что его «будет интересовать социальная сторона жизни литературы <…>, те <…> вопросы, которые вздыбили русскую жизнь, которые не дают нам покоя и сейчас». На первый взгляд традиционен Николай Иванович и в понимании отношения искусства к действительности (следовательно, и правды художественной к правде жизненной). «…Что бы там ни говорили, – заявлял он в другом месте, – теория отражения является величайшим достижением эстетической, художественной, философской мысли. И в этом наше (т .е. советских литературоведов.– *В. Н.*) огромное преимущество» (т. е. над их зарубежными коллегами из Западной Европы и США).

Фиксируя эти тезисы замечательного ученого, мы вовсе не думаем ему за то пенять. И не потому только, что у них и сегодня множество сторонников. Дело в том, что стоило Либану перейти в своих лекциях к конкретному анализу того или иного из классических русских романов, как *социолог* побеждался в нем *филологом* с адекватными художественному явлению *эстетическими* критериями. Это хорошо видно, например, в лекции Н. Либана о гончаровском «Обломове». Назвав его «романом *антидворянским*», Николай Иванович тут же уточняет: в нем тем не менее «всё по-другому», чем в посвященной ему действительно *антидворянской* статье революционера Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» А дальнейшим скрупулезным разбором истории любви Ильи Ильича к Ольге Ильинской зримо обнажает в нем и его жизненной драме те общерусские и всечеловеческие черты и причины, которые дворянско-барским положением этого героя ни объяснить, ни исчерпать как раз и невозможно. Но для Гончарова они-то в Обломове суть и главные, и самые показательные.

Не злободневную, пусть и социально самую острую для России того периода, а вечную (онтологическую) в своей человеческой

значимости проблему увидел Николай Либан и в других высокохудожественных русских романах 1860-х годов. Это – «проблема личности, проблема человека <…>, его психофизического склада, национального ощущения, его отношения к государству, семье». И был глубоко прав в понимании как эпохи, в которую эти романы создавались, так и их жанровой природы.

Вызванный антифеодальными реформами Александра II *системный* кризис политико-экономических оснований российского государства повлек за собой не только решительный пересмотр его прежних религиозно-моральных, этико-нравственных, эстетических постулатов и норм. Он разрушал и сословно-иерархическую социальную структуру страны, и вековую патриархальную семью, а с ними и традиционные способы общежития, вплоть до бытовых обычаев, «костюма и прически волос» (Т. Богданович). *Главным* гуманитарным результатом этого стал быстрый рост в современниках эпохи (не исключая и части простого народа) *персонально-личностного* начала и сознания своих индивидуальных запросов и прав.

Конечно, раскрепощение от уже стеснительных сословных и семейных уз и связей само по себе не гарантировало россиянину кризисной поры преображения его в собственно *личность*. Не желая отныне быть лишь *частицей* сословия (касты, цеха, корпорации), он в огромном большинстве случаев оказывался только атомизированной, замкнутой на самой себе *особью*. Однако теперь перед ним открылась перспектива связей несравненно более обширных, чем они были в его родительской семье, сословии и всем *патриархальном* государственном укладе во главе с «царем-батюшкой». Возникла возможность его прямого духовно-нравственного единения со своим народом, нацией, человечеством, природой, мирозданием, самим Творцом. И в случае не поглощения индивида этими «общинностями» (А. Герцен) или растворения его в них, а объединения с ними на основе взаимного равноправия и взаимодополнения такой индивид складывался бы в человека, чуждого любой социальной или идеологической ограниченности, цельного, свободного и творческого, чем и отличается личность.

На какой, однако, морально-нравственной и этической основе могло это объединение произойти? «Где, – спрашивает Либан, – та доктрина, где та истина, где тот путь, по которому <следовало> идти?» Ведь основания прежнего общества россиянина уже не удовлетворяли, а новых в ситуации всероссийского «химического разложения» (И. Гончаров), «газообразности» (И. Тургенев), «нрав-

ственного хаоса» (Ф. Достоевский) не существовало. Сверх того, их было бесполезно заимствовать у других народов или подменять некоей теорией (учением, системой), так как к живой жизни России они бы заведомо не прижились. По точному слову Ф. Достоевского, сказанному автором знаменитого романного «пятикнижия» именно в 1860-е годы (аналогичная формулировка есть и у Л. Толстого), эти основы было должно и можно только «*выжить*» собственным национальным опытом, для чего требовалось немалое время.

Вот эту-то гигантскую творческую задачу, оказавшуюся непосильной для российской философии, науки и даже главной государственной религии, и взял на себя русский художественный роман 1860-х годов. А это означало, что его создателям (и героям) предстояло заново и по-новому поставить такие основополагающие вопросы человеческого бытия, как отношения в нем свободы и необходимости, эгоизма (интересов личных) и альтруизма (интересов общих), а также об истоках добра и зла, веры (морали) и неверия (аморализма), красоты и безобразия, в конечном счете вопроса о природе самого человека и его назначении и судьбе на Земле и в мироздании.

Стимулированная самой эпохой 1860-х годов как величайшим в истории России кризисом-*перевалом* ее жизни, названная задача в русском романе данного периода, с другой стороны, диктовалась и *родовой* сущностью этого жанра. Ведь в отличие от древнего эпоса (героической эпопеи или эпической поэмы) с его «нераздельностью индивидуальной и народной души» (А.Н. Веселовский), роман с самых ранних его видов (романа *плутовского*, нравоописательно-дидактического), тем более в пору его литературного торжества признает и утверждает принципиальную «аутономию» (Герцен) своего героя от окружающего его общества и мира. О своем постоянном «сражении» за «право личности» скажет в письме к С.Т. Аксакову от 25 мая / 6 июня 1856 года И.С. Тургенев; протестом против обезличивающих человека «образов жизни» или учений (например, Шарля Фурье и Н. Чернышевского) исполнены романы И. Гончарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого. Да и сами эти великие отечественные романисты были, подобно А. Пушкину, М. Лермонтову, Н. Гоголю, вовсе не представителями и выразителями интересов дворянства, мещанства или «патриархального крестьянства», как изображала их вульгарная социология, а именно личностями общероссийского и мирового масштаба.

Иронической репликой в адрес литературоведов помянутого толка, кстати, начинается и настоящий лекционный курс Н. Либана.

Но не полемика с кем-то из них, а талантливое углубление и обогащение плодотворных идей одного из крупнейших отечественных исследователей романного жанра – вот что привлекало к лекциям Никола Ивановича его слушателей. Как однажды рассказал Сергей Георгиевич Бочаров, Либан еще на рубеже 1940–1950-х годов советовал его сокурсникам побольше читать труды академика Александра Николаевича Веселовского. Необычность такого совета заключалась в том, что беспрецедентное в его объеме и ценности научное наследие этого великого русского филолога было – в итоге прошедшей в эти же годы «дискуссии» о нем – официально осуждено, значит, для использования в учебном процессе и запрещено. «Незаконная» рекомендация его студентам поэтому говорит не только о педагогическом мужестве Н. Либана и его научной добросовестности. Это была, думается, и акция гражданина, желавшего, чтобы учащиеся МГУ, отыскав и изучив среди прочих монографий А. Веселовского его исследования «Из истории романа и повести», «История или теория романа?» (1886), должным образом оценили одухотворяющую данные труды общую идею. Ибо и становление романа, и господствующее его положение в европейских литературах XIX столетия в первую очередь обусловливалось, по логике А. Веселовского, как раз идеей личности и личностным же пафосом самого писателя-романиста.

Лексема «личность» в официальном языке СССР решительно уступала таким словам, как «коллектив», «подавляющее большинство», «труженики» (села, фабрик и заводов), «население» и т. п. Сам этот факт отражал *ценностное* принижение отдельного лица перед «партией», «передовым рабочим классом», «всем советским народом» и якобы «всенародным государством». Человек с развитым личностным началом в глазах партийно-бюрократических функционеров выглядел подозрительным, склонным к «чуждой нам идеологии» и легко отождествлялся с «буржуазным индивидуализмом», а то и «отщепенством».

Как это ни печально, но тоталитарное государство распространяет свои гуманитарные критерии на все сферы деятельности, не исключая и научно-филологическую. Акцент на личности, ее автономных правах и неординарных запросах вроде тургеневской «бессмертной» любви, «всемирного счастья» (Ф. Достоевский) или физического бессмертия (у главной героини «Обломова») и при анализе великих русских романов считался если и возможным, то далеко не главным. Между тем в либановском курсе о русском классическом романе он-

то с полным *объективным* основанием и стал главенствующим, что, думается, и объясняет его необыкновенный успех как у нескольких поколений будущих филологов, так и у слушателей нефилологической и даже негуманитарной ориентации.

Чем обозреваемый лекционный курс Н.И. Либана остается в особенности интересным и необходимым сейчас, по прошествии сорока лет?

Ни литературоведение в целом, ни изучение отечественного романа, естественно, не стояли в этот период на месте. Для успехов того и другого знаковыми событиями стало издание в 1960-е годы академической «Теории литературы» в 3-х томах; в годы 1970-е – работ М.М. Бахтина по эстетике словесного творчества и исторической типологии романа, а также выход в тот же период даровитых монографий: Н.И. Пруцкова о романной «трилогии» И. Гончарова, В.М. Марковича о романах И. Тургенева, В.В. Кожинова о «Преступлении и наказании», С.Г. Бочарова о «Войне и мире» и др. Большой ряд исследований произведений тех же романистов был создан, при этом с самых разных методологических позиций, в последнее двадцатилетие.

Можно думать, что квалифицированный вузовский лектор-филолог, сегодня объясняющий глубины и загадки классического русского романа, располагает всеми возможностями, чтобы увлечь своих слушателей. Но и он, уверены мы, прочитает либановский курс с огромной благодарностью к автору, и далеко не только за те компоненты его педагогического мастерства, над которыми время не властно.

Ведь и их немало. Вот, например, Николай Иванович замечает: студенты чуть подустали. Да и шутка ли – университетская лекция длится 90 минут. В наше время ее разбивали небольшим перерывом на две половинки по сорок пять минут каждая, что психологически снижало интеллектуальную нагрузку на слушателя. Но позднее лекцию сделали непрерывной. Не секрет: многие преподаватели и по сей день «разбавляют» ее искусственными паузами в виде каких-то «лирических отступлений» или особо смешных анекдотов. Но Либан знает: расслабившись, студент нескоро сосредоточится, а время уйдет. И он начинает все чаще не читать лекцию, но как бы «беседовать» с аудиторией, преображая свой монолог в своеобразный *диалог*, т. е. в вопросы и ответы самому себе и учащимся. Вот он напомнил слушателям эпизод из тургеневского романа «Дым»: Ирина Осинина едет на бал в московском Благородном собрании. «А где это?» – спрашивает

он. И получив неточный ответ («На Охотном ряду»), объясняет, в чем неправота студента: он «совместил несовместимое» – городской рынок и Дворянское собрание.

В другой момент Либан активизирует внимание студентов провокацией их естественного юношеского самолюбия и честолюбия. Касаясь, скажем, в лекции о Ф. Достоевском Константина Победоносцева или Владимира Соловьева, он спрашивает: «Кто это? Что вы о них знаете?» И в случае верного и сколько-нибудь обстоятельного ответа без всякого оттенка снисходительности хвалит «всезнайку», побуждая к постоянному расширению своего культурного кругозора и *сотворчеству с собой* всех и каждого из его товарищей.

Для молодых людей 17-ти – 22-х лет чрезвычайно дорого *личное* мнение их наставника о том или ином писателе-классике, авторитетном ученом или даже целом периоде в развитии литературы. И Николай Иванович никогда не скрывал его от студентов, каким бы непривычным, даже «вызывающим» оно ни выглядело. Так, в ответ на наше любопытство он мог скептически отозваться о художественных заслугах А.П. Чехова; не прощать отказа от народолюбивых традиций русской классики 1860-х годов в литературе Серебряного века и, вопреки ее возрастающей популярности среди части советских литературоведов 1960–1970-х годов, весьма неласково помянуть «структуралистскую поэтику». Мы могли с ним не соглашаться, яростно спорить, чего он и желал, но искренность и независимость его суждений наше уважение к нему только умножали.

Из конкретных научных положений данного либановского курса его сегодняшнего читателя, быть может, не удовлетворит трактовка *мотива* преступления, совершенного в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского Родионом Раскольниковым (будто бы хотевшего в итоге своего убийства «стать Наполеоном»), и характеристика Петра Верховенского («Бесы») как воплощения «накипи, примазавшейся к революции ради славы, успеха». Нынешние историки русского романа 1860-х годов, вероятно, посчитают излишне категоричным утверждение Либана, что приоритет в его формообразовании принадлежит не роману А. Герцена «Кто виноват?», «Бедным людям» Ф. Достоевского и «Обыкновенной истории» И. Гончарова, а только «тургеневскому роману». Уточнят они и природу романов А. Писемского, отнесенных Н. Либаном к хронологически более позднему в русской литературе «натуралистическому направлению». Намного уступающий в художественном уровне своего дарования Гончарову, Тургеневу, Достоевскому и Л. Толстому, автор «Тысячи душ» тем

не менее был одним из талантливых мастеров *социально-бытового* русского романа.

Ни одна из этих и подобных им «поправок» к настоящему лекционному курсу Н. Либана, однако, не умалит его ценности для наших и будущих дней. Помимо содержащихся в нем глубоких положений концептуального характера не менее значимы и его относительно частные умозаключения (к примеру, о том, что в 1856 г. отечественный роман «еще не чувствовал себя формой завершенной», обособленной от очерка и повести), а также превосходные анализы конкретных произведений. Но и это не все. Внимательный читатель и сегодня, и завтра будет покорен тем особенным научным духом, который с начала до конца свойствен данному труду. Это дух знания и познания не узко специального, отличающего отраслевые учебные заведения, а интегрального, присущего образованию *университетскому* (от лат. universitas – совокупность), обращенному к целостной человеческой личности и такую личность формирующему. Ведь именно эту научно-педагогическую сверхзадачу, должно быть, и видел перед собой, создавая и читая свой курс, профессор (от лат. *мудрый наставник*) Московского университета в должности «старшего преподавателя» Николай Иванович Либан.

Подготовка текста и вступительная заметка
С.И. Кормилова

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

З.И. Карцева

МУЗЫКА В МОТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ПРОЗЫ Э. ДВОРЯНОВОЙ

Разговор о мотивной структуре романов Эмилии Дворяновой более чем уместен, поскольку ее проза, буквально пронизанная музыкой, строится на *ассоциативных связях* между отдельными компонентами текста, создаваемых с помощью *лейтмотивов*, в комплексе и образующих единую *мотивную структуру*, помогающую раскрыть проблемное поле очень «женских» романов писательницы.

Ключевые слова: проза, музыка, лейтмотив, структура.

Talking about the motivic structure of E. Dvoryanova's novels is more than appropriate, because her prose is literally permeated with music, based on associative links between certain components of the text created by using leitmotivs, in one complex whole forming a single motivic structure, enabling the author to reveal the problematic field of her very "family-oriented" novels.

Key words: prose, music, structure, keynote.

Если исходить из достаточно распространенного (хотя и не бесспорного) определения термина «мотив» как устойчивого формально-содержательного компонента текста – термина, пришедшего в литературу из музыки (и позже –фольклористики) и генетически связанного с музыкальной культурой, то разговор о мотивной структуре романов Э. Дворяновой более чем уместен, поскольку ее проза буквально *пронизана музыкой*, ставшей структуроопределяющим элементом поэтики ряда ее романов («"Passion", или Смерть Алисы», 1995; «Земные сады Богородицы», 2006; «Концерт для слова», 2008).

Их музыкальность заметна прежде всего в повышенной *эмоциональности* текста, создаваемой в том числе и за счет ритмической организации художественной речи (звукописи, множества звуковых повторов, аллитераций, ассонансов; с помощью инверсированного синтаксиса и графического оформления текста, фраз-рефренов и даже пауз, не обрывающих фразу, а как бы заставляющих слово умолкнуть, чтобы в тишине можно было услышать другое слово, Слово Истины («Земные сады Богородицы»).

Музыкальность романов писательницы проявляется и на уровне их *структуры*, композиции, соответствующей, например, законам фуги и использующей ритмообразующую технику контрапункта, когда основная тема в процессе ее интерпретации и варьирования (как и положено фуге) раскрывается через контрапунктно звучащие «голоса», темы и мотивы («Passion, или Смерть Алисы»), или с помощью техники остинато («Концерт для слова») – полифонических вариаций на тему, в неизменном виде повторяющихся в басу и порождающих синтаксические конструкции, «ключевые» слова, в конечном итоге и организующие *мотивную структуру* произведения, с помощью которой и раскрывается проблематика романа.

Но гораздо интереснее (в рамках нашей темы) еще один пласт влияния музыки на прозу – появление *ассоциативных* «*рифм*», связей между отдельными компонентами произведения с помощью лейтмотивов – собственно *мотивная структура* текста, когда важен не только смысл слов, но и настроение, внушаемое этими словами, музыкальный рисунок, создаваемый с помощью особого темпа, ритма, тембра, диапазона и мелодики, взятыми из арсенала музыки.

Э. Дворянова, в творчестве которой счастливо сочетаются все три ее «увлечения» – музыка, философия и христианство, – сейчас уже всеми признанный автор «женской прозы», отстаивающей в новых условиях гендерную идентичность женщины, «женский», т. е. интуитивно-бессознательный и нервно-физиологический способ осмысления мира, востребованность женщины в единстве ее духовности и телесности (тесно переплетенной в романах писательницы с эротикой слова как средством передачи чувственности через мир музыки). И серьезнейшие онтологические, богословские и экзистенциальные проблемы Э. Дворянова реализует через систему таких мотивов, как греховность женщины, мучительные поиски смысла в мире, полном «запретов», тотальное одиночество, разлад с собой, со всем и всеми в этом мире несправедливости. Но автор говорит при этом и об итоге всех ее мучений, ее протесте – «бегстве», «уходе»: в страсть, в творчество, к Богу или в смерть, делая это с помощью таких оппозиций, как *жизнь*/*смерть*, *тело*/*душа*, *хаос*/*порядок*, *вера*/*безверие*, *грех*/*прощение*, *страсть*/*страдание*, *имитация*/*истинность* и пр.

В самом деле, героини Э. Дворяновой (молодые, красивые, яркие) почему-то чувствуют себя несчастными (при всем внешнем благополучии их жизни). Провоцируемые враждебной средой, убеждающей их в иллюзорности, несбыточности земного счастья, они ищут за

реальной видимостью мира его скрытый смысл – тайны Бытия, Вечности. Как за спасением обращаются они в свои «альтернативные миры» – в творчество, страсть, надеясь хотя бы там обрести себя в единстве духа и тела, этой ненавистной оболочки, которая «жмет», «царапает» душу, причиняя страдания. И не найдя его, убедившись в кратковременности этого состояния блаженства в творческом экстазе и обреченности любви в безлюбовном мире, «убегают» в другие Явь и Навь – в иллюзии, мистику или в смерть, освобождающую, наконец-то, их души от раздражающих, мучительных оков телесности, от одиночества и безнадежности. Пройдя через разрушительное для каждой из них переживание опыта надежд, утрат, любви, стыда и вины, с каким-то чувством облегчения, почти радости, они принимают смерть (или таинственно исчезают), предпочитая бездуховной жизни в своем теле-клетке царство Духа, царство Смерти (когда-то Марина Цветаева в стихотворении «Балкон» тоже говорила о «недовеске» земной любви и двух возможностях выхода: «выдышаться в стих» или «выдышаться в смерть»).

Пытаясь осмыслить романы Э. Дворяновой, эту своеобразную «гендерную коллекцию», с точки зрения типологии, функционирования и эволюции их мотивных структур, мы прежде всего выделяем ряд опорных содержательных, сюжетно-композиционных, хронотопических мотивов, которые могут, в частности, выстраивать систему персонажей (очень похожих друг на друга героинь), формировать сюжет (с одинаковым концом в их судьбах). И это позволяет понять механизм их повторяемости и логику этого повторения, организующего произведения на *созвучиях*, а не на последовательном развитии неких смыслов, и отсылающего читателя к потенциальным ассоциативным рядам.

Понимая, однако, опасность столь *расширительного* толкования действительно «рифмующихся» мотивов содержательного и сюжетно-композиционного планов, которые неизбежно приближают их к понятиям «тема», «проблема» (создавая при этом искомый общий тон и общее настроение, но приводя к определенному размыванию смысла самого термина «мотив»), мы подробнее остановимся также и на более конкретном, «*узком*» значении термина «мотив» как устойчивой, повторяющейся единицы текста, вычленяемой из него и имеющей в нем непосредственно *словесную* и *предметную* закрепленность, на примере небольшого, стильного и очень изящного романа писательницы «Концерт для слова: музыкально-эротические опыты» (2008).

В проблемном поле всех романов Э. Дворяновой, демонстрирующих неизбежность утрат и трагедию сиротства как модель женской судьбы, представлены все три вечные темы – три ипостаси Промысла: судьба (Рок), любовь (Эрос) и смерть (Танатос). Именно поэтому мотив *телесности*, тела, страсти как высшего счастья и безмерного страдания женщины (а отсюда – и мотив одиночества, экзистенциальной «вброшенности в мир») является, без преувеличений, определяющим в прозе писательницы.

Согласно положениям феминистской критики, во многом опиравшейся на идеи Фрейда, человеческое тело, это «вместилище души», является источником поистине неизведанных импульсов, источником бессознательного. Оно живет, но и умирает (ведь понятие телесности не сводится лишь к половой/гендерной проблематике – оно включает и смертность) как в определенном (исторически, социально, культурно) пространстве, так и в неизведанной области других бессознательных импульсов, обладающих своим собственным языком и как бы «переводящих», «ретранслирующих» язык *души* (психических процессов) на язык химии, физиологии *тела*.

Сочетание телесности (эротики) и музыки в ее последнем романе позволяет автору приоткрыть тайну женского естества: ведь постижение этой тайны может достигаться, а может и не достигаться, и тогда очень важно понять *разницу желаний*, присущих душе и телу.

И именно музыка становится здесь проводником в мир желанного блаженства неудовлетворенной души (в тисках неудовлетворенного тела), тоскующей о райском блаженстве, которого она лишилась, но о котором помнит. Музыка диктует логику соотношений, своеобразие интонационной структуры: музыка, рождающая язык, музыка, буквально «вписанная» в слово.

В основе по-настоящему музыкальной структуры романа «Концерт для слова» – знаменитая «Чакона» (Ciaccona) Баха, пятая часть его Партиты № 2 d-moll для скрипки или альта, исполненная на удивительной скрипке Маджини (ее гриф, в отличие от скрипок Страдивари, Амати или Гварнери на два сантиметра длиннее, что требует от исполнителя совершенно иной техники) – скрипке загадочной, «кровавой», якобы приносящей горе. И роман – своего рода полифонические (как в «Чаконе») вариации на «темы» – жизненные истории нескольких героев, которые в реальном романном времени, сидя в концертном зале, слушают скрипичный концерт Мендельсона в исполнении гастролирующего скрипача-виртуоза, ожидая «на бис» обещанной «Чаконы». И в итоге роман очень напоминает звучащую

партитуру из нескольких «сольных концертов», «голосов», «потоков сознания» слушателей и пяти глав, им посвященных – «Концерт № 1», «Концерт № 2» и т. д. А в центре этой конструкции, тематически и символически скрепляя ее, – глава «Чакона», история-воспоминания-сон главной героини романа, некогда знаменитой, а сейчас больной скрипачки Вирджинии, умирающей в своем доме во время этого концерта, как бы распятой между музыкой и телесностью, когда-то связавших ее судьбу с судьбой заезжего скрипача.

Инструментальная пьеса «чакона», очень популярная в эпоху Барокко, представляет собой полифонические вариации на тему, в неизменном виде повторяющуюся в басу (bass ostinato). Это «прием, основанный на многократном повторении в музыкальном произведении какой-либо мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота, отдельного звука» [Брокгауз, Ефрон]. В романе Э. Дворяновой этот прием реализуется в особом ритмическом построении текста, где есть ритмообразующие повторяющиеся синтаксические конструкции и особые «ключевые» слова, организующие мотивную структуру произведения.

Остинатный бас – основа «Чаконы», и в тексте романа он обретает особую звуковую плоть, получает звук, который можно «увидеть», как на картине Мунка «Крик». Этим криком, кажется Вирджинии, пронизана вся Вена, которую ветер со свистом засыпает снегом. И этот крик обезумевшего от страха человека очень похож, как ей кажется, на взятую ею на скрипке ноту «ля», зазвучавшую в тишине концертного зала перед началом ее исполнения так безнадежно и одиноко.

Структура романа и его образы складываются в своеобразный *лабиринт*, в котором затерялась Вирджиния, пытающаяся постичь душу скрипки, чтобы через нее, возможно, понять и свою мечущуюся душу, одержимую все еще не сыгранной, «не поддающейся» ее усилиям «Чаконы». Лабиринт, четко выверенный, как сама музыка, так похожий на дворец Шёнбрунн и гравюры Шиле, как ее троекратное отражение в зеркале, в самом центре которого, «в золотом сечении звука» хранятся ответы на мучающие ее вопросы.

Попасть в вожделенное «золотое сечение» звука, одолеть загадочную Маджини ей удается, наконец, во время исполнения «Чаконы» в своем номере гостиницы, в Вене, после концерта – в две руки, на двух скрипках, вместе с незнакомцем-скрипачом (он помог ей избавиться от груды увядающих и уже, как ей кажется, пахнущих болотной тиной цветов) и последовавшей за этим близостью с ним. Эти два незабываемых события стали для нее потрясением: «победой» над скрипкой

и «высвобождением» (с помощью звуков пьесы) из собственного тела... но и началом странной болезни. И сама мелодия «Чаконы» превратилась в «звуковой образ» этой кульминационной сцены:

«... тогда, уже с первых аккордов, она почувствовала, что музыка освобождает ее от ее же собственного тела, переворачивая ее до самого дна, провоцируя к акту, сексу, перверзии, которые скрываются где-то в глубине этой музыки <...> вытекают из души Маджини, из музыкальной фразы, которая разыгрывается в тему, из темы, которая течет в своих неожиданных превращениях и модуляциях, заполняя все клетки ее тела, из этого уже невыносимого для нее такта танцевальной непосредственности Вены в три четверти <...> что естественное тепло ее тела, покидая его, перетекает в кончики пальцев, наэлектризованных прикосновением к струнам, и где-то в самом низу живота возникает болезненное жжение, причиняющее боль и вызывающее непередаваемое наслаждение <...> что ее душа захвачена так же естественно и в то же время так же системно, как пульсирует ритм «Чаконы» в напористом andante, как сдерживает себя, чтобы потом заполнить собой всё вокруг, ее победное d-moll» [Дворянова, 2008].

Основные *мотивы-темы* романа раскрываются так же, как музыкальные темы в «Чаконе» – переплетаясь и развиваясь одна сквозь другую с помощью «голосов» («потоков сознания» пяти героев пяти глав-«Концертов» и самой «Чаконы»: это мотив *любви и ревности* (причем влюбленным и объектом любви может быть не только человек, но и музыкальный инструмент); мотив *музыки* и *слияния* с ней, тесно связанный с мотивом *телесности* и *эротики*; тема *души* и *овладения ею* (стремление главной героини, как и других музыкантов в романе, познать душу скрипки Маджини и свою собственную душу); мотив *смерти* и «*освобождения*» (в том числе «освбождения» души из тела, из лабиринта образов, мучающих сознание заболевающей героини).

Эти основные темы-мотивы реализуются в тексте также с помощью различных лейтмотивных *образов-символов*, апеллирующих к культурному опыту читателя. Сами эти образы, воплощенные в слове и по ассоциации «завязанные» друг с другом, могут располагаться в тексте в выверенном порядке (часто – в составе устойчивой синтаксической конструкции), создавая особый ритм произведения.

Таков, например, образ-символ *лабиринта*, в который попадает Вирджиния в Вене – городе, о котором мечтает каждый музыкант и куда она приезжает на зимние гастроли. Ощущение, что она не может из него выбраться, не покидает ее и позже, до самой смерти: ей, уже больной, все чаще снится Вена, лабиринт дворца Шёнбрунн, перед

которым ей когда-то открылась «музыка» Вены, ее особый ритм, существующий сам по себе, «любовно» соответствующий образу города, спокойный и страшный ритм – как «капля крови, которую заносит снегом, и снова капля, и снова снег...» (54–55). (Героиню потрясли тогда эти капли крови на снегу – из грудок и лап голубей, поранившихся о шипы, которыми утыканы все крыши, карнизы и подоконники города – чтоб не гадили где попало!)

Это и образ «*непокорной*» *Маджини*, у которой, как и у людей, есть душа и тело.

Или образ *прекрасного колодца*, который много раз всплывает в воспоминаниях Вирджинии (автор выносит это словосочетание каждый раз на новую строку, да еще с интервалом, как бы заставляя повествование ненадолго замереть, рождая паузу).

Последний раз этот образ появляется перед смертью Вирджинии – перед ее погружением в ванну, в воде которой сплетаются струйки зеленого (ароматической соли для купания) и красного цвета – кровь из ранок, которые она сама себе нанесет – как и в тот роковой и счастливый день «овладения» ею тайной Маджини, когда ей удалось, наконец-то, с блеском исполнить на своей скрипке так упорно сопротивлявшуюся ей «Чакону», а потом испытать неведомое ей ощущение эротической свободы, полной раскованности, странной физической близости со скрипачом, хладнокровно сделавшим надрезы на ее теле, «в самом низу позвоночника, где, говорят, находится центр оргазма», и еще «в той точке, где в матке были сосредоточены все ее желания, извлеченные музыкой» (121). (В ряде культурных традиций этот «прекрасный колодец» означает переход в иной мир или, как в христианстве, спасение и очищение.)

В лейтмотивной системе повторяющихся мотивов, тем и образов романа можно вычленить и особый «подуровень», на котором «ключевые» слова способны воссоздавать в сознании читателя звуки, цвета, запахи. Эти ключевые слова, обладая автономностью, но в то же время оставаясь элементами редуцированных тематически-смысловых лейтмотивов, и образуют (наряду с «полноценными» образами-символами) *чувственную* основу текста, его «остинатный бас», на базе которого развиваются, варьируясь, главные темы-мотивы романа. Такими «ключевыми» словами в романе стали:

– *зрительные образы*, *цвета*

красный – цвет крови венских голубей, поранившихся о шипы; кровь Вирджинии; цвет «кровавой» Маджини; цвет пятна-уплотнения на шее скрипача и самой Вирджинии (от постоянного соприкоснове-

ния со скрипкой у подбородка); цвет Андреевского креста на корпусе скрипки;

белый – цвет снега, засыпающего Вену, цвет, которого, по сути, нет – «он лабиринт из всех остальных цветов» (81); цвет холода и льда; цвет последнего, белого, цветка, забытого после концерта скрипача-виртуоза;

– *запахи*

запах крови, напоминающий Вирджинии запах болотной тины – так пахнут увядающие в многочисленных вазах отеля цветы, подаренные поклонниками, которые она не в силах выбросить; тот же запах крови, но смешанный с «запахом» ледяной свежести, которая словно сочится из души скрипки, пропитывая тело, готовое к страсти;

– *вкусовые ощущения*

горьковато-сладкий вкус любимого Вирджинией знаменитого венского торта «Захер», который она сравнивает со вкусом ее неожиданно начавшегося романа, закружившего ее словно снежный вихрь Вены в три четверти;

– *тактильные ощущения*

холод ветра и снега в Вене; иной холод, который чувствует тело, умирая (когда душа покидает его); любовно-ласкровые прикосновения к «телу» скрипки;

– *звуки*

свист ветра, засыпающего снегом Вену, очень похожий по тональности на писк – крик Мунка или на ту одинокую ноту «ля», взятую в начале ее концерта; бесчисленные специальные музыкальные термины (at forte, fortissimo, sempre forte e largamente, allegro molto vivace), задающие «качество» звука (громко/тихо, быстро/медленно), его темп и ритм; ход часов (E-H, т. е. «ми» –«си»), управляющих «реальным», линейным временем романа, перекликающийся со звуком шаркающих шагов хромого сторожа, который закрывает зал после концерта и спускается по лестнице, отмеряя каждую ступеньку строчкой из стиха Гвидо д'Арецо[1], каждая из которых начинается с названия одной из семи нот – вниз, начиная с «си»:

Sancte Johannes / **La**bii reatum / **So**lve polluti / **Fa**muli tuorum / **Mi**ra gestorum / **Re**sonare fibris / **Ut** queaant laxis.

Все эти пронзительно-болезненные мотивы, «ключевые» слова, скрепленные определенной ассоциативной связью, создают, до-

[1] Гвидо 'Ареццо – итальянский реформатор и теоретик музыки Средневековья.

полняя друг друга, мотивную структуру, «основу» текста романа Э. Дворяновой. В нем начинает звучать музыка и буквально на наших глазах роман и в самом деле превращается в *партитуру для слова*, «проговаривающего» свою мелодию.

Список литературы

Брокгауз Ф.А., *Ефрон И.А.* Энциклопедический словарь. URL: http://poiskslov.com/word/остинато; URL: http://poiskslov.com/word/чакона

Дворянова Е. Концерт за изречение: опити върху музикално-еротическото. София, 2008. При дальнейшем цитировании данного издания страницы указываются в тексте в круглых скобках.

Сведения об авторе: *Карцева Зоя Ивановна*, доцент кафедры славянской филологии филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: vikar@kartsev.com

А.О. Манькова

ОРИЕНТАЛЬНОЕ В ПРОГРАММНЫХ МАНИФЕСТАХ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ

В силу различных политических, исторических и культурных событий, а также личных контактов российской интеллигенции в русской поэзии начала XX в. прослеживается высокий интерес к странам Дальнего Востока (главным образом, к Китаю, Корее и Японии). Внимание отечественной литературы к восточным реалиям отражено в теоретических работах символистов, в их ориентированности на эстетические установки Востока.

Ключевые слова: Восток, ориентальное, символизм, программные манифесты.

Because of various political, historical and cultural events, and also personal contacts of the Russian intellectuals great interest in the countries of the Far East (mainly China, Korea and Japan) can be observed in the Russian poetry of the beginning of the XX century. The attention of the national literature to eastern realities is reflected in theoretical works of symbolists, in their focus on esthetic attitudes and tenets of the East.

Key words: East, oriental, symbolism, program manifestos.

Известно, что о Востоке писали многие поэты начала XX в. Наиболее ярко обращение к экзотической для того времени культуре отразилось в творчестве Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и Андрея Белого. В их стихотворениях и переводах можно найти упоминания о Японии, Китае, Индии, Турции, Каире, Османской империи, Персии и других странах Востока. Интерес к ориентальному обусловлен рядом исторических, политических и культурных событий. При этом важным является не только художественная реализация образа Востока в поэзии, но и теоретическое обоснование пристального внимания к нему. По словам Л.А. Колобаевой, к концу XIX в. «во всём угадывалось предвестье нового литературного века – тот момент истории, когда Запад вспомнил о Востоке, а Восток потянулся к Западу, когда поэты уловили потребность человечества представить, обозреть, осознать себя в целом. Совершался поиск методов глобального художественного обобщения»[1]. Для отечественных поэтов творческие поиски, связанные с Востоком, прежде всего были подчинены их художественным убеждениям. Представители

[1] *Колобаева Л.А.* Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М., 1990. С. 205.

каждого из существующих литературных течений начала XX столетия в индивидуальной манере воссоздавали особенности культуры Востока в соответствии с выбранным курсом своего поэтического творчества.

Прежде всего необходимо упомянуть о том, что появление символизма было продиктовано сложным положением мировой литературы. Стефан Малларме (1842–1898) в статье «Кризис стиха» (1905) писал: «Литература переживает сейчас изысканный кризис – в самой основе своей»[2]. И действительно, символизм, согласно собственной концепции, был тесно связан с переломным состоянием в искусстве. Именно в творчестве символистов впервые появились попытки выработать новые соотношения художественного слова и реальной жизни.

В теоретических статьях русских символистов неоднократно находила подтверждение мысль о том, что символизм возник в связи с осознанием необходимых перемен. Такие рассуждения можно встретить в работах, написанных как во время активного развития символизма, так и за пределами его хронологических границ. Так, Эллис (Лев Львович Кобылинский) в статье «О современном символизме, о “чёрте” и о “действе”» (1909) выразил мнение о том, что в искусстве настал период, когда сама история диктует возникновение изменений. Русский символизм, по его словам, «явился органическим, глубоко последовательным и неизбежным исторически и психологически дальнейшим развитием, уточнением и усложнением всех самых заветных, самых глубоких и прочных течений и устремлений русского словесного творчества»[3].

Спустя годы, когда вслед за символизмом возникли и угасли сменяющие друг друга литературные течения, Андрей Белый в статье «Почему я стал символистом» (1928) подтвердил значимость обновления литературы на рубеже XIX–XX вв. Эта идея, проверенная временем и богатым поэтическим наследием, отразилась в статье рядом убеждений, которые базировались на необходимости «раскрытия новых творческих горизонтов», что послужило бы «гарантом роста новых форм словесной изобразительности»[4].

Кроме реформации литературной деятельности, теоретики русского символизма были нацелены на создание философско-эстетической концепции, которая позволила бы обосновать новое направление в искусстве. Символизм представлялся его создателям как способ восприятия мира, с помощью которого они пытались во-

---

[2]*Малларме С.* Кризис стиха // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе: Сборник. М., 1995. С. 323.

[3]*Эллис.* О современном символизме, о «чёрте» и о «действе» // Эллис (Кобылинский Л.Л.). Неизданное и несобранное. Томск, 2000. С. 98.

[4]*Белый А.* Почему я стал символистом // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 446.

плотить новые формы жизни. Так, Андрей Белый в статье «Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма» (1910) писал о необходимости объединения культур для формирования нового искусства: «В неослабевающем стремлении сочетать художественные приемы разнообразных культур, в этом порыве создать новое отношение к действительности путем пересмотра серии забытых миросозерцаний – вся сила, вся будущность так называемого нового искусства»[5]. По мнению теоретика, новое миросозерцание не создается из ничего, а является следствием изучения древнего наследия. Рассуждая о природе символа, Андрей Белый в упомянутой статье установил взаимосвязь с воззрениями древних религий Индии и Китая: «К понятию о Символе приближаются представления индусов о Парабрамане»[6]. Под Парабраманом понимается беспредельное космическое Пространство, которое предшествует всему проявленному. Идея соотношения символа и Абсолюта прослеживается в более ранней работе Андрея Белого «Символизм как миропонимание» (1903): «Не событиями захвачено всё существо человека, а символами иного. <…> Пока иное не воплотится, не прояснятся волнующие нас символы современного творчества. Только близорукие в вопросах духа ищут ясности в символах»[7]. О символистской действительности Андрей Белый писал, что она есть «нечто», и «это нечто есть Тао Лао-Дзы»[8]. Под «Тао Лао-Дзы» имеется в виду трактат китайского мудреца Лао Цзы «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства», IV–III в. до н.э.), в котором изложены основные положения даосизма, учении о всеобщем законе и Абсолюте. Так Андрей Белый указывал на неразрывную связь нового для русской литературы явления символизма с философскими и религиозными течениями Востока, возводя символ в значение, соответствующее высшему пониманию.

Утверждения Андрея Белого о том, что символ есть «единство эмблем творчества и познания, <…> единство формы и содержания»[9], что действительность этого мира, прежде всего, является «познавательным результатом»[10], во многом соотносятся с основами восточных представлений о жизни. Свойственные восточной культуре стремление к постижению окружающего мира, осознание гармонии между тем, что находится на поверхности и кроется внутри, созвуч-

---

[5]*Белый А.* Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма // Там же. С. 26.

[6] Там же. С. 59.

[7]*Белый А.* Символизм как миропонимание. С. 246.

[8]*Белый А.* Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма // Там же. С. 60.

[9] Там же. С. 75.

[10]*Белый А.* Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного художественного развития // Там же. С. 422.

ны теоретическим представлениям Андрея Белого и в целом всего символистского течения.

В статье Александра Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910) прослеживается ориентация на некую отрешенность от повседневности и абсолютную сосредоточенность на занятии литературой: «Путь к подвигу, которого требует наше служение, есть прежде всего ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диэта»[11]. Ориентируясь на глубокое проникновение в дело своей жизни, Александр Блок указывал на необходимое умение видеть происходящее со стороны. Сосредоточившись на одном элементе, можно утерять из вида функционирование всей системы. Поэт писал о наличии множества художественных пространств, которые существуют параллельно с миром литературы и взаимодействуют с ним: «Быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа»[12].

Вячеслав Иванов в статье «Две стихии в современном символизме» (1908) провел сравнение между символом и иероглифом («гиероглифом») на основании их многозначности и таинственности: «Символ – простой гиероглиф, и сочетание нескольких символов – образное иносказание, шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помощи найденного ключа. Если символ – гиероглиф, то гиероглиф таинственный, ибо многозначащий, многосмысленный»[13]. Известно, что один иероглиф может обозначать части слов, целые слова и идеограммы, в которых заключена отдельная идея. В зависимости от сочетания иероглифов выражается то или иное содержание. В этом смысле символические образы в их взаимодействии также представляют собой ассоциативный ряд, обращающий сознание читателей к заложенной в литературном произведении идее.

Вячеслав Иванов указывал не только на таинственность символизма, но и прямо писал о религиозности этого течения: «Истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни»[14]. Религиозные убеждения в равной степени глубоки у людей западного и восточного представления о мире. Однако именно на Востоке единение с природой и желание проникнуть в суть

---

[11]*Блок А.* О современном состоянии русского символизма // Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: Очерки. Статьи. Речи. 1905–1921. М., 1985. С. 151.

[12]Там же. С. 148.

[13]*Иванов В.И.* Две стихии в современном символизме // Русские философы (конец XIX – середина XX века): Антология. Вып. 1. М., 1993. С. 219.

[14]Там же. С. 220.

происходящего за пределы видимой поверхности связаны с идеей гармоничного существования с окружающим миром.

Рассуждая о поэзии символизма, Вячеслав Иванов в статье «Заветы символизма» (1910) писал о существовании «особенной интуиции и энергии слова», которые «ощущаются поэтом как тайнопись неизречённого, вбирают в свой звук многие, неведомо откуда отозвавшиеся эхо, и служат вместе пределом и выходом в запредельное, буквами внешнего и иероглифами внутреннего опыта»[15]. Размышления о необходимых в поэзии недосказанности и умалчивании Вячеслав Иванов продолжил в статье «Мысли о символизме» (1912): «Я не символист, если не бужу неуловимым намёком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание, порой на далёкое, смутное предчувствие, порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения»[16].

Неуловимые намеки и отражение собственных переживаний в поэтических строках, отмеченные Вячеславом Ивановым, соотносятся со словами современного японоведа А.А. Долина: «Если для европейского поэта важна, прежде всего, креативная сторона творческого акта, создание прекрасного, то для японского поэта на передний план выступает рефлективная сторона творчества. Рефлексия, то есть отражение и одновременно размышление, как нельзя лучше определяет стержневой принцип традиционной поэтики»[17]. Такое сопоставление мнений дает основание полагать, что убеждения отечественных символистов во многом имели сходство с академическими представлениями японских поэтов.

Необходимо отметить также, что символисты в своих теоретических изысканиях большое внимание уделяли истинной природе слова и его назначению. По словам Андрея Белого, «слово, ставшее плотью, – и символ творчества, и подлинная природа вещей»[18]. Вячеслав Иванов исторической задачей символизма также ставил «раскрытие природы слова как символа и природы поэзии как символики истинных реальностей»[19]. Эти убеждения во многом совпадают с воззрениями поэтов Востока. Особенно это актуально для японской поэзии, где важно не только символическое наполнение слова, но

---

[15] *Иванов В.И.* Заветы символизма // Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000. С. 104.

[16] *Иванов В.И.* Мысли о символизме // Литературные манифесты. От символизма к октябрю: Сборник материалов / Сост. Н.Л. Бродский, В. Львов-Рогаческий, Н.П. Сидоров. М., 1929. С. 38.

[17] *Долин А.А.* Типологические особенности классической японской лирики // Япония: идеология, культура, литература. М., 1989. С. 172.

[18] *Белый А.* Символизм // Белый А. Символизм как миропонимание. С. 338.

[19] *Иванов В.И.* Заветы символизма // Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000. С. 105.

даже общее количество слогов в строке для выдерживания строгих жанровых канонов.

В статье «Магия слов» (1909) Андрей Белый писал о великом значении поэтической речи, которая «ничего не доказывает словами; слова группируются так, что совокупность их дает образ. Этот образ досоздается – каждым человеком, который становится немного художником, слыша живое слово»[20]. Это убеждение Андрея Белого перекликается с традиционными представлениями о сложении хайку. Характерной особенностью этого поэтического жанра является то, что читатели выступают сотворцами стихотворения, так как автор дает им возможность домыслить намеченный образ.

Таким образом, интерес русских символистов к Востоку был отражен в их теоретических трудах и упрочен ориентальным аспектом. Отмечая важность реформ в искусстве, поэты говорили о преемственности в отношении прежних эпох и взаимосвязи с древними религиями. У большинства поэтов отмечается стремление приблизиться к пониманию восточной культуры. Желание проникнуть в суть происходящего, осознание бесконечности бытия и кратковременности момента, умение отрешиться и сосредоточиться на действительно важных делах или мыслях – все это свидетельствует об ориентации русских символистов на ценностные воззрения Востока. Недосказанность, умалчивание, домысливание, импрессионистичность лирического повествования – то, что характерно для поэтической традиции Востока, и то, что отечественные символисты переосмыслили в собственном творчестве.

Список литературы

Белый А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного художественного развития // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Белый А. Символизм // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Белый А. Символизм как миропонимание // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Белый А. Эмблематика смысла. Предпосылки к теории символизма // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Блок А. О современном состоянии русского символизма // Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4: Очерки. Статьи. Речи. 1905–1921. М., 1985.

Долин А.А. Типологические особенности классической японской лирики // Япония: идеология, культура, литература. М., 1989.

Иванов В.И. Две стихии в современном символизме // Русские философы (конец XIX – середина XX века): Антология. Вып. 1. М., 1993.

[20] *Белый А*. Магия слов // Там же. С. 133.

Иванов В.И. Заветы символизма // Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000.
Иванов В.И. Мысли о символизме // Литературные манифесты. От символизма к октябрю: Сборник материалов / Сост. Н.Л. Бродский, В. Львов-Рогачевский, Н.П. Сидоров. М., 1929.
Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX–XX вв. М., 1990.
Малларме С. Кризис стиха // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе: Сборник. М., 1995.
Эллис. О современном символизме, о «чёрте» и о «действе» // Эллис (Кобылинский Л.Л.). Неизданное и несобранное. Томск, 2000.

Сведения об авторе: *Манькова Александра Олеговна*, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Гуманитарного института Сахалинского государственного университета. E-mail: a.o.mankova@gmail.com

А.Д. Маглий

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»

В статье рассматривается жанровое своеобразие романа «Лавр», в котором такие канонические структуры, как житие, хроника, палея, а также античный роман, актуализируются, обновляются и представлены Е.Водолазкиным в преобразованных формах. Исследуется сюжетно-композиционная и пространственно-временная организация романа, а также выявляются особенности изображения образа главного героя в нем. В результате проведенного анализа делаются выводы о жанровой принадлежности данного произведения, которое обладает единой целостной структурой и представляет собой *«роман творения»*, *«роман-модель мира»*, *«текст о мироустройстве»*.

Ключевые слова: роман, жанр, структура, житие, хроника, палея.

The article considers the originality of the genre of the novel “The Laurel” in which such canonical structures as hagiography, chronicle, palea and also the antique novel are modernized and presented by E. Vodolazkin in transformed ways. The plot, the composition and spatial-temporal organization of the novel are explored, as well as the features of the main character’s portrayal. As a result of the analysis conclusions are drawn about the genre specifics of this work, which has a unified integral structure and represents “a novel of creation”, “a model-of-the-world novel”, “a text about the world’s structure and order”.

Key words: novel, genre, structure, hagiography, chronicle, palea.

Поиск новых романных форм в литературе конца XX – начала XXI веков составляет одну из основных тенденций развития современного литературного процесса, проявляющуюся в обновлении жанровой системы и во многом обусловленную стремлением романистов найти новые способы выражения авторского мировосприятия.

Роман по своей природе не каноничен и уже на протяжении многих веков является устойчивой площадкой для эксперимента: в его конструкцию включаются элементы других жанров, в том числе и жанров нехудожественной литературы (*non-fiction*), что приводит к появлению таких жанровых разновидностей, *как роман-апокриф*, *роман-притча*, *роман-исповедь*, *роман-хроника*, *роман-дневник*, *роман-мемуары*. Являясь открытой системой, роман находится в непрерывном взаимодействии со сферами искусства, философии и науки, которые, в свою очередь, во многом определяют направление

и характер развития данного жанра. Под их прямым воздействием возникают такие жанровые модификации, *как роман-диссертация*, *роман о художнике*[1], *филологический роман* (*роман-лексикон*, *роман с языком*)[2] *и др.*

Интерес с точки зрения жанровой принадлежности представляет «Лавр» Е. Водолазкина, в котором происходит обновление традиционных канонических жанровых структур – жития, хроники, палеи. Интерес удваивает то, что роман написан профессиональным филологом, научные поиски которого получили художественное воплощение в романной форме. По определению самого автора (специалиста по древнерусской литературе), «Лавр» представляет собой современное житие, неисторический роман. Но эти характеристики, на наш взгляд, не отражают в полной мере всю жанровую специфику данного произведения в силу сложности его сюжетно-композиционной и пространственно-временной организации, а также особенностей изображения образа главного героя. Исследованию времени в романе посвящен доклад А.В. Архангельской «Время древнерусское и современное в романе Е. Водолазкина «Лавр», жанровые и языковые особенности романа рассматриваются П. Басинским в статье «Святящаяся тьма»[3]. Интерес представляют суждения самого Е. Водолазкина, высказанные им в ходе презентации его романа в издательстве «АСТ», интервью, данное автором: «Лавр» пошел по стопам Л. Толстого»[4], а также его книга: «Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков)», имеющая множество точек соприкосновения с романом.

Структуру романа «Лавр» составляют четыре книги: *Книга познания*, *Книга отречения*, *Книга пути*, *Книга покоя.* Эти книги предваряются предисловием – *Пролегоменой*, в которой образ главного героя дается в своей целостности и единичности. Имя героя не называется, для его обозначения используется местоименные формы обобщения «он», «у него», «о нем» или просто существительное «человек».

Образ этот абстрактен и в то же время конкретизируется, но условность при этом сохраняется: «этот человек был известен под прозвищем Врач, потому что для современников прежде всего он был

---

[1] См.: *Скороспелова Е.Б.* Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М., 2003. С. 173.

[2] См.: *Ладохина О.Ф.* Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века? М., 2010. С. 77.

[3] *Басинский П.* Светящаяся тьма // Российская газета. 2012. № 5945 (272).

[4] URL: http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=21853

врачом. Был, нужно думать, чем-то большим, чем врач, ибо то, что он совершал, выходило за пределы врачебных возможностей»[5].

Пространство и время здесь обладают не меньшей степенью абстрактности, хотя и не лишены конкретики, но конкретика эта также условна. Мы узнаем о месте появления героя на свет – в Рукиной слободке, но где такая слободка находится, не указано, и о времени рождения – Средневековье, но точная дата не приводится. Смерть героя также не датирована и не привязана к определенному месту: «тело его после смерти не имело следов тления. Лежа много дней под открытым небом, оно сохраняло свой прежний вид. А потом исчезло, будто его обладатель устал лежать» (с. 9–10).

Таким образом, пространство и время, как и образ героя, даются в *Пролегомене* в зачаточных формах, а вся она в целом представляет собой единый целостный зародыш романа. Разновременность представлена здесь как одновременность, за счет чего создается эффект вневременности, о чем свидетельствуют финальные строки *Пролегомены*: «Иными словами, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время его с нами нет. Стоит при этом оговориться, что сам он не всегда понимал, какое время следует считать настоящим» (с. 10).

В следующих за *Пролегоменой* книгах образ героя, изначально показанный в своей целостности, распадается на четыре отдельных образа: в *Книге познания* и *Книге пути* – Арсений, в *Книге отречения* – Устин, в *Книге покоя* – Амвросий и Лавр. Эти образы теряют свою абстрактность, обретая имена, и локализуются в пространстве и во времени, которые, в свою очередь, также теряют свою условность, выкристаллизовываются в разные формы и становятся хронологически определяемыми и исторически конкретными.

В первой книге, *Книге познания*, указывается точная дата рождения Арсения (8 мая 6948 года от Сотворения мира, 1440-го от Рождества Спасителя, в день памяти Арсения Великого) и место (Кириллов монастырь в Рукиной слободке), описываются детские годы героя, период ученичества и знакомство с миром. Здесь же происходит встреча Арсения с Устиной (случайная одновременность): «… что-то его остановило» (с. 67). Герои находятся в брачном возрасте и влюбляются друг в друга, но их брак оказывается невозможен: не предвиденная Арсением смерть Устины разлучает героев (случайная разновременность). Дальнейшая жизнь Арсения превращается в испытание: его любовь к Устине (вечной невесте) остается абсолютно неизменной на протяжении всего романа.

---

[5] *Водолазкин Е.Г.* Лавр. М., 2014. С. 7. Далее страницы на это издание приводятся в тексте в круглых скобках.

Во второй книге, *Книге отречения*, начинается путь странствий героя по миру. Ключевым здесь становится хронотоп дороги, имеющий фольклорную подоснову и обладающий своими особенностями. С одной стороны, указываются точные места (названия деревень и земель), по которым путешествует герой. С другой же – герой не соотнесен с этими местами и со временем, что придает пути условный и абстрактный характер: «Путь Арсения не был прям, ибо не имел четко выраженной географической цели», «Арсений не знал, в каком – и вообще в одном ли – направлении он двигался. Строго говоря, ему и не требовалось направление, потому что он никуда не стремился. Он не знал также, сколько времени прошло с тех пор, как он покинул Белозерск» (с. 174). Герой проходит через ряд испытаний: испытание возможным браком и обретением земного дома (Ксения, Сильвестр), три раза испытание смертью (сцена с корешем Жилой, калачником Прохором, испытание холодом). Путь героя в этой книге – путь духовный, вне времени и пространства, к Устине в дом на небесах.

В третьей книге, *Книге пути*, герой встречается с Амброджо (случайная одновременность).

О случайности Амброджо говорит таким образом: «Люди сталкиваются друг с другом, они налетают друг на друга, как атомы. У них нет собственной траектории, и оттого их поступки случайны. Но в совокупности этих случайностей есть своя закономерность, которая в каких-то частях может быть предвидима. Полностью же ее знает лишь Тот, Кто всё создал» (с. 229). Как и в *Книге отречения*, мотив дороги в *Книге пути* является ключевым, место и время также конкретизируются, но здесь они связаны с образом героя: важным становится место, куда едет герой, – Иерусалим: «столько лет, сказал он Устине, столько лет я сидел без движения, а сейчас плыву строго на юг» (с. 251). Путь героя обретает цель и временные рамки: «Чувствую, любовь моя, что движение это благотворно. Оно приближает меня к тебе», «на путешествие у нас есть по меньшей мере десять лет» (с. 248, 251).

В четвертой книге, *Книге покоя*, указывается время возвращения героя на Русь (середина восьмидесятых годов), описываются изменения, которые произошли с героем: «Арсений вернулся седым» (с. 356); события, произошедшие с героем ранее, повторяются здесь на новом витке спирали времени: «это повторение, но на каком-то новом, более высоком уровне» (с. 376); герою кажется, что время идет вспять и что он сам возвращается к своей исходной точке. Лавр снова принимает роды. При этом важна роль случая: повивальная бабка оказывается в отъезде (случайная разновременность). Момент рождения ребенка совпадает с моментом смерти героя (случайная одновременность).

Таким образом, по своему сюжетному построению «Лавр» напоминает античный роман, причем в нем обнаруживаются черты всех трех его разновидностей: греческого романа испытания, авантюрно-бытового и биографического романов[6]. Подобно герою *романа испытания*, Арсений теряет возлюбленную, уходит из чуждого ему мира людей с его бытом. Случай ведет его по жизни, играет с ним, спасает его, ставит в щекотливые положения, из которых герой выходит с честью, сохраняя верность своей вечной невесте, чувство к которой остается неизменным на протяжении всего романа. В финале герой умирает, возвращаясь к началу начал. Подобно жизни героя *авантюрно-бытового романа*, жизнь героя «Лавра» дается в оболочке метаморфозы (четыре различных образа одного героя), а его жизненный путь сливается с пространственным путем-дорогой (*Книга пути*). Дорога становится для него частью жизненного пути, а выбор дороги – выбором жизненного пути. Подобно герою *биографического романа* (*биографии*), герой «Лавра» проходит свой жизненный путь от рождения до смерти.

Жизненный путь героя имеет житийную основу (грех – смерть Устины; кризис – сцена в доме с мертвыми Устиной и ребенком: искупление – прохождение героем земного пути за Устину и ребенка; святость). Композиция же «Лавра» соответствует структуре жития: книги обрамляются предисловием (*Пролегоменой*) и в совокупности представляют собой житие-биос, которое обладает своими особенностями. Жизнь героя в нем показывается в разновременности посредством четырех разных образов: «Я более не ощущаю единства моей жизни, сказал Лавр. Я был Арсением, Устином, Амвросием, а теперь вот стал Лавром. Жизнь моя прожита четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела и разные имена. <…> Они (воспоминания) не в силах связать меня с теми, кто в разное время был мной» (с. 401). Жизнь героя сравнивается с мозаикой, которая рассыпается на части. Эти отдельные части жизни связаны друг с другом стремлением героя к всевышнему Творцу, в котором «они вновь соберутся» (с. 402) и который видит всю картину созданного им мира в целостности и одновременности. Время же – атрибут земного существования человека. Оно субъективно, существует в сознании героя и автора-повествователя: «Арсений видел происходящие на свете события, но отмечал и то, что они странным образом разошлись со временем и больше от времени не зависели. Иногда они двигались одно за другим, как и прежде, иногда принимали обратный порядок. Реже – наступали без всякого порядка, бессовестно путая

[6] См.: *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

очередность» (с. 205). Здесь можно говорить о внутреннем времени, времени сознания героя о том, что А. Бергсон назвал *длительностью*[7]. Изменения, которые происходят с героем, также определяются его сознанием, которое не может «впустить в себя все события одновременно» (с. 279) и фиксирует только самые заметные и значимые из них. С этим и связано разделение целостного образа героя в книгах на отдельные, на первый взгляд, казалось бы, не связанные друг с другом образы и наделение героя разными именами.

В *Книге познания* рассказывается о рождении и родителях героя, об обучении его травному делу и молитве. Будущая святость Арсения предопределяется его учителем Христофором, сравнивающим мальчика с птицей харадр, подобно которой «Иисус Христос вознесся на древо крестное и источил <…> пречистую кровь Свою на исцеление греха» (с. 31). В *Книге отречения* герой отказывается от своего тела и предстает под именем Устин юродивым, человеком божьим, исцеляющим больных и страждущих. Здесь начинается духовный путь героя, не привязанный к пространству и ко времени. В *Книге пути* герой едет в Иерусалим, и его духовный путь сливается с пространственным путем-дорогой. В *Книге покоя* герой возвращается на Русь и продолжает исцелять людей. Но теперь его врачебная сила зависит не от трав, а укоренена в молитве. Герой здесь – седой старец, монах Амвросий. Принимая постриг, Амвросий становится Лавром, тем самым уподобляясь вечнозеленому растению, символизирующему собой вечную жизнь.

Герой показан в романе не только как юродивый, как святой. Во всех четырех книгах он – врач, чья лечащая сила уподобляется созидательной силе Творца, чье мастерство исцеления сродни искусству. Руки героя сравниваются с руками музыканта, а обращение с телом больного с игрой на музыкальном инструменте: «пальцы вытянулись <…> Движения рук стали плавны, жесты выразительны. <…> Прикасаясь к телу больного, руки Арсения теряли материальность, они словно струились» (с. 63). Таким образом, герой романа не только монах, принявший постриг, не только человек божий, святой из традиционного жития. Он – творец, мастер, виртуозно владеющий своим искусством.

В «Лавре» переплетаются три типа повествования: *хроникальное*, *хронографическое*, *палейное*[8]. Основные события, происходящие в романе, и даты (рождение героя, возвращение на родину, смерть) со-

---

[7] *Бергсон А.* Собр. соч. Т. 1. М., 1992. С. 93.

[8] Первые два типа повествования отождествляются. См. об этом: *Водолазкин Е.Г.* Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). СПб., 2008. С. 25.

относятся с событиями Священного писания: с Сотворением мира, со Страшным судом, с потопом. Христофор рассказывает Арсению о создании твердей небесной и земной, о светилах, зверях и птицах, о Боге и о человеке, сотворенном по его подобию из праха земного. Устина вместе с Арсением изучает Псалтирь, числа, отражающие мировую гармонию и обозначающие самые важные вехи в истории человечества (5500-й год от Сотворения мира – рождение Христа; 666 – число Антихриста – символизирует собой завершение истории). Происходящие события соотносятся также с божественной седмицей, определяющей ход земной жизни человека, с пасхальными, календарными и природными циклами. Время в романе измеряется днями, месяцами, вёснами и зимами. Встреча Устины и Арсения происходит в преддверии весны, когда «светло <…> небеса поднялись и стали голубыми» (с. 67). Христофор умирает зимней декабрьской ночью, «когда в природе <...> темно» (с. 67). Устина – также ночью, в ноябре, «в мраке и смраде» (с. 97). В момент ее смерти «луна как раз выбралась из рваных облаков и освещала дверной проем» (с. 97). Утро, когда просыпается Анастасия с ребенком и обнаруживает мертвого Лавра, символизирует рождение новой жизни.

С помощью соотнесения разных временных пластов (настоящего, средневекового и библейского) с природными и календарными циклами в «Лавре» показывается связь времен, непрерывность всех мировых процессов и создается единая картина мироздания в одновременности.

В результате можно говорить о наличии в романе двух образо- и сюжетообразующих осей: вертикальной (одновременность) и горизонтальной (разновременность), которые имеют точки пересечения. Одну из них символизируют два сросшихся дуба на кладбище, у которых герой строит свой дом. Другую же – корнеообразная (не ризоматическая) молния, изображенная в сцене бури и соединяющая твердь небесную с земной. Вертикальная ось символизирует собой божественную вечность, в которой всё сосуществует во вневременности. Время в вечности, по выражению М.М. Бахтина, «вовсе выключено»[9], и именно в ней «может раскрыться истинный смысл того, что было, что есть и что будет»[10]. Горизонтальная же ось отражает земной ход событий во времени, которое «лишено подлинной реальности и осмысливающей силы»[11], не всегда и не везде однородно, для каждого явления идет по-разному («исчерпывается не время,

[9] *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 306.

[10] Там же. С. 307.

[11] Там же.

но явление»)[12]. Время то устремляется вперед, то спутывается, то прерывается в сознании героя и автора-повествователя. Движется то циклически по замкнутому кругу, символизирующему собой вечное время (этот тип времени характерен для античной историографии)[13], то по спирали, отражающей «хронографический тип истории, который в равной степени касается времени и вечности»[14], а также время обладает свойством возвращаться к истокам, к началу начал.

«Чтобы понять мир, нужно сопоставить всё в одном времени, то есть в разрезе одного момента, нужно видеть весь мир как одновременный», – писал М. М. Бахтин[15]. Такую целостную картину мира и пытается воссоздать в «Лавре» Е. Водолазкин, смешивая дискурсы, прибегая к синтезу разных жанровых форм, соотнося героев и события, принадлежащие разным эпохам, и показывая их все вместе в разрезе одновременности. (Задача, сопоставимая с задачей современной физики). Сам процесс создания романной ткани на первый взгляд по-постмодернистски хаотический, порождает несвойственную для постмодернизма единую структуру этого произведения, характерную для такого типа романа, который можно назвать *«романом творения»*[16] или *«романом-моделью мира»*, в основе которого лежат представления о мироустройстве, о времени и пространстве, о законах, управляющих мирозданием, о всевышнем Творце и о созданном по его подобию человеке.

Весь роман «Лавр» Е. Водолазкина строится как метаморфоза времен – поколений (от Сотворения мира до наших дней) подобно «Трудам и дням» Гесиода. Христофора с его женой сменяет Арсений с его Устиной, их в свою очередь Строев и Александра Мюллер, как день сменяет ночь, а зиму весна и т. д. С позиций земного хода событий (т. е. во времени) – это ряд; в одновременности же – неделимое, сплоченное целое. Арсений не просто сменяет своего учителя Христофора. Христофор с его врачебной силой как бы прорастает в нем: «Арсений знал, что больные в нем по-прежнему видят Христофора, так что их приход всякий раз был как бы продлением жизни деда. <…> Арсений и сам понемногу начинал чувствовать себя Христофо-

---

[12] Там же. С. 288.

[13] См.: *Водолазкин Е.Г.* Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). С. 94–95.

[14] Там же. С. 95.

[15] *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 307.

[16] Термин принадлежит Н.С. Бочкаревой. См. об этом: *Бочкарева Н.С.* Роман о художнике как «роман творения», генезис и поэтика: на материале литератур Западной Европы и США конца XVIII–XIX вв.: Дисс. … докт. филол. наук. Пермь, 2001.

ром» (с. 64). Отношение Строева к Александре Мюллер и ее ребенку напоминает отношение Арсения к Устине и их ребенку. Строев, как и Арсений, чувствует свое родство: «Мне хорошо с ними обоими, сказал Строев, в сердце своем, потому что в них обоих я чувствую нечто родственное» (с. 236).

Образ древа (не ризомы без стержня, без начала и конца) является ключевым для всего романа. И образ главного героя, как и образы других героев, нельзя рассматривать вне связи с этим родовым древом, корни которого ведут к началу начал – к Сотворению мира и к первым людям, описанным в Священном писании.

Главный закон, по которому строится роман, – закон подобия. «Лавр» состоит из сцен, которые не повторяют, но подобны друг другу (их можно соотносить по закону подобия). Этим сцены напоминают греческие авантюры, свойством которых являлась возможность перестановки в пространстве и во времени. Сцена принятия родов Арсением у Устины подобна сцене принятия родов Лавром у Анастасии. История Христофора и его жены подобна истории Устины и Арсения, а та, в свою очередь, истории Строева и Александры Мюллер. Всё это вариации одной истории – Адама и Евы и одного сюжета, описанного в Священном писании.

Все сюжеты сцен «Лавра» – вариации одного сюжета Вечной Книги (Библии), которую читает Арсений и для которой, как и для романа – современной палеи Е. Водолазкина, ключевым является мотив творения.

Таким образом, «Лавр» представляет собой *«роман творения»*, *«роман-модель мира»*, *«текст о мироустройстве»*, главным героем которого является Он в своей многоликости: всевышний Творец – в одновременности и созданный по его подобию человек: Арсений, Устин, Амвросий, Лавр – в разновременности, наделенный божественной способностью творить.

Список литературы

Архангельская А.В. Время древнерусское и современное в романе Е. Водолазкина «Лавр» // Научная конференция «Ломоносовские чтения» и международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Севастополь, 2013.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Бергсон А. Собр. соч. Т. 1. М., 1992.

Бочкарева Н.С. Роман о художнике как «роман творения», генезис и поэтика: на материале литератур Западной Европы и США конца XVIII – XIX вв.: Дисс. … докт. филол. наук. Пермь, 2001.

Водолазкин Е.Г. Лавр. М., 2014.
Водолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). СПб., 2008.
Ладохина О.Ф. Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века? М., 2010.
Басинский П. Светящаяся тьма // Российская газета. 2012. № 5945 (272). 27 нояб.
Скороспелова Е.Б. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М., 2003.

Сведения об авторе: *Маглий Анна Дмитриевна*, аспирант кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: anna.litera.magliy@mail.ru

С.С. Гусева

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА В ТЕКСТЕ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОЙ НОМИНАТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ (на примере текстов А.П. Чехова)

В статье рассматривается вопрос о средствах номинации одного и того же лица в тексте и единицах, необходимых для их исследования и описания, – номинативной парадигмы и номинативного ряда, также обсуждается семантическая классификация русских существительных – имен лиц.

Ключевые слова: наименования лиц, номинативная парадигма, номинативный ряд, многофокусная номинация, семантическая классификация наименований лиц.

The paper deals with the problems of nominations (naming) of one person in a text and the terms required to research and describe them (a nominative paradigm and a nominative series); a semantic classification of persons' nominations (names) is discussed too.

Key words: persons' nominations, a nominative paradigm, a nominative series, multifocus nomination, semantic classification of persons' nominations.

Вопросы текстовой номинации лиц в настоящее время разрабатываются весьма активно; см., например [Асланова, 2003; Гусарова, 2003; Соловьева, 2006; Гацалюк, 2010; Садр, 2011]. Это связано с необходимостью исследования механизма референции, решением задачи установления кореферентности разных лексических единиц в одном тексте, с потребностью выявить весь объем информации о говорящем, который несет в себе выбираемое им средство номинации того или иного референта.

Номинация лиц является важнейшей областью текстовой номинации. Многообразие средств номинации представлено здесь в наибольшей степени, что связано с самим множеством ролей, в которых способен выступать человек. Одно и то же лицо (референт) в одном и том же тексте регулярно именуется автором или персонажем по-разному, при этом читатель понимает, о ком идет речь. Например, персонаж рассказа А.П. Чехова «О любви» Алёхин именуется следующим образом: *Алёхин*, *Павел Константиныч*, *человек*, *студент*, *белоручка*, *мировой судья*, *человек*, *существо*; используются также местоименные лексемы типа *он*, *я*, включающие лицо в референциальный контекст коммуникативных ситуаций.

Ядро системы номинации лиц состоит из специализированных лексических единиц – нарицательных существительных (таких, как *человек*, *студент*, *белоручка*, *судья*, *существо*). Именно с их помощью язык фиксирует самые важные для номинации и характеристики человека признаки. Лексическое значение подобных единиц уже достаточно подробно описано в толковых и словообразовательных словарях, в том числе русских, и на повестке дня стоят более сложные вопросы: семантическая классификация номинаций, функционирование их в тексте, стратегии выбора наименований и т. д.

Один из наиболее очевидных и важных аспектов функционального исследования тестовой номинации – **референционный аспект.** Он направлен на установление того, каким образом происходит соотнесение наименования со стоящим за ним объектом. Основные положения лингвистической теории референции (см. работы Н.Д. Арутюновой, Е.В. Падучевой, А.Д. Шмелева и др.) в настоящее время развиваются и исследуются как на примере отдельных лексических единиц и предложений, так и на текстовом уровне (см., например, Платонова, 1992; Гацалюк, 2010).

Опорными при исследовании текстовых функций лексических единиц являются такие **понятия**, как повторная номинация; референтное и нереферентное употребление имени; интродуктивная, идентифицирующая, предикатная, аппелятивная номинация [Арутюнова, 1977: 304]; информативно-описательная, ситуативная (характеристика в данной ситуации), экспрессивно-оценочная (характеристика объекта с оценкой его качеств); редуцирующая (сокращение объема текста) функции средства номинации [Валгина, 2003: 35].

Не менее важен и **авторизационный аспект** исследования, т. е. анализ номинаций лица с точки зрения субъекта конкретной номинации. Как отмечал В.Г. Гак, номинации лица могут быть **однофокусными** (принадлежащими одному субъекту речевой деятельности) и **разнофокусными** (принадлежащими разным субъектам) [Гак, 1972: 124].

Не вызывает сомнений, что средства номинации, относящиеся к одному и тому же референту в одном тексте (в текстах одного автора), – самостоятельный и необходимый объект описания и изучения, без которого механизмы номинации не могут быть исследованы в полной мере. Этот объект представлен, например, в Указателе имен к Полному собранию сочинений А.С. Пушкина, где при имени исторического лица, города и пр. даются адреса его упоминания в текстах и способы номинации. Ср., например: ***Искра, Иван Иванович****: друзья*, *клеврет*, *два страдальца*, *доноситель*, *друг*, *скорбный друг*, *их* [Пушкин, 1994: 531]. Однако в научной литературе пока нет устойчивого термина для обозначения такого важного объекта лингвистического исследования, как ряд номинаций одного лица в тексте. В последнее

время для него все более активно используется такое обозначение, как «номинативная (номинационная) парадигма».

Эта парадигма определяется по-разному: как «ряд разноструктурных номинативных единиц различной деривационной природы, объединенных по вариативно-инвариантному принципу функционирования в речевом контексте» [Скворцова, 2011], как список единиц, использующихся для наименования [Турлова, 2007], как совокупность разноструктурных номинаций одного концепта [Гукова, Фомина, 2011] и т. п.

Использование термина «парадигма» в данном случае может вызывать возражения. Парадигма – это класс однородных элементов с общими свойствами [Соссюр, 1977]. В нашем случае элементы имеют самые разные языковые свойства и функции, а то, что их объединяет (референт), находится вне языка. Кроме того, число возможных номинаций одного референта, на первый взгляд, бесконечно, и отношения позиционного распределения между ними отсутствуют. В связи с этим текстовые средства номинации одного референта можно было бы рассматривать как чисто текстовую, произвольным образом складывающуюся в каждом конкретном тексте группу имен (квазисинонимический, номинативный ряд и пр.), не требующую для описания ввода какой-то особой абстрактной единицы. Однако тот факт, что при номинации референта говорящий, несомненно, осуществляет выбор, свидетельствует о противопоставленности членов одного ряда и наличии системных отношений между ними.

При этом выборе говорящий вынужден учитывать и текстовую позицию лексических единиц, и их значение, и характер информации, которая уже известна адресату, и свои коммуникативные цели. В результате использованные при номинации одного и того же лица существительные оказываются противопоставленными прежде всего по тому, несут ли они дополнительную информацию о лице и об отношении к нему, а если да, то какого типа.

Главными членами номинативной парадигмы «обозначение лица» можно считать такие ключевые смыслы: «обращение к лицу», «общее именование лица» (человек и пр.), «идентификация лица с помощью имени собственного», «характеризация лица», «выражение отношения к лицу», «простое указание на лицо».

Есть типы текстов, в которых регулярно используются все члены этой парадигмы (ср., например, художественные тексты), однако позиции для обращения, имен собственных и выражения отношения не универсальны – они отсутствуют в определенных функциональных стилях (ср., например, язык законов). Еще более специфичны типы характеризующей лицо информации. Использование нарицательного существительного требует от говорящего такого действия, как отнесение лица к классу. Классификация должна производиться на акту-

альном для коммуникативной ситуации основании, т. е. говорящий должен предварительно оценивать все известное ему об именуемом лице. В итоге этих действий нужная информация вербализуется с помощью избираемого существительного. Поэтому большое значение при анализе средств номинации лиц имеет семантическая классификация существительных – имен лиц. Такая классификация должна отражать и тяготение семантики слова к определенной позиции в номинативной парадигме, и характер признака, на основании которого выделен класс денотатов.

К сожалению, единой и общепризнанной семантической классификации имен лиц пока нет. Как показал наш опыт анализа и сравнения семантических классификаций русских имен лиц в «Русском семантическом словаре» под ред. Н.Ю. Шведовой [Русский семантический словарь, 1998] и «Словаре-тезаурусе синонимов русской речи» под общ. ред. Л.Г. Бабенко [Словарь-тезаурус, 2007], в них может не совпадать как сам набор и иерархия выделяемых классов, так и состав конкретных единиц, включаемых в них. Разбиение на семантические классы достаточно субъективно, производится на разных основаниях и с разной степенью детализации (особенно на периферии и в переходных зонах семантических полей). Поэтому существующие классификации нуждаются в адаптации к решению конкретных исследовательских задач.

В ходе работы над проблемой номинативной парадигмы и семантической классификации имен лиц нами было проведено исследование употребления имен лиц в текстах А.П. Чехова. Исследование проводилось на материале корпуса текстов А.П. Чехова, созданного в лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета МГУ[1].

Перед нами стояла задача выявить существительные – наименования лиц и распределить их по типам передаваемой информации (для последующей автоматической разметки и анализа текстов). В результате сплошного анализа данного корпуса был получен список из 4304 единиц, именующих лица. На основе этого словника, а также с опорой на указанные выше две семантические классификации был создан рабочий вариант семантической классификации наименований лиц.

При решении вопроса о принципах семантического разбиения мы исходили из необходимости достаточно уверенно разбивать признаки, приписываемые референту, на обозримое число семантических типов и небольшое число уровней. При этом в качестве критерия исходного членения, как и в «Семантическом словаре», был использован тип семантики существительного. На этом основании были выделены

[1] Автор статьи принимал непосредственное участие в создании данного корпуса.

следующие группы: общие наименования, характеризующие наименования, онимы, чисто оценочные наименования.

Общие наименования – это группа единиц с самой общей семантикой отнесения к классу «человек». В текстах А.П. Чехова в качестве общих наименований употребляются следующие существительные: *человек*, *существо*, *фигура*, *антропос*, *индивид*, *индивидуум*, *лицо*, *особа*, *особь*, *создание*, *субъект*, *тип*, *штука*, *штучка*, *характер* («Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще что вы за *штучка*» («Чайка»); «Призыв к гражданскому чувству говорит о благородстве души, но не надо забывать, что гражданин в каждом отдельном *индивидууме* тесно связан с христианином...» («Задача») и др.). Подобные имена используются как средство указания на уже поименованный референт (*этот* ***человек***), как средство ввода нового референта (*какой-то* ***человек***) и одновременно как средство ввода новых признаков (ср.: *это был молодой* ***человек***).

Большое число используемых А.П. Чеховым общих наименований связано с тем, что они несут разнообразную прагматическую информацию, выражая эмоции, испытываемые говорящим, его оценку и т. п. Ср.:

Выражение отрицательного отношения (раздражения, недовольства): «Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными ***особами***, вроде той, которая сегодня пряталась за картину» («Попрыгунья»); «Ни за что бы не вышла за такого ***субъекта***!» («Ушла»); И в а н о в. Не знаю. У меня сегодня ничего нет. Подождите до первого числа, когда жалованье получу. Б о р к и н. Вот извольте разговаривать с такими ***субъектами***… Рабочие придут за деньгами не первого числа, а завтра утром…» («Иванов»);

Выражение положительного отношения: «Не можешь ли ты из своей прелестной ***особы*** составить мне приятнейшую компанию?» («За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь») и др.

Характеризующие наименования – это имена классов, с помощью которых осуществляется категоризация лиц (*доктор*, *брат*, *женишок*, *поляк*, *гость*, *красавица* и др.). Классификация характеризующих наименований представляет собой наиболее сложную задачу в силу их многозначности и возможности разбиения на разных основаниях. При выделении групп мы опирались на «анкетный» принцип, т. е. исходили из тех типов информации, которые наиболее социально значимы. Именно такая информация чаще всего сообщается о лице при его характеристике, и именно она отражается в первую очередь в естественной классификации лиц языка. Основное, что обычно сообщается о лице, может быть представлено в виде общей

«анкеты», пункты которой знают и говорящий, и адресат, и первый заполняет их (или оставляет незаполненными) с учетом ситуации и своих коммуникативных целей.

Анализ чеховского материала показал, что характеризующие существительные можно разбить на десять классов на основании того аспекта личности, который описывается:

«Постоянные биофизические характеристики» (*мужчина*, *старуха*, *красавец* и др.),

«Постоянные социальные характеристики» (*азиат*, *мать*, *барин* и др.),

«Сфера деятельности, профессия» (*извозчик*, *адвокат*, *актер* и пр.),

«Характеристика свойств личности» (*мямля*, *подлец*, *врун* и др.),

«Привычки, индивидуальные особенности физических проявлений» (*обжора*, *выпивоха* и др.),

«Характеристика взглядов, мировоззрения» (*атеист*, *праведник*, *оптимист* и др.),

«Увлечения, занятия» (*собиратель*, *путешественник* и др.),

«Принадлежность к коллективу и позиция в нем» (*глашатай*, *начальник*, *друг* и др.),

«Отношение говорящего к объекту речи» (*тварь*, *особа*, *субъект* и др.),

«Ситуативная характеристика» (*пешеход*, *пациент*, *защитник* и др.).

В каждом из десяти выделенных главных классов имен имеет смысл разграничивать более конкретные подклассы, уточняющие основание характеризации.

Так, например, класс «Постоянные биофизические характеристики» разбивается на подклассы: «Живой/неживой», «Пол», «Возраст», «Особенности внешности»; в классе «Постоянные социальные характеристики» выделяются подклассы «Место рождения, национальность», «Родство», «Социальная принадлежность». Общее количество установленных нами именных подклассов, с помощью которых удалось описать чеховский материал, – 77.

Чисто оценочные наименования содержат только оценку лица субъектом номинации (ср.: *гад*, *скотина*, *мерзавец* и пр.), т. е. передают субъективное отношение к лицу. Таких единиц в русском языке немного, так как этот тип информации регулярно передается с помощью экспрессивно-оценочной окраски характеризующих имен и онимов.

Слова, входящие в группу **онимов**, обладают прежде всего идентифицирующей функцией, но они также могут передавать отношение субъекта номинации через конкретный вариант имени, использование

особых типов суффиксов и т. п. Так, например, уменьшительно-ласкательный суффикс в имени *Жанчик* указывает на близкие отношения говорящего и именуемого, несет положительную оценку, а вариант имени *Вера Иосифовна* нейтрален: «*Жанчик*, – сказала *Вера Иосифовна* мужу, – dites que l'on nous donne du thé[2] («Ионыч»); Епиходов называет Дуняшу (номинация, которую девушка получает от всех остальных) *Авдотьей Федоровной*, что указывает на несколько дистанцированное отношение к адресату: «Я желаю побеспокоить вас, *Авдотья Федоровна*, на пару слов» («Вишневый сад»).

Последовательность именований одного и того же лица, осуществляемых одним говорящим в одном и том же тексте, можно рассматривать в качестве конкретной реализации номинативной парадигмы лица – **номинативного ряда.** В тексте, где много персонажей, может быть много субъектов номинации одного референта. В этом случае имеет место многофокусная номинация и совокупность номинативных рядов.

Рассмотрим, как функционируют номинативная парадигма и номинативные ряды на примере рассказа **А.П. Чехова «Человек в футляре»**.

Номинация главного персонажа – Беликова – осуществляется с помощью нескольких номинативных рядов, имеющих разных авторов (субъектов номинации).

Номинативный ряд рассказчика (субъект 1) открывается уже в заглавии: *человек в футляре*. Далее в номинативном ряду этого субъекта используются номинации *Беликов* (многократно), *товарищ*, *он* (многократно), *учитель* (несколько раз), *человек* (несколько раз), *человечек*.

Номинативный ряд Коваленко (субъект 2) представлен словами *фискал*, *мерзкая рожа*, *Иуда*, *глитай*, *абож паук*[3], *господин*, *фискал*.

Одна номинация принадлежит **автору карикатуры (субъект 3)**: *влюбленный антропос*, одна – **Афанасию, слуге Беликова, (субъект 4)**: *барин*. Присутствуют и **автономинации**: *порядочный человек*, *старший товарищ*. Рассказчик дает персонажу в основном идентифицирующие наименования, характеризующих всего два: сфера деятельности, профессия – наука и образование (*учитель*) и принадлежность к коллективу и позиция в нем – кооперация/конфронтация (свой/чужой) (*товарищ*); общее наименование с оценочным компонентом (*человечек*); Коваленко – более экспрессивные, негативно-оценочные номинации; автономинации Беликова, что вполне понятно, имеют положительные коннотации.

---

[2] Скажи, чтобы дали нам чаю (франц.).

[3] Мироед, или паук (укр.).

В рассказе **«Крыжовник»** герои при первой номинации характеризуются стандартным образом: называются профессии и имена собственные (*Ветеринарный врач Иван Иваныч* и *учитель гимназии Буркин*). При появлении новых действующих лиц (Алехин, Николай Иваныч Чимша-Гималайский, Пелагея), которые контактируют с двумя главными героями произведения, возникают новые объекты и фокусы номинации. Так, например, в фокусе номинации Алехина оказываются Иван Иваныч и Буркин, которые получают здесь **относительную номинацию** – *гости* (ситуативная характеристика – роль в ситуации, в деятельности – контрагент / помощник, соучастник), а **при обращении** (т. е. в особой текстовой позиции) называются *господа* (позиция, характерная для этого слова; семантическая группа «отношение говорящего к объекту речи – статусное именование»). Остановимся более подробно на номинативных рядах единиц, обозначающих в тексте Николая Иваныча Чимшу-Гималайского. Этот объект номинации именуется несколькими субъектами и, соответственно, имеет несколько номинативных рядов.

Номинативный ряд Ивана Иваныча (субъект 1): *брат*, *Николай Иваныч*, *он* (многократно); *добрый*, *кроткий человек*; *Николай* (несколько раз), *второй муж*, *бедняга-чиновник*, *помещик*, *барин*, *счастливый человек*.

Номинативный ряд кухарки (субъект 2): *барин*.

Номинативный ряд крестьян (субъект 3): *ваше высокоблагородие*.

Номинативный ряд рассказчика (субъект 4): *бедняга-чиновник*.

В рассказе встречаются и **самономинации**: [*мы*,] *дворяне*, [*я*, *как*] *дворянин*.

Среди номинаций Николая Иваныча, данных Иваном Иванычем, встречаются и идентифицирующие, и характеризующие наименования. Последние входят в следующие семантические группы: постоянные социальные характеристики – родство (*брат*, *муж*), социальная принадлежность (*помещик*, *барин*); сфера деятельности, профессия – (*чиновник*); отношение говорящего к объекту речи – испытываемые эмоции (*бедняга*). Субъект 2 характеризует объект наименования по признаку «постоянные социальные характеристики – социальная принадлежность» (*барин*). Субъект 3 использует номинацию, для которой характерна особая текстовая позиция (обращение) и которая входит в семантическую группу «отношение говорящего к объекту речи – статусное именование» (*ваше высокоблагородие*). Номинация *бедняга-чиновник*, данная рассказчиком, представляет собой **«совмещенную номинацию»**. Такие номинации характерны

для художественной прозы, а особенно для несобственно-прямой речи. В этих наименованиях совмещены точки зрения именующего персонажа и автора [Гак, 1998: 525] [«Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про *беднягу-чиновника*, который ел крыжовник, было скучно» («Крыжовник»)].

Описывая номинативные ряды, принадлежащие разным субъектам номинации и использующиеся в разных типах текстов как текстовые реализации единой, общей номинативной парадигмы «номинация лица», мы получаем возможность сравнивать их и описывать на едином основании.

Количественный анализ номинативных рядов позволяет определять иерархию упоминаемых лиц по степени их значимости. Их качественный анализ позволяет сопоставлять ряды по характеру сообщенной информации, а также определять те типы информации, которые тяготеют к определенным текстовым позициям, исследовать совместимость разных типов информации в рамках одного номинативного ряда и возможный порядок ее следования, что важно для установления отношений кореферентности.

Выделение и анализ номинативных рядов является также удобным инструментом для исследования художественного текста, поскольку помогает разграничивать и сопоставлять взгляды разных персонажей, выявлять позицию автора (рассказчика), а также наиболее значимые, с его точки зрения, типы информации о человеческой личности.

Список литературы

Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация (Виды наименований) / Отв. ред. Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева. М., 1977.

Асланова Р.Г. Образная номинация в структуре комического текста: Дисс. … канд. филол. наук. Махачкала, 2003.

Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003.

Гак В.Г. Повторная номинация и ее стилистическое использование // Вопросы французской филологии: Сборник трудов. М., 1972.

Гацалюк О.Н. Типы и функции номинаций персонажа (на материале романов М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и В.В. Набокова «Лолита»): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2010.

Гукова Л.Н., *Фомина Л.Ф.* Номинативная парадигма концепта Петербург в дискурсе А.С. Пушкина // Записки з ономастики. Киев, 2011. № 14.

Платонова О.В. Референциальный аспект метафорической номинации (на материале поэтического языка XX века): Дисс. … канд. филол. наук. М., 1992.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 5. М., 1994.

Русский семантический словарь. Т. 1 / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1998.

Садр М. Номинации человека в произведениях А.П. Чехова: ономасиологический аспект: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Астрахань, 2011.
Скворцова Е.В. Динамика номинативной парадигмы американских художественных фильмов: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Самара, 2011.
Словарь-тезаурус синонимов русской речи / Под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М., 2007.
Соловьёва Е.В. Номинация лица в прозаических произведениях А.С. Пушкина: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2006.
Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
Турлова Е.В. Номинативная парадигма названий учебных пособий, представленных в каталогах учебной литературы // Вестник Самарского государственного университета. Самара, 2007. № 5/1 (55).

Сведения об авторе: *Гусева Софья Сергеевна*, аспирант кафедры русского языка филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: guseva.sofja@yandex.ru

П.В. Дурягин

РЕАЛИЗАЦИЯ «СОЧЕТАНИЙ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ» НА СТЫКАХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Статья содержит результаты экспериментального исследования фонетической реализации консонантных кластеров, образующихся на стыках фонетических слов в современном русском литературном языке. В работе описаны фонетические изменения в этих сочетаниях, а также влияние на их реализацию признаков глухости – звонкости и твердости – мягкости согласных, входящих в состав сочетания; места ударения, характера фразовой позиции, места словесной границы.

Ключевые слова: русский язык, фонетика, непроизносимые согласные, внешнее сандхи.

The article describes the realization of consonant clusters in an external sandhi position in Modern Standard Russian that include so-called “unpronounced consonants” – dental occlusive obstruents that may be omitted in certain positions. The research shows that the realization of these clusters depends on the place of the word juncture and that palatalized consonants tend to be omitted more regularly than the velarized ones.

Key words: Modern Standard Russian, phonetics, “unpronounced consonants”, external sandhi.

Современный русский литературный язык (далее – СРЛЯ) как язык консонантного типа характеризуется наличием большого количества сочетаний, состоящих из трех и более согласных. В пределах фонетического слова максимальное количество согласных фонем подряд предположительно равняется шести, например, в слове *адъюнктство*.

В кодифицированном литературном русском языке существуют определенные ограничения на сочетаемость согласных. Так, например, фонотактикой запрещены сочетания шумных согласных звуков[1], различающихся по признаку глухости – звонкости[2]. Особое

[1] Если относить [в] и [в’] к классу сонорных.

[2] В то же время в разговорной речи обнаруживаются явления, противоречащие традиционному представлению о сочетаемости согласных в пределах фонетического слова в русском языке. К ним относятся, например, новые консонантные кластеры, возникающие в результате эллипсиса редуцированных гласных.

положение среди консонантных кластеров русского языка занимают так называемые «сочетания с непроизносимыми согласными». Они представляют собой последовательности из трех и более согласных фонем, одна их которых реализуется нулем звука на фонетическом уровне в результате действия фонологических правил. М.В. Панов определяет непроизносимые согласные как «звуковой ноль, который вследствие позиционного чередования выражает согласную фонему» [Панов, 1979: 140]. Однако эти фонологические правила, или позиционные чередования, не соответствуют критерию «безысключительности», применяемому М.В. Пановым[3]. Об этом свидетельствует сам факт существования орфоэпических рекомендаций произношения сочетаний с непроизносимыми согласными, а также колебания в речи различных носителей русского литературного языка.

Для описания подобных явлений М.Л. Каленчук было введено понятие «орфоэпическая прикрепленность». Оно позволяет различать позиции, в которых реализация фонем обусловлена только фонетическими факторами, и позиции, в которых «для того, чтобы определить, каким звуком будет представлена та или иная фонема, недостаточно знать фонетическую позицию, в которой она находится – необходимо также учитывать орфоэпические условия ее функционирования» [Каленчук, 1993: 67]. Сочетания с непроизносимыми согласными представляют собой позиции второго типа. С одной стороны, процессы в них могут быть описаны в виде фонологических правил[4], с другой стороны, эти правила не могут считаться исчерпывающими без указания на некоторые нефонетические факторы, влияющие на их применение: положение относительно морфемных границ, прикрепленность к конкретным лексемам, факультативность утраты взрывного элемента (*гигантский*: [нск’] и допустимо [нцк’]; [Каленчук, Касаткин, Касаткина, 2012: 987]), произносительную норму говорящего и пр.

В русском языке консонантные кластеры, по своему составу идентичные «сочетаниям с непроизносимыми согласными», обнаруживаются не только внутри фонетического слова, но и на стыках разных слов (в позиции внешнего сандхи). Известно, что различные фонологические правила могут иметь различную сферу действия,

---

[3] «Позиционным чередованием звуков называется такое чередование, которое осуществляется без исключений, т. е. во всех словах данной языковой системы» [Панов, 1979: 95].

[4] Например, «взрывной зубной согласный реализуется нулем звука в позиции между зубным щелевым и зубным носовым (щелевой – не после согласного): [ч’еснъ], [познъ]». Следует отметить, что правило может не действовать в том случае, если сочетание находится на стыке приставки и корня: *бездна* – может произноситься [здн].

в том числе и в СРЛЯ [Князев, Пожарицкая, 2005: 177–181], т. е. действовать неодинаково внутри фонетического слова и на стыках слов: так, граница слова является препятствием для регрессивной ассимиляции согласных по признаку твердости – мягкости [Панов, 1979: 168]. Вместе с тем регрессивная ассимиляция согласных по глухости – звонкости на стыках слов происходит по тем же правилам, что и внутри фонетического слова. Вопрос о том, как осуществляются коартикуляционные изменения согласных по месту и способу образования на стыках слов в русском языке, подробно в литературе не рассматривался.

В данной работе излагаются результаты исследования фонетической реализации сочетаний с непроизносимыми согласными, образующихся на стыках фонетических слов в СРЛЯ. В ходе проведенного экспериментального исследования было записано чтение вслух десятью информантами – носителями литературного произношения – заранее составленного текста, содержащего в себе примеры сочетаний с непроизносимыми согласными на стыках слов. Текст представляет собой набор не связанных по смыслу предложений, извлеченных из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru). При составлении примеров за основу был взят список сочетаний, приведенный в работе Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение» [Аванесов, 1972: 147–152]. Из списка были исключены сочетания, в которых нулевая реализация фонем имеет диалектную и/или просторечную окраску, а также сочетания, невозможные или крайне редко встречающиеся на стыках слов (*лнц*, *вств*). В итоге список сочетаний, рассмотренных в настоящей работе, выглядит следующим образом: *стк* (*здг*), *нтк* (*ндг*), *стск*, *нтск*, *стц*, *нтц*, *рдц*, *стн* (*здн*), *стл* (*здл*). В табл. 1 они приведены в схематическом виде с отдельными примерами.

Таблица 1

Примеры сочетаний, рассмотренных в рамках эксперимента

Предшествующий согласный / **Последующий согласный**	**-с (-з)**	**-н**	**-р**
н-	ест нормально	нет утраты	нет утраты
л-	хвост лошади		
к- (г-)	мест культуры	процент крестьян	
ск- (зг-)	прирост скорости	президент скамьи	
ц-	рост цен	агент ЦРУ	сорт цемента

При подготовке эксперимента по аналогии с факторами «орфоэпической прикрепленности», влияющими, как принято считать, на реализацию сочетаний с непроизносимыми согласными внутри слова, были выделены следующие фонетические факторы, которые предположительно могут оказывать влияние на утрату или сохранение смычного шумного согласного на стыках слов:

- место границы слова (различаются случаи, когда она проходит *до* и *после* «непроизносимого согласного»),
- удаленность сочетания от ударных гласных (ср. *хвост лошади* и *шелест листвы*),
- глухость – звонкость и твердость – мягкость согласных, входящих в сочетание,
- место фразового акцента.

Необходимо отметить, что некоторые из перечисленных выше факторов являются нерелевантными для ряда сочетаний[5]. Кроме того, были рассмотрены отдельные примеры, в которых указанные сочетания соседствуют с другими согласными, образуя более сложные по составу консонантные кластеры (*плотность льда*, *текст классика* и др.).

Записи, полученные от информантов, были проанализированы при помощи компьютерной программы Speech Analyzer. На основании этого анализа выяснилось, что в сочетаниях типа *стн* и *стл* данных спектрограмм и осциллограмм не всегда достаточно для того, чтобы определить наличие или отсутствие взрывного согласного. Поэтому для таких сочетаний был проведен перцептивный эксперимент. В ходе его информантам было предложено прослушать вырезанные звуковые сегменты, включающие в себя «сочетания с непроизносимыми согласными», и их фонетическое окружение. Сегменты были вырезаны таким образом, чтобы информанты не могли догадаться по смыслу, из какого словосочетания извлечен данный сегмент. Буквенные записи услышанных «слов», сделанные информантами, были проанализированы.

На основании компьютерного анализа можно судить о том, остается ли какой-либо физический след от взрывного зубного в сочетаниях с непроизносимыми согласными; на основании данных

[5] Нерелевантным фактор считается в случае, если невозможно подобрать минимальную пару сочетаний, различающуюся по этому признаку. Так, например, фактор глухости-звонкости согласных является нерелевантным для сочетания *стц*, поскольку, ввиду отсутствия в русском языке звонкой аффрикаты, невозможно рассмотреть отдельно реализацию сочетания *здц* на стыках слов, так как имеет место оглушение согласных. Фактор места границы слова является нерелевантным, например, для сочетания *нтск*, поскольку граница слова может проходить только между <т> и <с> (в русском языке нет слов, начинающихся на *тск*- либо заканчивающихся на -*нтс*.

перцептивного эксперимента можно делать выводы о том, как воспринимается на слух и интерпретируется на фонемном уровне последовательность согласных звуков. В данной статье подробно описан анализ одного из сочетаний, ставших объектом эксперимента, выводы по остальным приведены в сокращенном варианте.

Сочетания типа *стк*[6], в которых зубной взрывной (или аффрикаты [т'], [д']) оказывается в позиции после зубного щелевого и перед заднеязычным взрывным, можно отнести к «сочетаниям с непроизносимыми согласными» лишь условно. Уже в работе 1972 г. Р.И. Аванесов отмечает, что «для современного состояния русского литературного языка, по крайней мере, в отчетливом произношении в сочетании *стк* (*здк*) нет непроизносимых согласных: произносится [стк]» [Аванесов, 1972: 149]. Р.И. Аванесов отмечает утрату центрального элемента в данном консонантном кластере характерной для двух подсистем: «старой московской нормы» и «разговорной речи» [Аванесов, 1972: 149]. «Словарь трудностей русского произношения» под ред. М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной рекомендует произносить в данном сочетании все три звука, однако авторы отмечают, что «иногда в соответствии со старыми нормами звук [т] может не произноситься» [Каленчук, Касаткина, 1997: 40]. «Большой орфоэпический словарь русского языка» дает следующую рекомендацию: «зубной смычный… произносится, реже не произносится, в беглой речи не произносится» [Каленчук, Касаткин, Касаткина, 2012: 988]. Эти рекомендации фиксируют тот факт, что в языке наблюдается тенденция к исчезновению фонологического правила, ранее предписывавшего утрату переднеязычного взрывного в этой позиции.

Для изучения реализации сочетаний типа *стк* на стыках фонетических слов нами было записано 340 релевантных примеров от 10 информантов. Анализ динамических спектрограмм[7] показал, что процент примеров с утратой центрального элемента в этом консонантном кластере составляет около 56, примеров без утраты – около 44%.

Далее была рассмотрена зависимость процента утраты «непроизносимого согласного» на стыках слов от фонетических факторов, учтенных при составлении примеров для эксперимента. Таблицы 2 и 3 содержат сведения, дающие представление о том, как производи-

[6] *стк* – условное обозначение группы сочетаний, в которых взрывной зубной согласный находится в позиции между зубным щелевым и заднеязычным взрывным: [стк], [с'т'к], [стк'], [с'т'к'], [здг], [здг']. В дальнейшем с целью экономии места подобные пояснения опущены.

[7] Отметим, что для определения звукового состава в данном случае не потребовался перцептивный эксперимент: на спектрограмме присутствие или отсутствие переднеязычного взрывного (или аффрикат [т'], [д']) в позиции перед заднеязычным определяется однозначно и не противоречит слуховому восприятию.

лись подсчеты. Так, на основании результатов, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод о том, что место ударения и фразовая позиция не оказывают заметного влияния на сохранение или утрату взрывного согласного в данном сочетании. Данные табл. 3 показывают, что твердость – мягкость щелевого и взрывного согласных, входящих в состав кластера, напротив, существенно влияет на реализацию сочетаний типа *стк* на стыках слов[8].

Таблица 2

Влияние места ударения и характера фразовой позиции на реализацию сочетаний типа *стк* на стыках слов в СРЯ

Пример	Фразовая позиция	Слогов до ударного гласного в 1-м слове	Слогов до ударного гласного во 2-м слове	Процент случаев утраты [т]
рост курса	слабая	0	0	44
мест культуры	слабая	0	1	60
рост количества	слабая	0	1	30
лист картона	сильная	0	1	60
рост консультантов	сильная	0	2	67
рост корпоративных	слабая	0	3	56
шелест крыльев	сильная	1	0	50
возраст кончается	слабая	1	1	60
шелест камыша	сильная	1	2	60
возраст канареек	сильная	1	2	78

Аналогичные вычисления были произведены и для двух других факторов. Выяснилось, что глухость – звонкость согласных, входящих в сочетание, не оказывает заметного влияния на его реализацию: процент случаев утраты [д] в примерах *звезд Голливуда*, *приезд генерала*, *звезд героя* составил 50, 60 и 60 соответственно (процент утраты зубного взрывного в соответствующем сочетании [стк] составляет 58). В тех случаях, когда граница слова проходит *перед* [т] (примеры, включающие слова, однокоренные глаголу *ткать*: *голос ткача*, *обтягивались тканью* и др.), утраты «непроизносимого согласного» не происходит.

[8] Процент утраты [т]/[т’] в сочетаниях в сочетаниях [с(т)к] и [с(т)к’] равен 60,5%, в то время как процент утраты [т’] в сочетаниях [с’(т’)к] и [с’(т’)к’] составляет 80,5%. Эта зависимость, вероятно, объясняется аффрикативным характером [т’]: положение смычки и взрыва между двумя отрезками фрикативного шума создает условия для их ассимиляции в едином щелевом звуке.

Таблица 3

Влияние твердости – мягкости согласных на реализацию сочетаний типа *стк* на стыках слов в СРЯ

Транскрипция сочетания	Пример	Случаи утраты [т] или [т’], %	Средний показатель утраты, %
[с(т)к]	рост курса	44	61
	лист картона	60	
	возраст канареек	78	
[с’(т’)к]	есть какая-нибудь	80	85
	часть которых	100	
	публичность компании	70	
	деятельность компании	89	
[с(т)к’]	приезд китайского	70	60
	съезд кинематографистов	78	
	жест кистью	30	
	шелест кипарисов	60	
[с’(т’)к’]	шесть километров	89	76
	стоимость киловатта	60	
	поверхность кистью	80	

Таким образом, в результате проведенного эксперимента выяснилось, что сочетания типа *стк* на стыках фонетических слов могут реализовываться двумя разными способами в зависимости от индивидуальных речевых особенностей говорящего: с утратой и сохранением центрального согласного. В качестве фактора, обусловливающего утрату согласного, может выступать его мягкость (и, соответственно, ассимилятивная мягкость предшествующего ему согласного [с’]). Напротив, сохранение зубного взрывного наблюдается повсеместно в тех случаях, когда граница слова проходит перед ним, а не после него.

Ниже приведены основные экспериментальные сведения и выводы по остальным консонантным сочетаниям, исследованным в ходе эксперимента.

Сочетания типа *нтк*, подобно близким к ним по составу кластерам *стк*, в позиции внешнего сандхи реализуются иначе, чем внутри фонетического слова. Количество примеров с утратой центрального элемента составляет около 50% от общего числа записей. В тех

случаях, когда граница слова проходит перед [т] (примеры типа *экзамен ткача*), этот фактор естественным образом препятствует утрате согласного. Фактор твердости – мягкости согласных не является релевантным, поскольку в русском языке не существует слов, оканчивающихся на кластеры [н’д’] или [н’т’].

В сочетаниях типа *стск* на стыках слов происходит регулярная утрата согласных [т] и [т’], в результате чего образуется сочетание [ск], реже [с:к][9]. Таким образом, реализация сочетания *стск* на стыках слов не отличается от его реализации в пределах фонетического слова. В сочетании *нтск* на стыках слов регулярно утрачивается взрывной зубной согласный, изменения способа образования следующего за ним щелевого согласного обычно не происходит, в отличие от реализации данного сочетания в пределах слова, где считается возможным двоякое произношение: [нцк] и [нск] [Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012: 987]. Варианты произношения *стск* с долгим [с] и *нтск* с аффрикатой, вероятно, являются промежуточными звеньями в процессе утраты непроизносимого согласного в рассмотренных позициях и в целом нехарактерны для позиции на стыках слов. На стыках слов в результате регулярного действия фонетических правил (сокращения длительности долгого согласного в позиции перед согласным и упрощения аффрикаты с долгой смычкой в позиции перед согласным) наблюдается полная утрата согласного в сочетаниях *стск* и *нтск*.

Утрата согласного в сочетаниях типа *стц*, *нтц* и *рдц* как внутри фонетического слова, так и на стыках слов происходит регулярно, поскольку является результатом действия фонетического правила. В этих сочетаниях имеет место объединение кластера [тц] в аффрикату [ц] с продленной смычкой и последующая утрата долгой смычки, обусловленная позицией после согласного.

Для интерпретации записей, включающих сочетания типа *стл* и *стн* на стыках слов, одних результатов анализа спектрограмм и осциллограмм оказалось недостаточно. С.В. Кодзасов описывает акустическое сходство разных реализаций сочетаний *стл* и *стн* внутри фонетического слова следующим образом: «В быстрой речи различие между сочетаниями [сл] и [стл] очень невелико и может исчезать, так как глухая смычка в начале “слитного” звука [тл] сокращается, а шум латерального взрыва, разделяющего [т] и [л] внутри

[9] Длительность щелевого согласного, образующегося в результате утраты взрывного [т] или аффрикаты [т'] в сочетаниях типа *стск*, колеблется в пределах от 70 до 200 мс. Длительность одиночного [с] в позиции перед [к] обычно составляет не более 120 мс. Из 100 релевантных примеров в 98% случаев наблюдается утрата согласного, из них в 69% длительность щелевого не превышает 120 мс.

“слитного” звука, очень слаб и маскируется шумом предшествующего [с]. Подобными же фонетическими причинами объясняется, видимо, выпадение [т] и [д] перед [н], ставшее кодифицированным правилом» [Кодзасов, 1973: 127]. Проведенный эксперимент показал, что подобные изменения происходят в указанных сочетаниях и на стыках фонетических слов.

Перцептивный эксперимент, в ходе которого трем информантам было предложено прослушать короткие сегменты, включающие в себя сочетания типа *стн* и *стл* на стыках слов, показал, что слушающие интерпретируют эти последовательности звуков по-разному. Так, для сочетаний типа *стл* количество примеров, в которых аудиторы затранскрибировали прослушанные «слова» (точнее, входящие в их состав сочетания согласных) одинаково, составило 57,5%, для *стн* – 59%. В остальных случаях единообразие в восприятии отсутствует, что, впрочем, не противоречит принципам функционирования системы языка, поскольку наличие или отсутствие центрального согласного в этих кластерах, как правило, не несет смыслоразличительной нагрузки.

Обобщение данных перцептивного эксперимента и анализа динамических спектрограмм и осциллограмм позволяет выделить те элементы акустического сигнала, которые позволяли информантам делать однозначные выводы о звуковом составе прослушанных звуковых последовательностей. Сигналами о сохранении взрывного согласного в сочетаниях типа *стл*, *стн* служили: 1) длительность смычки после щелевого зубного, превышающая 60–70 мс; 2) значительное (более 30 мс для носового или более 50 мс для бокового аппроксиманта) оглушение сонорного согласного; 3) наличие взрыва высокой интенсивности в начальной стадии артикуляции сонорного согласного: «фаукального взрыва» перед [н] и [н’] и «латерального» – перед [л] и [л’].

Место границы слова существенно влияет на реализацию сочетаний типа *стл*, *стн* на стыках слов: участники перцептивного эксперимента, прослушивая сегменты, вырезанные из записей с такими примерами, как *поселилась тля*, *получилась длинной*, *анализ дневников*, регулярно фиксировали наличие в их звуковом составе взрывных [т], [д] или аффрикат [т’], [д’]. Кроме того, удалось обнаружить зависимость утраты/сохранения «непроизносимых согласных» на стыках слов в сочетаниях типа *стл*, *стн* от твердости – мягкости согласных: мягкие [т’], [д’] фиксировались участниками перцептивного эксперимента реже, чем соответствующие им твердые [т] и [д].

Процесс утраты мягких зубных аффрикат, вероятно, аналогичен тому, что был описан выше для сочетаний типа *стк*. Данных, однозначно свидетельствующих о влиянии факторов глухости – звонкости и места ударения на реализацию сочетаний *стн*, *стл* на стыках слов, в ходе эксперимента получено не было.

Таким образом, проведенное исследование позволяет разделить «сочетания с непроизносимыми согласными», образующиеся на стыках слов в СРЛЯ, на две группы. В сочетаниях типа *стц*, *нтц*, *рдц* утрата центрального элемента происходит повсеместно и является действием регулярного фонетического правила. Сочетания типа *стк*, *нтк*, *стск*, *нтск*, *стн*, *стл* на стыках слов могут реализовываться двумя разными способами: с утратой и сохранением смычного шумного согласного. Эксперимент показал, что, помимо индивидуальных особенностей говорящего, на реализацию сочетаний могут влиять фонетические факторы: мягкие [т’] и [д’] утрачиваются в описанных позициях чаще, чем соответствующие им твердые; словесная граница является препятствием для реализации смычного шумного согласного «нулем звука» в том случае, если она проходит *перед* этим согласным, а не после него.

В заключение необходимо отметить, что приведенное в данной статье описание фонетических процессов в так называемых сочетаниях с непроизносимыми согласными является частным случаем описания многообразных изменений по месту и способу образования шумных согласных в позициях на стыках фонетических слов. Оно затрагивает лишь те звуковые сочетания, которые встречаются как внутри фонетических слов, так и в позициях внешних сандхи. Исследование консонантных кластеров, уникальных для позиции границы слова, позволит расширить представление о том, как шумные согласные взаимодействуют между собой в тех случаях, когда они оказываются в позициях, запрещенных законами, регулирующими сочетаемость звуков внутри слова в русском языке.

Список литературы

Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., 1972.

Каленчук М.Л. О фонетической обусловленности и орфоэпической прикрепленности // Проблемы фонетики I. М., 1993.

Каленчук М.Л., *Касаткин Л.Л.*, *Касаткина Р.Ф.* Большой орфоэпический словарь русского языка. М., 2012.

Каленчук М.Л., *Касаткина Р.Ф.* Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

Князев С.В. О прогрессивной ассимиляции в современном русском языке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1999. № 5.

Князев С.В., *Пожарицкая С.К.* Современный русский литературный язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2005.
Кодзасов С.В. Фонетический эллипсис в русской разговорной речи // Публикации ОСИПЛ. 6. М., 1973.
Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.

Сведения об авторе: *Дурягин Павел Васильевич*, аспирант кафедры русского языка филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: pavelustug@mail.ru

В.В. Столярова

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ И НАРЕЧИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ

Статья посвящена семантике пространственных показателей типа ***впереди***, ***сверху***, ***снаружи*** и т. п. Противопоставляются наречные и предложные употребления этих единиц по таким категориям, как локативные роли, область пространства, система отсчета.

Ключевые слова: пространственные показатели, локативная роль, область пространства, система отсчета.

The paper is concerned with the semantics of Russian spatial expressions such as ***впереди***, ***сверху***, ***снаружи*** etc. The adverbial and prepositional uses of these elements are contrasted with regard to categories including locative roles, region and frame of reference.

Key words: spatial expressions, semantic role, fragment of space, frame of reference.

Русистика традиционно разграничивает предлоги и наречия по способности присоединения именной формы: предлоги способны присоединять существительное и его субституты, в то время как наречия этой способности не имеют. Несмотря на грамматические различия между данными единицами, считается, что семантических различий между ними нет: «Большинство наречных предлогов однозначно: они выражают определительные (обстоятельственные) отношения, соответствующие лексическим значениям тех наречий, с которыми они соотносятся» [Русская грамматика, 1980: 705].

Тождественность значений пространственных предлогов и наречий подчеркивается и в работах, выполненных в русле функциональной грамматики. В частности, в [Гак, 1996] говорится о том, что семантические различия между предлогами и наречиями минимальны, а сами наречия и предлоги взаимозаменяемы: «… в ряде случаев возникает возможность употребления двух синонимических элементов – наречия и предлога с местоимением: *вокруг* и *вокруг него*, *сверху* и *сверху от него*, *справа* и *справа от него*» [там же: 17]. При этом исследователь считает, что «в русском языке подобные конструкции различаются степенью обобщенности локализатора: отсутствие местоимения свидетельствует о большей обобщенности» [там же].

Интересен с этой точки зрения подход, выраженный в исследованиях М.В. Всеволодовой. С одной стороны, в статье «Грамматические аспекты русских предложных единиц» отмечается, что одним из критериев разграничения двух слов как частей речи может служить «расхождение в лексическом значении / в наборе лексико-семантических вариантов исходной словоформы и деривата» [Всеволодова, 2010]. С другой стороны, целый ряд слов, отмеченных в словарях и грамматиках русского языка как наречия и предлоги, в работах этого направления признается предложными единицами: «все случаи, когда от лексемы можно поставить «падежный вопрос», мы характеризуем как предлоги» [там же: 10].

Вопрос о необходимости разграничения предлогов и наречий был поднят и в работе [Урысон, 2014]. Автор предлагает нетривиальное решение этого вопроса, а именно считает необходимым выделение особого класса управляющих наречий, т. е. наречий, которые способны управлять существительным и его субститутами. Такой подход, по мнению Е.В. Урысон, является более экономичным, так как позволяет не плодить лишних сущностей (лишним, таким образом, оказывается класс наречных предлогов). Кроме того, он учитывает такую особенность слов, как способность иметь зависимое наречие меры и степени. Считается, что такие зависимые слова может иметь только наречие, но не предлог. Этому утверждению, однако, противоречат рассматриваемые в работе примеры:

А) *Мы стояли и разговаривали*, *он стоял довольно близко и слушал*.

Б) *Мы стояли и разговаривали*, *он стоял довольно близко от нас и слушал*.

Е.В. Урысон приходит к выводу, что в обоих контекстах словоформа *близко* является наречием, а сами контексты различаются только способом выражения семантической валентности наречия: «способность иметь зависимое слово не связана с тем, как выражен семантический актант обсуждаемого наречия – падежной формой (предложно-падежным сочетанием) или существительным в любой форме в предтексте» [там же: 703]. В контексте Б) мы имеем дело с реализацией синтаксической валентности, а в контексте А) семантическая валентность реализована в предтексте[1]. Таким образом, Е.В. Урысон не видит никаких семантических различий между наречиями и предлогами (в традиционной терминологии), разница

[1] Как отмечает автор, «синтаксическая сфера действия лексемы по данному семантическому актанту является частично лингвистически определенной» [Урысон, 2014: 702].

между контекстами с ними лежит только в типах синтаксической реализации семантической валентности.

Практика неразличения предлогов и наречий (в том числе локативных) с точки зрения их семантики нашла отражение и в ряде работ, посвященных семантическому описанию данных единиц, в частности в исследовании Н.В. Лягушкиной, в котором анализируется значение слов ***позади*** и ***сзади*** [Лягушкина, 2000].

Вместе с тем семантический анализ целого ряда наречий показывает, что соответствующие им предлоги не могут считаться их полными синонимами. Мы рассмотрим несколько аспектов семантики и функционирования пространственных предлогов и наречий на примере лексем ***впереди***, ***спереди***, ***позади***, ***сзади***, ***слева***, ***справа***, ***изнутри*** и др. В частности, мы рассмотрим **семантические роли**, которым они соответствуют, **области пространства**, которые они могут обозначать, и **системы отсчета**, которые они могут использовать.

Под **семантической ролью** понимается семантическая функция слова в предложении при данном предикате. Семантическая роль имени «отражает общие свойства участников определенных групп ситуаций» [Плунгян, 2003: 164]. В.А. Плунгян упоминает следующие локативные семантические роли (этот список не является полным): источник – исходный пункт движения (***из дома***); цель – конечный пункт движения (***в ящик***); траектория – место, по которому проходит движущийся объект (***лесом***, ***по мосту***, ***через окно***); место – участок пространства или объект, в котором локализована ситуация в целом (***в Сенегале***, ***на веранде***) [Плунгян, 2003: 166][2].

В русском языке имеются локативные наречия и предлоги, соответствующие всем перечисленным ролям. Так, например, наречия с корнем -*верх*- соответствуют локативной роли источника (***сверху***), цели (***наверх***), траектории (***поверху***), места (***наверху***).

Интересной особенностью русских наречий является то, что некоторые из них соответствуют сразу двум ролям. Так ведут себя, например, наречия ***спереди***, ***сверху***, ***изнутри***, ***слева***. Эти наречия соответствуют локативным ролям места и источника движения.

Рассмотрим контексты (1) и (2). В контексте (1) наречие ***сзади*** является показателем локативной роли источника движения и обозначает приближение траектора (локализуемого объекта) к ориентиру[3], в данном случае приближение к Гусакову его спутников. В контексте

---

[2] Эти семантические роли соответствуют семантическим валентностям начальной точки, конечной точки, маршрута и места [Апресян, 1995: 125–126].

[3] В статье используется следующая терминология: локализуемый объект называется траектором, а объект, относительно которого определяется положение траектора, – ориентиром.

(2) лексема ***сзади*** соответствует локативной роли места и обозначает пространство за ориентиром, функцию которого выполняет машина товарища. Траектор (машина охраны) в данном контексте движется, но не приближается к ориентиру, поэтому можно говорить, что наречие соответствует именно семантической роли места.

(1) *Подождав*, *пока* ***сзади*** *подтянутся спутники*, *Гусаков помалу пошёл по меже* [Василь Быков, НКРЯ[4]].

(2) *Я встретил моего товарища и повез на Октябрьское поле. А он попросил*, *чтобы охрана поехала* ***сзади*** [А. Колесников, НКРЯ].

В контексте (2) возможна замена наречия на предлог:

(2а) *Я встретил моего товарища и повез на Октябрьское поле. А он попросил*, *чтобы охрана поехала* ***сзади*** *него.*

Это возможно благодаря тому, что предлог ***сзади*** также может соответствовать локативной роли места. Однако замена наречия на предлог в контексте (1) невозможна: предлог не может быть показателем локативной роли источника движения.

Так, в контексте (3) предлог соответствует локативной роли места и обозначает пространство за ориентиром, в котором находится траектор – Мариетта (здесь, как и в контексте (2), и траектор, и ориентир движутся, однако расстояние между ними не сокращается). Предлог в этом контексте свободно заменяется на наречие ***сзади***.

(3) *Он сидел и смотрел на Мариетту*, *как она бесшумно двигалась* ***сзади*** *него* [Ю.О. Домбровский, НКРЯ].

Такие же различия между наречиями и предлогами мы видим у лексем ***спереди***, ***слева***, ***справа*** и подобных. Наречия ***спереди***, ***слева***, ***справа*** в контекстах (4) – (6) соответствуют семантической роли источника движения. Так, в примере (4) наречие ***спереди*** обозначает пространство перед ориентиром – автобусом, при этом траектор – танки – приближается к этому ориентиру. На приближение к ориентиру с его фронтальной стороны указывает это наречие и в контексте (5). В примере (6) ориентиром является девчонка, к ней (с ее левой стороны) приближается субъект повествования, на источник движения и указывает наречие ***слева***. А в контексте (7) субъект повествования (от лица которого идет рассказ) сам является ориентиром, а наречия ***справа*** и ***слева*** указывают на приближение к нему траекторов (в данном случае каких-то неизвестных рассказчику людей).

(4) *Я помню как мы с мамой сначала шли*, *а потом ехали в автобусе. На наш автобус прямо* ***спереди*** *двигались танки* [«Жизнь национальностей», НКРЯ].

---

[4] Таким образом в статье помечаются примеры, взятые из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru).

(5) *Антон подошел к ней* ***спереди*** *и протянул конверт.*

(6) *Этих двоих мы увидели впервые – парня и девчонку. <…> Зато девчонка сначала быстро оценила нас, когда мы подходили* ***слева*** <…> [З. Прилепин, НКРЯ].

(7) *Я жаждал контакта с городом, а он уходил от него, а тут эти двое. <…> Пусть в такой уродливой форме… Они подошли – один* ***справа****, другой* ***слева*** *– но тут же, кажется, все поняли* [В. Голованов, НКРЯ].

Ни один из данных контекстов не допускает замены наречий на предлоги, поскольку предлоги ***спереди***, ***слева*** и ***справа*** могут быть показателями только локативной роли места.

Другим аспектом семантики, который различает схожие по форме наречия и предлоги, является **область пространства**[5]. Считается, что траектор и ориентир связаны не напрямую, а через некоторый участок пространства, который занимает или с которым соприкасается траектор [Zlatev, 2007: 330]. Например, во фразе *Книга лежит на столе* ориентиром служит весь стол, однако траектор (книга) занимает только одну его часть – верхнюю поверхность. Таким образом, предлог *на* в этой фразе фактически обозначает область поверхности стола.

Траектор может находиться в ориентире, на поверхности ориентира или около него [Плунгян, 2011: 131]. Всё это разные области пространства. Всего таких областей выделяют более десяти; в языках мира им могут соответствовать разные падежи, а в русском языке им соответствуют разные предлоги и наречия. Так, например, область над ориентиром может быть обозначена наречием ***сверху***, области около ориентира – наречием ***рядом***, область перед ориентиром – наречием ***спереди*** и т. д.

Особенностью ряда русских локативных наречий является способность обозначать несколько областей, несколько локализаций. Чаще всего наречие, помимо какой-то другой области пространства (например, области внутри ориентира), может обозначать область поверхности ориентира. Иными словами, наречия способны обозначать контактную локализацию наряду с какой-либо другой. Этим свойством, например, обладают наречия ***изнутри***, ***сзади***, ***сверху*** и др.

Так, в контексте (8) наречие ***спереди*** обозначает переднюю (фронтальную) поверхность дома (стены):

(8) *Когда-то он* [*дом*] *был белым. Теперь он серый* ***спереди*** *и желтый с внутренней, дворовой стороны* [М. Петросян, НКРЯ].

[5] Термин *область* в данной работе использован по аналогии с англоязычным термином *region*. Для обозначения этого понятия используется также термин *локализация* (например, в [Ганенков, 2005]).

В контексте (9) наречия ***снаружи*** и ***внутри*** обозначают внешнюю и внутреннюю поверхности чашки соответственно.

(9) *В молчании вернулись в столовую. На столе чашки с нежными цветами* ***снаружи*** *и золотые* ***внутри*** [М.А. Булгаков, НКРЯ].

В контексте (10) наречие ***сзади*** обозначает заднюю поверхность спинки стульев:

(10) *Сиденья замечаний не вызвали, разве что материал обивки* ***сзади*** *и по бокам несколько простоват* [А. Будкин, НКРЯ].

Ни один из контекстов (8) – (10) не допускает замены локативных наречий на предлоги. Объясняется это тем, что предлоги ***спереди***, ***сзади***, ***снаружи***, ***внутри*** не могут описывать область поверхности объекта (т. е. не могут обозначать контактную локализацию объекта).

В примерах (8) – (10) наречия занимают приименную позицию, т. е. зависят от существительного или его субститута (и такая приименная позиция наиболее характерна для наречий в том случае, если они обозначают поверхность объекта). В этих примерах нет траектора и ориентира в полном смысле этого слова (траектор как бы совпадает с ориентиром). Но в примерах (11) и (12) наречия ***снаружи***, ***сзади*** занимают приглагольную позицию. В контексте (11) лексема ***снаружи*** обозначает внешнюю, обращенную к улице поверхность двери, которая служит ориентиром (т. е. контактную локализацию траектора – записки – по отношению к двери). В контексте (12) наречие ***сзади*** обозначает поверхность тыльной стороны дома.

(11) *Он закрыл за собой дверь и приклеил записку* ***снаружи***.

(12) ***Спереди*** *дом был украшен колоннами, а* ***сзади*** *лепниной.*

Эти примеры показывают, что пространственные наречия независимо от своей позиции в предложении могут обозначать поверхность объекта.

Наконец, важным аспектом семантики наречий и предлогов является **референциальная система**, или **система отсчета**. Она представляет собой систему координат, которая определяет расположение траектора относительно ориентира. Принято говорить о существовании трех референциальных систем: встроенной, относительной и абсолютной [Levinson, 2003: 35]. Русские пространственные показатели используют преимущественно первые две.

При встроенной системе в локализации участвуют только траектор и ориентир, выполняющий роль точки отсчета, а локализация задана постоянными геометрическими или функциональными свойствами самого ориентира. В роли ориентира может выступать

человек, дом и вообще любой предмет, у которого есть встроенная горизонтальная ось, то есть заданное направление «впереди – сзади», а следовательно, определены правая и левая стороны. Передняя и задняя части объекта могут определяться либо внешним видом ориентира (как это происходит у большинства живых существ, за исключением медуз, морских звезд и подобных животных с лучевой симметрией), либо его функциональными свойствами (как, например, определяется передняя часть шкафа, телевизора или фортепиано). Кроме того, передняя часть объекта может быть задана направлением движения самого объекта. Так, например, определяется передняя часть вагонов поездов.

При относительной системе в локализации участвуют три элемента: траектор, ориентир и точка отсчета. Точка отсчета – это наблюдатель, глазами которого мы смотрим на ситуацию. Роль этого наблюдателя может выполнять говорящий, слушатель или некое третье лицо. Функциональные и геометрические особенности точки отсчета или ориентира при относительной референциальной системе не играют роли. Положение траектора определяется взаиморасположением всех этих трех элементов.

Русские пространственные наречия могут использовать обе эти системы. Так, в контексте (13) наречие ***позади*** использует встроенную систему отсчета. Траектор в этом контексте – другая машина, а ориентиром служит машина героя, которая является объектом со встроенной горизонтальной осью; поза наблюдателя, сидящего в машине, для локализации траектора значения не имеет.

(13) *В путь обратный он выехал ночью.* ***Позади*** *катила другая машина*, *с дюжими ребятами при оружии* [Б. Екимов, НКРЯ].

В то же время наречие ***позади*** может использовать относительную систему отсчета. Так, в контексте (14) точкой отсчета служит героиня, ориентиром – деревья, относительно которых и определяется местоположение траектора – Лицея. Деревья не являются объектом со встроенной горизонтальной осью (по форме ствола невозможно определить его переднюю или заднюю стороны), поэтому другой референциальной системы этот контекст и не допускает. Траектор при относительной референциальной системе как бы разделяет пространство на два участка – тот, где находится наблюдатель (этот участок будет обозначать предлогом ***перед*** или наречием ***спереди***), и тот, где наблюдателя нет (этот участок, может быть обозначен наречием ***позади***, как в данном примере, или предлогом ***за***).

(14) *Что-то привлекло ее внимание. Может, какая-нибудь бродячая собака.* ***Позади****, за деревьями, виднелся фасад царскосельского Лицея* [С. Довлатов].

Другим примером использования наречием ***позади*** относительной системы отсчета может служить контекст (15). В этом примере траектором служит казарма, а ориентиром – кинотеатр. Кинотеатр, конечно, является объектом с первичной горизонтальной осью, но этот факт для интерпретации данного контекста нерелевантен: мы не знаем, с какой стороны кинотеатра находятся казармы – боковой или задней, но понимаем, что кинотеатр находится между казармами и наблюдателем.

(15) *Цветущие липы. Кондитерская Бартельса в большом пряничном доме стиля модерн-рюс на углу Покровки <…>. Кинотеатр «Волшебные грёзы» <…>… А* ***позади*** *бывшая гренадерская казарма* [В.П. Катаев].

Следует отметить, что не все русские пространственные наречия могут использовать обе системы отсчета. Мы рассмотрим в качестве примера наречия первичной горизонтальной оси.

Если наречие ***позади*** использует обе системы, то наречие ***сзади***, по всей видимости, использует только одну, а именно встроенную референциальную систему, как в контексте (2). Здесь траектором является охрана, а ориентиром – машина, в которой едет товарищ повествователя.

(2) *Я встретил моего товарища и повез на Октябрьское поле. А он попросил, чтобы охрана поехала* ***сзади*** [А. Колесников, НКРЯ].

По всей видимости, наречие ***сзади*** не использует относительную систему отсчета, по крайней мере, мы не можем найти ее примеры в НКРЯ. Подходящим примером, который доказывал бы возможность использования этим наречием относительной референциальной системы, был бы контекст, в котором ориентиром служит предмет, не имеющий первичной горизонтальной оси и, соответственно, передней и задней стороны. Таким ориентиром может быть, например, дерево. Созданный нами диагностический контекст с наречием ***сзади*** вызывает сомнения:

(16) *?Вдоль дороги росли старые сосны.* ***Сзади*** *стоял полуразвалившийся деревенский дом.*

Подобным же образом ведут себя, например, наречия ***впереди*** и ***спереди***: оба наречия используют встроенную систему отсчета, но

только наречие ***спереди*** может использовать относительную систему отсчета.

Наречия ***впереди*** и ***позади*** помимо этих двух референциальных систем могут использовать особую двойную систему, которая сочетает в себе черты встроенной и относительной систем. Эта система была описана, в частности, в работе [Маляр, 2000: 265] применительно к английским предлогам и наречиям. Она предполагает, что траектор находится в некотором векторном пространстве, то есть пространстве с заранее заданным направлением, например, поезде, зале со сценой, очереди и т. д.[6]

При двойной системе ориентации траектор, с одной стороны, ориентирован по правилам встроенной системы отсчета относительно этого векторного пространства. С другой стороны, он в то же время локализован по отношению к ориентиру по правилам относительной системы отсчета. Так, например, контекст (18) сочетает две ориентации: местоположение Андрея определяется одновременно по отношению к залу и к Алине. Алина находится в передней части зала и впереди Андрея. Неважно, обращен к ней Андрей лицом или спиной, так как при ориентации относительно Андрея используется относительная система отсчета.

(18) *Андрей зашел в зал и прошел вдоль рядов. Его место было в 10 ряду. Алина уже сидела* ***впереди***.

Предлоги ***впереди***, ***спереди***, ***позади*** и ***сзади***, в отличие от наречий, могут использовать встроенную и относительную системы ориентации. Так, например, в контексте (19) предлог ***позади*** использует встроенную систему: траектор – шум – здесь локализован относительно ориентира – Петьки – без участия какого-либо наблюдателя. В контексте (20) эта же лексема использует относительную референциальную систему. Траектором здесь является Юрка, ориентиром – овощные ряды; в этом контексте присутствует и наблюдатель – Томка. Взаиморасположение всех трех элементов и определяет локализацию траектора, тем более что в данном случае не понятно, около фронтальной или задней стороны овощных рядов исчез из поля зрения Юрка (у этого ориентира, конечно, можно найти переднюю и заднюю части, однако в данном случае это нерелевантно).

---

[6] Примером ориентации относительно векторного пространства является контекст (17). В этом контексте векторным пространством является группа людей, передняя и задняя части этого пространства-ориентира заданы направлением их движения и обозначаются наречиями ***впереди*** и ***позади***.

(17) ***Впереди*** *двигались Аниканов с Голубем, метрах в сорока* ***позади*** *– Травкин и Семёнов* [Э. Казакевич, НКРЯ].

(19) *В этот момент* ***позади*** *Петьки вдруг что-то загрохотало, затопало, и прямо из-за его спины выскочила Михайлова тетка Наталья* [А. Геласимов, НКРЯ].

(20) *Китайцев Томка искать не стала. Вместо этого она побежала за Юркой, который исчез где-то* ***позади*** *овощных рядов* [А. Геласимов, НКРЯ].

Одно из важных различий в функционировании локативных предлогов и наречий состоит в том, что предлоги не допускают ориентацию относительно векторного пространства (и, соответственно, двойную ориентацию). Сравним две фразы:

(21а) *Группа солдат шла по дороге. Аниканов двигался* ***впереди.***

(21б) *Группа солдат шла по дороге. Аниканов двигался* ***впереди*** *группы*.

Контекст (21а) допускает две возможные интерпретации. Во-первых, Аниканов (траектор) может идти перед остальной группой солдат (ориентиром), так что траектор и ориентир могут быть разделены каким-то пространством, и в таком случае наречие использует встроенную систему отсчета. Во-вторых, Аниканов может идти вместе со всей группой, никакое пространство их не разделяет (он может быть даже не первым из идущих), и в таком случае наречие использует двойную систему отсчета (Аниканов локализован относительно векторного пространства). Однако контекст (21б) допускает только одну (первую) интерпретацию: очевидно, что Аниканова и группу солдат обязательно должно разделять некоторое пространство; следовательно, предлог ***впереди*** может использовать здесь только встроенную систему отсчета.

Таким образом, традиционное противопоставление пространственных предлогов и наречий имеет под собой семантические основания. Эти пространственные показатели соответствуют разным локативным ролям, областям пространства и системам отсчета в зависимости от того, как эксплицирован ориентир: в качестве реализованной семантической валентности или в предтексте.

Список литературы

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1: Лексическая семантика. М., 1995.

Всеволодова М.В. Грамматические аспекты русских предложных единиц: типология, структура, синтагматика и синтаксические модификации // Вопросы языкознания. 2010. № 4.

Гак В.Г. Функционально-семантическое поле предикатов локализации // Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / Под ред. А.В. Бондарко. СПб., 1996.

Ганенков Д.С. Контактные локализации в нахско-дагестанских языках и их типологические параллели: Дисс. … канд. филол. наук. М., 2005.
Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980.
Лягушкина Н.В. Семантика пространственных предлогов и наречий *позади* и *сзади* // Исследования по семантике предлогов: Сборник статей / Под ред. Д. Пайара, О.Н. Селиверстовой. М., 2000.
Маляр Т.Н. Пространственные концепты в семантике английских предложно-наречных слов и сочетаний in *front* (*of*), *ahead* (*of*), *beyond* // Исследования по семантике предлогов: Сборник статей / Под ред. Д. Пайара, О.Н. Селиверстовой. М., 2000.
Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2003.
Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.
Урысон Е.В. О производных предлогах: наречные предлоги // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». Вып. 13 (20). М., 2014.
Levinson S.C. Space in language and cognition: explorations in cognitive diversity. Cambridge, 2003.
Zlatev J. Spatial semantics // The Oxford handbook of cognitive semantics / Ed. by D. Geeraerts and H. Cuyckens. Oxford, 2007.

Сведения об авторе: *Столярова Вера Владиславовна*, преподаватель кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. E-mail: stolyarova.vera@gmail.com

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Marta Petreu. Ionescu în țara tatălui. Bucureşti, 2012. 277 p.

Марта Петреу. Ионеску в стране отцов. Бухарест, 2012. 277 с.

Книга Марты Петреу, румынской писательницы, редактора и университетского профессора, посвящена жизни и творчеству Э. Ионеско в Румынии и теме его национальной идентичности. Это третье издание (первое вышло в 2001 году, в 2002 году было переиздано без изменений), дополненное и переработанное. Как пишет в предисловии исследовательница, она все главы дополнила материалами, появившимися в «нулевые» годы. Можно сказать, что это фактически новая работа. Поскольку рецензий ни на одно из изданий данной книги в России не было, представляется важным восполнить этот пробел.

Интерес к фигуре Э. Ионеско в Румынии делится на два этапа. Первый пришелся на 1930–1940-е гг., когда автор жил и публиковался в Бухаресте, а затем (после 1938 г.) присылал письма из Франции в литературный журнал «Вьяца ромыняскэ». С 1946 г. драматург стал персоной нон-грата в Румынии из-за письма, в котором он обличал национализм соотечественников. М. Петреу – первая исследовательница, обнаружившая, что за это письмо Э. Ионеско был приговорен румынским правительством к 11 годам заключения. В сентябре 1963 г. обвинения с писателя были сняты, однако в Румынию он больше не вернулся. Во времена Чаушеску исследование творчества писателей-эмигрантов не поощрялось, поэтому вторая волна интереса к Ионеско датируется 1990 г.

Работы, посвященные драматургу, появившиеся после падения режима Чаушеску, делятся на две неравные части. Это разборы произведений, выходящие по мере появления современных переводов пьес на румынский язык, в них угадывается влияние «Театра абсурда» М. Эсслина и французских ионесковедов 1960–1970-х годов. Они имеют важность главным образом для национального литературоведения. Для мировой науки более значителен анализ творческого пути писателя через призму его румынского опыта, с обращением к новым для мирового литературоведения материалам:

сборнику стихов «Элегии для крошечных существ» (1931), статьям, написанным в 1930-е годы, и письмам из Франции. Исследователей занимает вопрос национальной и культурной идентичности Ионеско. Было издано несколько монографий, посвященных этой теме (Дж. Ионеску «Анатомия одного отрицания (Произведения Эуджена Ионеску на румынском языке, 1927–1940 гг.)», 1991; С. Микулеску «Маски Эуджена Ионеску», 2003; М. Кэлинеску «Эжен Ионеско: тема идентичности и экзистенциальные проблемы», 2006; Э. Симион «Молодой Эуджен Ионеску», 2009). Появилось большое количество статей, среди которых выделяются «Третья сторона личности» И. Пырвулеску («Ромыния литерарэ», 2008, № 42) и «Квадратура круга» И. Мавродин («Конворбирь литераре», 2009, № 5).

Монография «Ионеску в стране отцов» отличается тем, что основывается главным образом не на литературном, а на публицистическом и дневниковом материале. Кроме того, автор не ставит перед собой задачу, как это делалось ранее, вписать румынский период в творчество Ионеско или, наоборот, отмежевать его. Сравнивая статьи и дневники писателя из разных периодов его жизни, М. Петреу ищет ответ на другой интересующий ее вопрос: чем же была Румыния для Ионеско, «страной отцов» или родиной. Книга состоит из восьми глав, предисловия, приложения, в котором приводится полемика с дочерью драматурга Мари-Франс Ионеско, избранной библиографии и именного указателя.

В первой главе под названием «Один бухарестский Горгий» автор рассказывает о сборнике Ионеско «Нет», вышедшем в 1934 г., и статьях того же периода, публиковавшихся в различных журналах и позже собранных под общим названием «Война со всем миром. Румынская публицистика» (1992). Автор приводит много свидетельств различной реакции на эти статьи литературной общественности, как современной писателю (например, М. Вулкэнеску, Й. Вартик), так и в наши дни (Н. Манолеску, Э. Симион). В отличие от коллег, искавших в румынской публицистике следы будущего Ионеско-драматурга, М. Петреу сравнивает мысли писателя с высказываниями старших софистов, объясняет, как разрушение аристотелевской логики приводит Ионеско к остроумным софизмам, в статьях и в драматургии. Это ценные наблюдения для литературоведческих исследований.

В следующих главах «Ионеску и идеология поколения 27 года», «Носороги, попытка экзорцизма» и «Единственный носорог в шляпе», М. Петреу описывает отношения драматурга со сверстниками, приводит его мнение о Нае Ионеску, под чьим влиянием молодые писатели

приходили к ультраправым взглядам. Автор рассказывает, опираясь на воспоминания друзей Ионеско, что он, будучи евреем по матери, ужасно боялся антисемитских настроений. Исследовательница убедительно доказывает, что Логик из «Носорога» – это Н. Ионеску, а сама пьеса – попытка выразить то, что писатель чувствовал, видя, как его друзья постепенно проникаются идеологией фашизма. По мнению М. Петреу, подкрепленному широким иллюстративным материалом, в Румынии Ионеско был единственным литератором своего поколения, не увлекшимся правыми взглядами, что роднит его с Беранже, оставшимся единственным человеком среди носорогов.

Пятая глава под длинным названием – выдержкой из приговора «Некий Эуджен Ионеску, неудачливый и неуравновешенный поэт, заочно осужден Военным трибуналом <…>», наряду с седьмой («Тезисы»), освещает ситуацию, связанную с приговором к 11 годам заключения за письмо, присланное из Франции в румынский литературный журнал. Автор подробно, не упуская ни мельчайшей детали, описывает приведшие к этому события. До нее исследователи не задавались вопросом, почему Ионеско никогда не приезжал в Румынию, даже после того, как ультраправый режим, сменившись левым, уступил, наконец, место демократии. М. Петреу обратила внимание на жалобу Ионеско в письме одному из знакомых, что сразу после войны он был приговорен. Исследовательница несколько месяцев сидела в библиотеках и архивах, читая подшивки газет в период с 1944 по 1946 г., и по крупицам восстановила произошедшее. Для российского литературоведения данные материалы являются абсолютно новыми, ни в одной из биографий писателя на русском языке упоминаний об этом приговоре нет.

В шестой главе «Страна отцов, железная страна» автор повествует об отношениях Ионеско с родителями. По ее мнению, у драматурга есть три биографических пьесы: «Носорог», «Человек с чемоданами» и «Путешествие в страну мертвых». В этой главе она подробно объясняет, почему вторая из указанных пьес является аллюзией на поиски писателем своей национальной идентичности. М. Петреу обнаружила доказательства, что Ионеско был не румынско-французского происхождения, как принято считать, а целиком румынского, так как его мать родом из города Крайова, из семьи орумынившегося грека и румынской еврейки. Автор задается вопросом, почему драматург мистифицировал свое происхождение, и находит на него следующий ответ: болезненное прошлое, плохие отношения с отцом, антисемитизм соотечественников заставляли его отторгать Румынию. И только

много позже, уже в пожилом возрасте, писатель пришел к согласию с самим собой, написав в дневнике «моя Румыния». Однако вопрос культурной идентичности, в отличие от коллег, у М. Петреу не ставит. Она, вслед за Ионеско, считает, что Румыния отвергла драматурга, а Франция приняла и восприняла как своего.

В восьмой главе «Неудача родиться» автор проводит параллели между концепциями о жизни и смерти Ионеско и Э. Чорана. Она вспоминает стихи Ионеско, центральным образом которых была кукла, марионетка, которой управляет непознаваемый Бог, привлекает публицистику разных лет. Это новый для мировой науки взгляд на творчество Ионеско, философию которого с философией Чорана не сравнивали. Сложно оценить, насколько продуктивен данный подход, но то, что он неожиданный – сомнений не вызывает.

Избранная библиография насчитывает около двух сотен наименований. Некоторый недостаток книги – повторы, встречающиеся из-за того, что главы писались в разное время на основе публикаций в журналах. В целом же хочется сказать, что это великолепное исследование, в полном объеме описывающее жизнь Ионеско в Румынии и предпосылки к его превращению во француза.

А.В. Усачева

Сведения об авторе: *Усачева Анастасия Викторовна*, младший научный сотрудник Института Славяноведения РАН. E-mail: anastasia.usacheva@gmail.com

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

XI ПОСПЕЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «ГЕРМЕНЕВТИКА. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. ТЕКСТОЛОГИЯ – В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ»

20–21 декабря 2013 г. на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялись традиционные декабрьские Поспеловские чтения, организуемые кафедрой теории литературы (они проводятся раз в два года)[1]. В конференции приняли участие 70 ученых из России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Китая, Японии. Работали четыре секции.

Пленарное заседание открыл заведующий кафедрой теории литературы *О.А. Клинг*[2]. В докладе «Текст и его интерпретация» он указал на существование в современном литературоведении множества трактовок художественного текста, нередко исключающих друг друга. Природа поэтического слова требует от исследователя умения мыслить широко, амбивалентно, обладать не только знанием фактов, но и интуицией, нелинейным мышлением. Конструируемый литературоведами текст «без берегов» позволяет порой лучше уяснить суть литературных явлений. В качестве примера докладчик остановился на проблеме автобиографизма в творчестве Андрея Белого. Автобиографическое начало пронизывает все его тексты. Если рассматривать их как единый текст, своего рода сверхтекст, становится ясно, что нередко один и тот же автобиографический сюжет преломляется у Белого многократно. Так, отношения с А.А. Блоком – важнейший сюжет в мифологии Белого и о Белом, образующий «блоковский текст». В нем можно выделить пять измерений. Сначала отношения с Блоком и сама его личность нашли отражение в письмах Белого к Блоку (измерение первое); затем – в цикле стихов Блоку (1901–1903), а также в послании Блоку 1908 г. (второе); в романе «Петербург», где под маской подпоручика Сергея Лихутина пародируется Блок (третье); эта тема прослеживается в статьях и рецензиях Белого, а после смерти Блока – в докладах (четвертое); позднее совсем по-другому Блок предстает в воспоминаниях и мемуарной прозе Белого (пятое). В совокупности эти пять измерений (уровней) автобиографизма, при

[1] Информацию о X Поспеловских чтениях см.: Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2012. № 2.

[2] После фамилии докладчика указывается город, который он представляет, за исключением Москвы.

своеобразии каждого из них, образуют блоковский текст в наследии Андрея Белого.

В.И. Тюпа в докладе «Эвристический принцип палимпсеста в осмыслении литературного произведения» говорил о палимпсесте не в буквальном (источниковедческом), а в переносном (креативном) значении слова: палимпсест рассматривается как «иерархия просвечивающих друг через друга текстов» (Ю.В. Шатин). «Палимпсестной» может считаться словесная ткань художественного произведения, сквозь которую, как сквозь поверхностный слой, проступают система персонажей, мотивная структура или отдельные существенные ситуации, мотивы, имена, иные характерные черты предшествующего текста (претекста). Между рассмотренными в таком ракурсе диахронными слоями структурной целостности обнаруживается художественно значимое смысловое напряжение. Такой подход противостоит постмодернистской трактовке текста как интертекстуального коллажа, «центона», «ризомы». Разумеется, речь идет не об имитации палимпсеста в буквальном смысле (как в «Житейских воззрениях кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана), но о палимпсестном прочтении – эффективном принципе научного исследования. Положения доклада были проиллюстрированы на материале романа «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака и повести В.П. Аксенова «Апельсины из Марокко».

Л.В. Чернец в докладе «Метод в литературоведении и интерпретация произведения (1910–1920-е годы)» остановилась на принципах анализа художественного текста, вытекающих из формального (ОПОЯЗ) и социологического (школа В.Ф. Переверзева) методов, противостоящих друг другу. В ретроспективе в самом анализе текстов обнаруживаются не только декларируемые теоретиками различия, но и немалое сходство. Для обоих методов характерны, во-первых, стремление к *монизму*, преодолению эклектики, и в обоих случаях искомый монизм достигался ценой сильных упрощений в понимании литературы. Во-вторых, школы сближал интерес к *структуре* текста. Исходные методологические положения формалистов и социологистов влекли за собой, однако, различное понимание этой структуры. Для Переверзева ключевым понятием был *образ-персонаж*, рассматриваемый как та или иная вариация «социального характера»; анализ речевого стиля, композиции был призван раскрыть этот характер. Формалисты же сначала обратились к *поэтическому языку* (*речи*), затем к *сюжету* (отграниченному от фабулы – материала для сюжета); персонаж же уподоблялся «нитке для нанизывания отдельных эпизодов» (М.М. Бахтин). При этих принципиальных различиях, в ходе анализа текста, в особенности демонстрации *стилистических*

приемов писателя, обнаруживается поразительное сходство – например, между статьей Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1919) и пятой главой («Стиль») книги Переверзева «Творчество Гоголя» (1914). В-третьих, в обеих школах даже не обсуждается возможность *разных интерпретаций* текста. Если опоязовцы вообще не ставили перед собой задачу интерпретировать произведение, то социологисты жестко привязывали его к определенному «социальному месторождению», т. е. допускали только одну трактовку.

С.М. Шаврыгин (Ульяновск) в докладе «Измененные состояния сознания (ИСС) как фактор интерпретации и анализа литературного произведения (на примере произведений А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского)» обратился к изображению деформаций человеческого сознания как недостаточно изученному аспекту *поэтики* произведений. В прозе Пушкина и Достоевского основополагающие психологические принципы ИСС воплощаются посредством особых приемов. Среди них можно выделить: определенные типы построения сюжета (континуальный, дискретный и дискретно-континуальный); акцентирование наиболее важных и кризисных для сознания персонажей ситуаций; замена вербальных образов визуальными, абстрактных – наглядно-чувственными; изменение восприятия пространства и времени; усиление эмоционального напряжения, психической активности, работы воображения; субъективизация и символизация деталей окружающего мира (яркий пример – образ Германна в «Пиковой даме»). Важнейшую роль в изображении ИСС играет актуализация черт *архаического мифологического мышления*, в частности свойственной ему веры в метаморфозу. Например, описание дома Рогожина в романе «Идиот» изоморфно образу его хозяина; таким его воспринимает Мышкин. Использование в литературоведении открытий современной психологии, изучающей ИСС, открывает новые пути и возможности интерпретации многих произведений.

А.Я. Эсалнек в докладе «Категория “текст” в герменевтическом аспекте» соотнесла изменение значений данного ключевого для филологов слова с развитием *герменевтики*, ставшей объектом научной рефлексии в первой половине XIX в. В трудах Ф. Шлейермахера, а позднее – В. Дильтея, П. Рикёра, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, Г. Шпета, М.М. Бахтина – центральными были вопросы: соотношение понимания, толкования и интерпретации произведения; роль интуиции и разума в творчестве; традиция и возможность проникновения в смысл. Герменевтический подход, способствующий изучению разных аспектов художественного творчества, весьма значим и при осмыслении самих теоретических понятий, о чем свидетельствует *расширение значений категории «текст»*. Это понятие, возникшее

в эпоху Античности, в течение многих веков оставалось устойчивым и стабильным, обозначая прежде всего «письменную или печатную фиксацию речевого высказывания или сообщения в противоположность устной реализации» («Литературный энциклопедический словарь» 1987 г., ст. С.И. Гиндина). Однако в середине XX в., под влиянием новых исканий, прежде всего в сфере семиотики, в отечественном литературоведении значение слова заметно расширяется. Оно становится термином семиотики (текст как реализация определенной знаковой системы), используется как синоним произведения. Актуализируется оппозиция «текст/контекст», образуются смежные термины: «интертекст», «гипертекст», «мегатекст», «рамочный текст», «петербургский (московский и т. д.) текст». Таким образом, сама «жизнь» слова отражает развитие филологической науки.

Т.Ф. Теперик в докладе «Перевод как интерпретация (на материале античных авторов)» привлекла к анализу переводы В.А. Жуковского («Одиссея» Гомера), А.С. Пушкина (ода Горация (II, 7)), А.А. Фета (стихотворение Катулла (№ 51)), В.С. Соловьева («Энеида» Вергилия), М.Л. Гаспарова («Электра» Еврипида). Докладчик пришла к выводу о том, что некоторые устойчивые положения теории перевода (а именно: переводчик должен в совершенстве владеть языком подлинника; использование рифмы в переводе не передает формы оригинала; у вольного перевода больше интерпретационных возможностей, чем у буквального) не всегда подтверждаются на практике. В рассматриваемых переводах верно переданы значения гомеровских формул, метрические особенности подлинника, черты характеров персонажей эпических поэм и трагедий. Однако подобные исключения возможны благодаря либо конгениальности переводчика, либо его исключительной научной компетенции, так как античные тексты в силу ряда особенностей допускают, а иногда и требуют многоуровневой интерпретации смысла, метрических параметров текста, характеров персонажей.

На заседаниях I секции обсуждались *общетеоретические* проблемы. *В.В. Курилов* (Ростов-на-Дону) отметил, что в современном литературоведении распространен «точечный» анализ произведения, направленный на какой-то один его аспект (мотивный, нарративный, интертекстуальный и т. д.), что зачастую ведет к односторонней интерпретации целого. По мнению *Н.Г. Владимировой* (Калининград), фрагментарная композиция обостряет проблему восприятия и интерпретации художественного целого. Такая композиция характерна для поэтики современного романа Великобритании, например романа Грегори Норминтона «Корабль дураков», складывающегося из рассказывания персонажных историй. При анализе произведений,

где есть интертекстуальные, интермедиальные, интердискурсивные включения, расширяется понятие «герменевтический круг». Г. Норминтон обозначил главный принцип организации своего романа термином «экстраполяция», замыкающим «герменевтический круг» в единстве целого. *С.Г. Исаев* (Великий Новгород), обратившись к герменевтике второй половины XX в., остановился на постмодернистском понимании текста как «управляемого хаоса» в процессе осуществления художественного замысла. Если в классической поэтике оформленный текст снимает проблему «неготового материала», то в новейшую эпоху «динамическая поэтика» заявляет о себе внутри произведения («Прекрасное зачеркнутое стихотворение» Вл. Казакова, «Преподаватель симметрии» А.Г. Битова). *Е.В. Лозинская* отметила, что для некоторых западных ученых, придерживающихся антигерменевтического подхода к произведению, характерен «страх перед интерпретацией»; так, С. Зонтаг считает ее насилием над произведением, которое превращается в объект потребления. *Е.З. Имаева* говорила об «отчуждении в тексте неявного смысла» в связи с теорией образности. В ряде докладов проблемы герменевтики и интерпретации освещались преимущественно в аспекте *истории культуры*. *Г.В. Синило* (Минск) подчеркнула роль Библии и библейского «кода», складывающегося на протяжении двух тысячелетий, для понимания текста и показала, на примере современных стихотворных текстов на немецком, английском, русском и белорусском языках, как «работает» этот код. *С.М. Телегин* отметил генетическое родство приемов герменевтики и приемов, используемых в алхимических трактатах (Василий Валентин, Фулканелли). *Г.М. Васильева* (Новосибирск) в докладе «Морфологическая поэтика: К. Линней, И.В. Гёте, В.Я. Пропп» рассмотрела различные концепции «порядка» в истории науки. *С.Н. Зотов* (Таганрог) охарактеризовал русский модернизм как креативную поэтическую практику, которая возникает в связи со сменой типов рациональности и отличается жизнетворческой инициативой. В двух докладах рассматривалось наследие М.М. Бахтина: *Э.И. Гуткина* говорила о категории автора в его теории интерпретации; *О.Ю. Рождественская* – об интерпретации «диалогизма» в англо-американской критике (М. Холквист, Г.С. Морсон, К. Эмерсон). *Ж.А. Голенко* выделила автобиографическое «измерение» как важнейший внелитературный фактор при анализе и интерпретации новейшей прозы.

Участников работы II секции объединял материал – *русская литература XI – XIX вв.*, причем особое внимание уделялось вопросам *текстологии.* Как на важнейшую тенденцию в истории русской медиевистики *А.В. Архангельская* указала на переход от текстологиче-

ского подхода к интерпретационному. При обоих подходах изучение древнерусского текста обычно требует подключения данных общественной истории, лингвистики, богословия, искусствоведения, а также проведения междисциплинарных гуманитарных (а подчас не только гуманитарных) исследований. *Ю.Б. Орлицкий* сопоставил художественные переводы «Слова о полку Игореве» первой трети XIX в., авторы которых стремились адекватно передать его ритмическую уникальность. А.А. Шишков, В.В. Капнист, Н.Ф. Грамматин и др., переводившие «Слово» прозой, вводили в текст элементы силлабо-тонической метризации, а также строфизации; своего предела эта тенденция достигла в двух переводах А.Ф. Вельтмана (1833, 1866): у него получилась метрическая проза с небольшими отклонениями. Это первый опыт тотальной метризации объемного прозаического текста в отечественной словесности; всего же существует более 200 переводов «Слова» на современный русский язык, в стихах и в прозе, в том числе ритмизованной. О литературе XVIII в. говорилось в двух докладах. *С.А. Салова* (Уфа) доказывала связь комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» с традицией рококо, которая обнаруживается в феномене «амбигитивности». В отличие от просветительской, литература рококо с ее пафосом морального компромисса демонстрировала двойственность природы человека, снисходительно относилась к его слабостям, что проявляется и в «Бригадире». Этот доклад вызвал полемику. *Т.В. Алпатова* остановилась на вопросах текстологии применительно к «Письмам русского путешественника Н.М. Карамзина». 11 докладов были посвящены литературе XIX в. *А.А.Смирнов* проследил, сопоставляя редакции и варианты стихотворений Пушкина, «движение» лирических текстов. Согласно *В.А. Слободиной* (Уфа), в поэме «Руслан и Людмила» варьируется архетипическая схема обряда инициации, в ироническом освещении его Пушкиным. *Н.Л. Вершинина* (Псков) показала зависимость истолкования произведения от господствующей в критике ценностной шкалы «литературных рядов». Так, причиной невысокой оценки «Повестей Белкина» (Ф.В. Булгарин, Н.И. Надеждин и даже В.Г. Белинский) можно считать явную несвободу интерпретаторов от литературного контекста, от критериев, выработанных при чтении сентиментально-идиллических и романтических произведений («легкость», «занимательность», «приятность» чтения в дружеском или семейном кругу, «у камина»). *И.Н. Исакова* остановилась на именах персонажей комедии А.Н. Островского «Не в свои сани не садись»: драматург выбирал их, ориентируясь на месяцеслов, а также на обряды, праздники, приуроченные ко дню того или иного святого. *Е.Ю. Полтавец* углубилась в мифо-ритуальные истоки образа

Платона Каратаева в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Два доклада об «Анне Карениной» образовали своеобразный дуэт. *А.В. Десятникова*, подчеркнув в композиции романа принцип чередования эпизодных циклов, показала, что семантика мотива или отдельной детали редко раскрывается в рамках отдельного эпизода, для ее уяснения нужен (как минимум) анализ цикла эпизодов. Структуру «невербального диалога» анализировала *Ю.А. Рубичева*: в зависимости от главной темы того или иного эпизода в этом «втором» диалоге доминируют язык взглядов (отношения Анны и Вронского), прикосновений (детские сцены), продуманные жесты и мимика («умные» разговоры). *О.А. Богданова* сообщила о текстологической подготовке трудов В.Л. Комаровича о Ф.М. Достоевском (пока они опубликованы лишь на немецком языке) к русскому изданию, снабженному научным комментарием. *А.Е. Агратин* наметил типологию повествовательных стратегий русской классической литературы. *А.Н. Ларионова* (Череповец) предложила рассматривать авторское предисловие – например, в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» А.А. Григорьева – как особый жанр; *Л.С. Артемьева* (Череповец) охарактеризовала жанровое своеобразие «Моих воспоминаний» Ф.И. Буслаева.

В докладах, прочитанных в III секции, теоретическая проблематика освещалась на материале *русской литературы XX–XXI вв.* В двух докладах центральной оказалась тема быта в литературе. Согласно *М.В. Михайловой*, для героев Н.Н. Берберовой («Рассказы не о любви») ритуалы, обычаи, привычные вещи не менее значимы, чем «бытие»: именно они позволяют эмигрантам сохранить национальные традиции. *С.А. Мартьянова* (Владимир), комментируя «сталинские» главы романа А.И.Солженицына «В круге первом», остановилась на бытовых подробностях – подборе Сталиным и его окружением идеализирующих имен («Вождь», «Хозяин»), изменениях в меню на пирах и банкетах. К роману Солженицына «Красное Колесо» обратилась *Н.М. Щедрина*, сопоставившая редакции двух «узлов» – «Март Семнадцатого», «Апрель Семнадцатого» (1993–1997 гг. и 2008 г.). Сокращения, изменения названий глав и другая авторская правка позволяют проникнуть в лабораторию писателя. *Е.В.Суровцева*, характеризуя переписку М.Горького с советскими вождями, указала на необходимость коррекции устаревших идеологических оценок в комментарии к новым изданиям, а также на важность привлечения новых документов из рассекреченных архивов. О жанре дневников (близком к письмам), его истории и поэтике говорила *М.В. Ромашкина.* В двух докладах прослеживалось взаимодействие видов искусства. *А.В. Вавулина* и *Н.З. Кольцова* (содокладчицы) увидели в

романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» текст, построенный по законам оперы. *К.В. Загороднева* (Пермь) отметила взаимовлияние стихотворной лирики и живописи в стихах о Ван Гоге А.С. Кушнера («Зачем Ван Гог вихреобразный…»), Е.Б. Рейна и А.А. Тарковского. Три докладчика обратились к творчеству В.В. Набокова. *Т.Н. Белова* проследила эволюцию его суждений о русской классике XIX в., отмечая влияние на разборы произведений принципов «новой критики» и постмодернизма. *Сагаэ Мицунори* (Токио) выделил в некоторых стихотворениях Набокова мотив «зрительной памяти» о России. *Л.Н. Целкова* сопоставила отражение революционных событий в романах «Дар» Набокова и «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака. Согласно *И.А. Буркову*, присутствие в «Докторе Живаго» текстов А.А. Блока и его мифологизированного образа (цитаты, реминисценции, упоминания) является дополнительным аргументом в пользу антидетерминистской концепции личности у Пастернака, а также лейтмотивной организации романного текста. *С.И. Крашенников* показал, как в творчестве младосимволистов предвосхищаются некоторые черты постмодернизма. *Н.Л. Блиц* (Минск) остановилась на металитературных размышлениях А.М. Ремизова в его эмигрантских книгах и статьях. *О.Н. Скляров* рассмотрел эссе Л.Я. Гинзбург «Мысль, описавшая круг» в контексте неотрадиционалистских исканий XX в. В ряде докладов предлагались *интерпретации* произведений – лирических, драматических, эпических. *Ю.В. Шевчук* (Уфа) представила как целое лирический цикл И.Ф. Анненского «Трилистники»; *Д.А. Бестолков* (Мичуринск) увидел в стихотворении В.В. Маяковского «Разговор с товарищем Лениным» попытку автопсихологического героя преодолеть одиночество, разрешить внутренний конфликт; *И.Б. Александрова* выявила в лирике Т. Кибирова черты постмодернистского текста (двойное кодирование, прямое и скрытое цитирование, порождающие многосмысленность). *А.Н. Майкова* подчеркнула в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» связь с жанром волшебной сказки (мотив случайной счастливой встречи). В шести докладах об *эпической прозе* выделялся тот или иной идейно-тематический аспект и соответствующие стилевые тенденции. *А.В. Курочкина* подчеркнула лиризацию жанра романа в «Золотом узоре» Б.К. Зайцева; *О.А. Попова* – концептуализацию истории, связь прошлого и настоящего в прозе Г.И. Чулкова; *А.А. Ревякина* – сочетание в романе В.С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» пространственно-временных отношений узнаваемых жизненных ситуаций и органично вписанных в них реминисценций из русской классики; *Д.О. Леснова* – важность эстетической категории «возвышенного» у В.Г. Распутина (рассказ «Наташа», очерк «Вниз

и вверх по течению»). *П.А. Федотова* сблизила разные по стилю рассказы В.М. Шукшина и Б.П. Екимова, поскольку оба прозаика вводят сходные образы и мотивы (животное – друг и помощник; степь – необозримое пространство,символ свободы; полынь – запах душевной горечи); *Л.М. Ельницкая* говорила о мифологеме коня в эпосе И.Э.Бабеля «Конармия». *Т.Г. Петрова* познакомила слушателей с материалами дискуссии о литературной критике, проходившей в прессе первой волны эмиграции в 1920–1930-е годы и продолженной в послевоенное время (вплоть до 1960-х годов).

На заседаниях IV секции рассматривалась *иностранная литература.* В четырех докладах сквозной темой была интерпретация произведений греко-римской античности. *Я.Л. Забудская* проследила становление поэтики заглавий в драме: первоначальные заглавия-антропонимы обрастали подзаголовками, вводившими предикаты (особенно интенсивно – в эллинистическую эпоху), позднее появляется «игра» с прецедентными текстами (т. е. усиливается интерпретирующая функция заглавий). *О. Стефанов* (София) в докладе «Фиванский цикл Софокла – неразгаданная тетралогия…», вызвавшем споры, доказывал, что истолкователи (начиная с Аристотеля) сглаживают остроту изображаемого конфликта, подчеркивая роль Судьбы и тем самым «обеляя» грешника Эдипа. *О.В. Осипова* отметила, что Дионисий Галикарнасский в трактате «О Фукидиде» обсуждает стиль его исторического повествования в контексте поэтической и риторической традиции. Согласно *И.А. Шефф*, истоки современной теории сравнения восходят к античной риторике. В ряде докладов освещались отдельные аспекты *интерпретации* и *функционирования* произведений. *А.А. Ляпина* проследила судьбу романа Х. Понтоппидана «Счастливчик Пер» в русской критике. *А.В. Нижник* проанализировала прустовские «живописные» мотивы в романе Набокова «Камера обскура»: в отличие от предшественника, Набоков «играет» с мировой культурой, его творчество знаменует закат (а не рассвет, как у Пруста) модернизма. *Т.Л. Селитрина* (Уфа) сравнила книгу интервью К. Исигуро, раскрывающую его взгляд на свои произведения, с литературоведческими их интерпретациями; сам писатель подчеркивал роль социально-психологических и политических проблем, волновавших его при создании романов. *В.А. Ряполова* проследила «движение текста» во времени на материале редактирования У.Б. Йейтсом собственной драматургии. *Я.Ю. Кресан* применила методику структурно-семиотического анализа, прослеживая многообразные проявления принципа оппозиции (в особенности оппозиции «свой/чужой») в словацком романе о событиях Второй мировой войны. *Г.Г. Лукпанова* (Алматы) охарактеризовала поэти-

ку рамочного текста в романе С. Соколова «Школа для дураков», а также интертекстуальность произведения в целом. *Е.М. Лепишева* (Минск) сблизила творчество Е.Поповой с русскими драматургами «новой волны» (Н.В. Коляда, М. Варфоломеев), мировоззрение которых можно назвать «позитивным» экзистенциализмом. *Гуань Линьли* (КНР) выделила трагические мотивы в творчестве В. Быкова. В двух докладах обсуждались произведения, особенно популярные в молодежной среде. *Е.А. Нестерова* обратилась к тексту Библии как культурному коду «Властелина колец» Дж.Р. Толкиена; *Т.П. Ткачева* (Минск) сравнила тексты сказки «Алиса в стране чудес» Л. Кэролла и песен В.С. Высоцкого в одноименном дискоспектакле.

В заключение участники конференции выразили удовлетворение от проделанной совместной работы.

Л.В. Чернец, *О.В. Вовк*, *А.В. Десятникова*,
Е.В. Жуйкова, *О.Ю. Рождественская*

Сведения об авторах: *Чернец Лилия Валентиновна*, докт. филол. наук, профессор кафедры теории литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: cherski@yandex.ru; *Вовк Ольга Владимировна*, магистрант филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: teolit@philol.msu.ru; *Десятникова Александра Викторовна*, аспирант филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: teolit@philol/msu.ru; *Жуйкова Елена Викторовна*, магистрант филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: teolit@philol.msu.ru; *Рождественская Ольга Юрьевна*, аспирант филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: teolit@philol.msu.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН»

3–5 апреля 2014 г. на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась международная научная конференция «История литературы в системе современных гуманитарных дисциплин». В работе конференции приняли участие ученые из России (Москвы, г. Владимира, Нижнего Новгорода, Уфы), Белоруссии, Германии, Израиля, Польши, Украины, представлявшие, в частности, кафедры античной филологии, зарубежной литературы, истории русской литературы, общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ, факультета журналистики и философского факультета МГУ, ИМЛИ РАН, ПСТГУ, РГГУ, Нижегородского государственного университета, Государственного музея А.С. Пушкина (Москва), Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль). В программу было включено сорок четыре доклада, из них было прочитано тридцать семь. Ряд присланных текстов, принадлежащих исследователям, не имевшим возможности приехать в Москву, были размещены на подготовленной А.А. Варламовым странице конференции на сайте факультета (http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/texty/), там же размещены ссылки на видеозаписи значительной части прочитанных докладов (http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/video-materialy/), сделанные Е.В. Тупикиной и В.Л. Коровиным, а также программа конференции (http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/programma/) и другие материалы. Такой способ организации конференции был признан ее участниками оптимальным: устное слово, звучащее в режиме реального времени, дополняется видеозаписями, позволяющими заинтересованным лицам ознакомиться с докладами участников конференции в любое время, а тем участникам, которые в той или иной мере импровизировали, зафиксировать свои рассуждения; одновременно публикуются письменные тексты, присланные теми, кто предпочел эту форму участия в работе конференции.

Программа конференции формировалась таким образом, чтобы оказался охвачен возможно больший круг частных историко-литературных «сюжетов»: важно понять, в какой мере работа над этими частными «сюжетами» допускает, или даже предполагает

выход на общие проблемы историко-литературной науки. Вопрос этот представляется тем более существенным, что методология истории литературы определенно не принадлежит к числу востребованных отраслей гуманитарного знания; показательно, что серьезные труды в этой области создавались преимущественно в 1920-е годы и ранее: книги и статьи А.Н. Веселовского, В.М. Истрина, В.В. Сиповского, А.С. Архангельского, В.Н. Перетца. Такое положение дел не является случайным и должно обсуждаться отдельно.

В начале конференции прозвучало вступительное слово декана филологического факультета *М.Л. Ремнёвой* (http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/privetstvennoe-slovo-remniovoy//) и сообщение *Д.П. Ивинского* о задачах конференции, и о ее предыстории и о принципах формирования ее программы (http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/ivinsky/). После этого началась работа конференции, организованная следующим образом: время выступлений специально не регламентировалось; вопросы, количество которых не ограничивалось, предлагалось задавать в предельно лаконичной форме, а ответы на них могли быть сколь угодно пространными; в отдельных случаях ведущий, если в аудитории присутствовали студенты, позволял себе некоторые дополнительные разъяснения, адресованные им; обсуждение докладов при этом строилось в двух планах: уточнялись частные детали, связанные с представленными материалами, и вместе с тем специальные темы связывались с общими вопросами истории литературы как науки.

Д.П. Ивинский (филологический факультет МГУ) в докладе «История литературы и филология» связал историю становления истории литературы с эпохой контрреформации и деятельностью мавристов. В докладе *А.А. Волкова* (филологический факультет МГУ) «Риторика в системе филологического знания» обсуждалось, в частности, изучение риторической прозы как та сфера филологической деятельности, в которой история литературы может взаимодействовать с риторикой и языкознанием. Два следующих доклада были посвящены начальному и современному периодам истории русской литературы. *А.М. Ранчин* (филологический факультет МГУ) в докладе «Современные проблемы изучения древнерусской литературы» подверг критическому анализу историко-литературную концепцию Д.С. Лихачева, *В.В. Полонский* (ИМЛИ РАН) прочел доклад «О принципах построения истории русской литературы конца XIX – первой половины XX века».

В дальнейшем выяснилось, что темы докладов, предложенных для обсуждения, отчасти пересекаясь друг с другом по проблематике, тем не менее естественным образом объединяются в несколько разных групп, отражая тем самым основные направления современной историко-литературной науки.

Первая: история этой дисциплины (доклады *Н.Ю. Суховой* (ПСТГУ) «Изучение русской литературы в российских духовных академиях» и *Б.В. Орехова* и *С.С. Шаулова* (Институт перспективных гуманитарных исследований МГГУ им. М.А. Шолохова (Москва); Башкирский государственный университет (Уфа) «Мировоззренческие истоки и методологические особенности историко-литературной концепции Р.Г. Назирова»; *А.Д. Ивинского* (филологический факультет МГУ) «Культурный проект Екатерины II в восприятии историков русской литературы 1920-х – 1930-х гг.»).

Вторая: ее теоретические аспекты (доклады *А.Е. Махова* «Аналогия как инструмент литературных теорий» (РГГУ) и *А.А. Смирнова* «Проблема соотношения исторического и аксиологического методов изучения литературы» (филологический факультет МГУ)) и ее разновидности, обусловленные материалом (доклады *В.Ю. Лукасик* (*филологический факультет МГУ*) «История литературы и античная мифология: образ Аполлона во французской поэзии позднего Средневековья и Ренессанса»; *Н.А. Сабадаж* (филологический факультет МГУ) «История литературы как история национальных стереотипов восприятия “другого”: польские типажи в русской литературе конца 1820-х – начала 1840-х гг.»; *Гжегожа Червинского* (Белостокский университет, Польша) «История – география – геопоэтика. О возможных методах анализа произведений современной художественной литературы польских, литовских и белорусских татар»; *Светланы Ефимовой* (Берлин) «История литературы как история “сцен письма”: записные книжки писателей»).

Третья: специфика отдельных периодов истории русской литературы, жанров, тем (доклады *О.М. Савельевой* (филологический факультет МГУ) «К проблеме пайдейи: греческая литература об отношениях в семье», *А.А. Пауткина* (филологический факультет МГУ) «Древнерусская книжность: историко-литературные альтернативы», *Н.Б. Кардановой* (ИМЛИ РАН) «Царская грамота иностранному адресату как жанр русской словесности: грамота-ходатайство Петра Первого перед венецианскими дожами», *О.Л. Довгий* (факультет журналистики МГУ) «Формирование метафорического кода русской поэзии в творчестве Феофана Прокоповича и

А.Д. Кантемира», *В.Л. Коровина* (филологический факультет МГУ) «Библейские переложения в русской литературе XVIII – перв. пол. XIX вв.: (о границах духовной и светской словесности)», *О.И. Киянской* (РГГУ) «К истории советской региональной журналистики: Дымовское дело»).

Четвертая: биографические реконструкции разных типов, связанные как с историко-литературной проблематикой (например, вопросы истории журналистики и литературной критики), так и с филологией и историей (критика текста, библиография, источниковедение) (доклады *Н.И. Михайловой* (Государственный музей А.С. Пушкина, Москва) «Проблемы биографии В.Л. Пушкина», *М.П. Одесского* (РГГУ) «“Золотой теленок”: история литературы – текстология – история журналистики»), *Д.М. Фельдмана* (РГГУ) «Евгений Петров: парадоксы советской биографии»).

Пятая: описания индивидуальных художественных систем и их взаимодействия в историко-литературном контексте (доклады *В.С. Парсамова* (РГГУ)). «Басня Крылова “Щука и Кот” в историческом контексте», *прот. Павла Ходзинского* (ПСТГУ) «Забытый предтеча: Александр Стурдза и литераторы 1840-х годов», *И.С. Юхновой* (Нижегородский государственный университет) «О восприятии незаконченных прозаических произведений А.С. Пушкина», *А.Г. Готовцевой* (РГГУ) «Встреча в Вильне: еще раз о миссии А.Д. Балашева в осмыслении Л.Н. Толстого (из комментариев к роману “Война и мир”», *Е.Д. Толстой* (Еврейский университет, Израиль) «Тургеневские девушки: составные портрета», *М.Я. Вайскопфа* (Еврейский университет, Израиль) «Фет и Гоголь»).

Шестая: история литературы и история Церкви и церковной словесности (доклады *И.П. Давыдова* (философский факультет МГУ) «Русский фольклор и православный акафист: случайны ли параллели?», *Г.В. Бежанидзе* (ПСТГУ) «Святитель Филарет Московский о светской и церковной публицистике начала царствования императора Александра II», *С.В. Мыслякова* (УРАО) «Истоки католицизма в представлении Ф.М. Достоевского»).

Седьмая: история литературы и искусствознание (доклады *А.В. Мещеряковой* (Владимирский государственный университет) «Роман О. Уайльда “Портрет Дориана Грея” как имитация произведения декоративного искусства», *А.А. Серовой* (Нижегородский государственный университет) «История литературы и кино: источники образов жестоких детей в романе Захара Прилепина “Черная

обезьяна**”** (фильм Эдварда Цвика “Кровавый алмаз”, проза Д.М. Кутзее)»).

Каждое из этих направлений историко-литературных исследований требует специального, заинтересованного и систематического анализа, а потому им предполагается посвятить ряд отдельных конференций и круглых столов.

Д.П. Ивинский

Сведения об авторе: *Ивинский Дмитрий Павлович*, докт. филол. наук, профессор кафедры истории русской литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: dmitrij_ivinskij@mail.ru

ПАМЯТИ…

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА БАШ (23.03.1946 – 15.11.2014)

Людмила Михайловна Баш проработала в Лаборатории этимологических исследований сначала старшим лаборантом, затем научным сотрудником 44 года (с 1970 г.).

Людмила Михайловна всю жизнь прожила на любимых Чистых Прудах. Окончив школу, она поступила в МГУ на отделение классической филологии, которое и окончила через 5 лет, а затем ее жизнь была связана с Университетом и с филологическим факультетом. Научные интересы Л.М. Баш были сосредоточены в области этимологии, лексикологии, лексикографии и исторического словообразования. По истории слов ею опубликован ряд статей. Она была одним из авторов словарных статей в «Этимологическом словаре русского языка» (буквы К, Л, М, Н), а также в качестве автора участвовала в создании всех лексикографических изданий Лаборатории «Словаря-попутчика (Малого толкового этимологического словаря иностранных слов)» (1994), «Эрудита. Толково-этимологического словаря иностранных слов» (1995); «Словаря иностранных слов. Актуальная лексика. Толкование. Этимология» (1997 г., дополненное изд. 1999 г.), «Современного словаря иностранных слов. Толкование. Словоупотребление. Словообразование. Этимология», выдержавшего восемь изданий (первое издание – 2000 г.), «Школьного словаря иностранных слов» (2006); «Новейшего словаря иностранных слов. Словообразование. Этимология» (2007); «Современного словаря иностранных слов. Толкование. Словоупотребление. Словообразование. Этимология» (2000, доп. издания 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 гг.). В 2007 г. вышел «Словарь языка комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”», одним из авторов которого также является Л.М. Баш. Ею подготовлена (в соавторстве) к печати единая русская библиография для всех предыдущих выпусков (от А до Н включительно), которая выйдет отдельным томом в качестве библиографического выпуска «Этимологического словаря русского языка».

Яркий организаторский талант Л.М. Баш проявился, когда она занималась работой в Обществе «Красный Крест» и несколько раз провела «День донора» на факультете. Но особый ее дар проявился

при организации на филологическом факультете Школы юного филолога, бессменным директором которой она была с 1993 г. В ШЮФ занимались и занимаются школьники, заинтересовавшиеся филологией, а занятия ведут студенты, аспиранты и преподаватели филологического факультета. В рамках Школы ежегодно проводились «Дни науки» (силами учащихся Школы юного филолога), «круглые столы» с обсуждением работы преподавателей, семинаров, работ учащихся, планами по расширению тем занятий. В 2000 г. вышел подготовленный Л.М. Баш «Сборник научных трудов студентов и аспирантов филологического факультета МГУ – преподавателей Школы юного филолога» «ОПЫТЫ-2ООО». В этом сборнике помещены статьи молодых преподавателей, которые приобретали опыт педагогической деятельности, совмещая работу в Школе с учебой на филологическом факультете, проводя семинарские занятия и читая лекции юным слушателям. Людмила Михайловна планировала продолжить эту работу, на деле осуществляя «непрерывность и преемственность процесса передачи знаний от одного поколения к другому, а значит, непрерывность и преемственность и самой жизни», – так она писала в обращении к читателям. Основным постулатом ее деятельности в Школе было – «когда мы учим – мы учимся». Болезнь помешала продолжению осуществления этого замысла. Коллегиальность, многоплановость в работе Школы юного филолога была задумана как процесс пополнения знаний во всех областях гуманитарных наук (языкознания как исторического, так и современного, литературоведения как русского, так и зарубежного, фольклористики и истории и др.). В последнее время при Школе юного филолога планировалось создать театральную студию. В этом году в Школе работало 30 преподавателей и обучалось 382 человека.

Людмилы Михайловны нет с нами, но еще не вышел «Словарь языка комедии Н.В. Гоголя», в создании которого она принимала участие (в соавторстве), ею написаны 129 словарных статей для «Этимологического словаря русского языка» на букву О, готовящегося к публикации. Вечная память этому прекрасному отзывчивому тонкому человеку, доброй души и огромного сердца, который помогал всем, кто нуждался в его помощи, умному талантливому ученому, блестящему педагогу-организатору.

Р.С. Кимягарова,
канд. филол. наук, старший научный сотрудник
Лаборатории этимологических исследований

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология» публикует статьи, материалы и сообщения, рецензии и библиографические обзоры, информацию о круглых столах и конференциях по своему научному профилю.

Авторы несут ответственность за достоверность приведенных фактов, цитат, имен собственных (в том числе географических названий), а также сведений энциклопедического характера.

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология» выходит один раз в два месяца.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Требования к **формату** файлов:

- текстовый редактор Microsoft Word (любая версия);
- шрифт Times New Roman или Times New Roman Cyrillic 12-й кегль;
- полуторный межстрочный интервал;
- поля 2,54×3,17;
- объем рукописи до 20 тыс. знаков с пробелами (для аспирантов – до 15 тыс. знаков с пробелами).

Требования к **форме** предоставления статей:

- текст предоставляется на компакт-диске (или присылается на электронный адрес редколлегии) в формате .doc или .rtf и в распечатанном виде (можно прислать указанные материалы простым письмом по почте на адрес редколлегии с пометой «для Вестника МГУ»);
- если в статье используются дополнительные шрифты (старославянские, древнегреческие и т. д.), то они должны быть записаны на диск;
- схемы, рисунки, алгоритмы и иной иллюстративный материал необходимо сохранить отдельными файлами и распечатать на отдельных страницах.

Статья должна содержать обязательные элементы, без которых ее публикация невозможна:

- аннотацию (3–5 предложений) и ключевые слова (3–6 слов / словосочетаний) на русском и английском языках;
- сведения обо всех авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, полное название научного или учебного учреждения и его структурного подразделения, контактный телефон и / или адрес электронной почты автора;
- ссылки на цитируемые произведения должны быть оформлены **в тексте в виде постраничных примечаний**, а перечень процитированных произведений должен быть вынесен **в конец статьи в виде списка литературы**.

Статьи, оформленные не по правилам, не будут приниматься к публикации.

Помните, что набор текстов в других редакторах или программах, сохранение их на вирусных или дефектных дискетах, а также распечатка без соблюдения требований к шрифту, его размеру, межстрочному интервалу, некачественная печать могут существенным образом усложнить процесс публикации ваших статей.

Материалы сдаются в редколлегию по адресу: 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет, комн. 902; тел.: (495) 939-53-80; e-mail: edit@philol.msu.ru

Выплата гонорара за публикации не предусматривается.

Рукописи не возвращаются. Рецензии не высылаются. Редакция в переписку с авторами не вступает. Во всех случаях полиграфического брака просьба обращаться в типографию.

Плата за публикацию рукописей (в том числе с аспирантов) не взимается.